

ISSN 1728-1938

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2016 * Том 15 * № 3

RUSSIAN SOCIOLOGICAL
REVIEW

2016 * Volume 15 * Issue 3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2016
Том 15. № 3

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Адрес редакции: ул. Петровка, д. 12, оф. 402, Москва 107031

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Тел.: +7-(495)-621-36-59

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора

Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

Редактор веб-сайта

Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы

Каринэ Акоповна Щадилова

Перри Франц

Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик

Андрей Михайлович Корбут

Международный редакционный совет

Николя Айо (Университет Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александер (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожьеен (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

Учредители

- Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
- Александр Фридрихович Филиппов

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присыпать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнometодология и конверсационный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2016
Volume 15. Issue 3

ISSN 1728-1938 Email: puma7@yandex.ru Web-site: sociologica.hse.ru/en
Address: 12 Petrovka str., Room 402, Moscow, Russian Federation 107031 Phone: +7-(495)-621-36-59

Editorial Board

- Editor-in-Chief*
Alexander F. Filippov
- Deputy Editor*
Marina Pugacheva
- Editorial Board Members*
Svetlana Bankovskaya
Nail Farkhatdinov
Andrei Korbut
- Internet-Editor*
Nail Farkhatdinov
- Copy Editors*
Karine Schadilova
Perry Franz
- Russian Proofreader*
Inna Krol
- Layout Designer*
Andrei Korbut

International Advisory Board

- Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)
Gary David (Bentley University, USA)
Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)
Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)
Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)
Alexander Marey (HSE, Russian Federation)
Peter Manning (Northeastern University, USA)
Albert Ogiens (EHESS, France)
Anne W. Rawls (Bentley University, USA)
Irina Saveliyeva (HSE, Russian Federation)
Victor Vakhshstayn (RANEPA, Russian Federation)
Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Establishers

- National Research University Higher School of Economics
- Alexander F. Filippov

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

СТАТЬИ

- Карьера рабочего как биографический выбор 9
Ирина Тартачковская, Александрина Ваньке
- Лейтмотивы властной риторики в отношении российской молодёжи 49
Искэндер Ясавеев
- Роль «толстых» журналов в современном русском литературном процессе . . . 68
Анна Вичкитова

ЭТНОМЕТОДОЛОГИЯ И КОНВЕРС-АНАЛИЗ

- Использование видео для изучения социального взаимодействия 91
Алиса Максимова

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Проблема социального порядка (Гоббсова проблема): к эвристике и прагматике конститутивного вопроса современной теории общества 122
Олег Кильдюшов

РУССКАЯ АТЛАНТИДА

- Русская религиозная геософия: опыт историко-философской реконструкции 150
Владимир Быстров, Сергей Дудник, Владимир Камнев
- Неизменность Чаадаева 173
Андрей Тесля

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

- Узлы и пружины памяти 196
Наталья Веселкова
- «Гендер и власть»: читая книгу Рейвин Коннелл в России 213
Ольга Здравомыслова

РЕЦЕНЗИИ

Потерянное колено этнometодологии	223
Андрей Корбут	
Неформально о неформальном	234
Леонид Бляхер	
Забытое наследие Хоркхаймера	241
Антон Шаблинский	
Roger Sansi, <i>Art, Anthropology and the Gift</i> (London: Bloomsbury, 2015)	247
Наиль Фархатдинов	

IN MEMORIAM

Энтони Смит (1939–2016) и его научное завещание: некролог	255
Эмиль Паин, Сергей Простаков	

Contents

ARTICLES

- Working-Class Career as Choice Biography 9
Irina Tartakovskaya, Alexandrina Vanke
- Motifs of Government Rhetoric on Youth in Russia 49
Iskender Yasaveev
- The Role of Literary Magazines in the Russian Contemporary Literary Process 68
Anna Vichkitova

ETHNOMETHODOLOGY AND CONVERSATION ANALYSIS

- The Use of Video for Studying Social Interaction 91
Alisa Maximova

POLITICAL PHILOSOPHY

- The Problem of Social Order (a Hobbesian Problem): Towards the Heuristics and Pragmatics of the Constitutive Question of Contemporary Social Theory 122
Oleg Kildyushov

RUSSIAN ATLANTIS

- Russian Religious Geosophy: An Attempt of Philosophical and Historical Reconstruction 150
Vladimir Bystrov, Sergei Dudnik, Vladimir Kamnev
- Chaadayev's Permanency 173
Andrey Teslya

REFLECTIONS ON THE BOOK

- Nodes and Springs of Memory 196
Natalya Veselkova
- “Gender and Power”: Reading Raewyn Connell in Russia 213
Olga Zdravomyslova

BOOK REVIEWS

- The Lost Tribe of Ethnomethodology 223
Andrei Korbut
- Informally on Informal 234
Leonid Blyakher
- The Forgotten Heritage of Horkheimer 241
Anton Shabinskii
- Roger Sansi, *Art, Anthropology and the Gift* (London: Bloomsbury, 2015) 247
Nail Farkhatdinov

IN MEMORIAM

- Anthony Smith (1939–2016) and His Scientific Testament: Obituary 255
Emil Pain, Sergei Prostakov

Карьера рабочего как биографический выбор*

Ирина Тартаковская

Кандидат социологических наук, доцент социологического факультета
Государственного академического университета гуманитарных наук,
старший научный сотрудник Института социологии РАН.

Адрес: ул. Кржижановского, д. 24/35, к. 5, г. Москва, Российская Федерация 117259
E-mail: lucia.richardson@gmail.com

Александрина Ваньке

Кандидат социологических наук, доцент социологического факультета
Государственного академического университета гуманитарных наук,
научный сотрудник Института социологии РАН

Адрес: ул. Кржижановского, д. 24/35, к. 5, г. Москва, Российская Федерация 117259
E-mail: alexandrina.vanke@gmail.com

В статье рассматриваются карьерные стратегии российских рабочих, которые изучаются в контексте ситуаций биографического выбора. Опираясь на классовый и интэрсекциональный анализ, авторы описывают мотивы выбора рабочей профессии и дальнейшую социальную мобильность рабочих. В статье показывается, что восходящая мобильность молодых рабочих возможна при условии, что заводская иерархия позволит им конвертировать образовательный капитал (в виде повышения уровня образования и квалификации) в символический и экономический. Нисходящая же мобильность наиболее характерна для рабочих старших возрастов, которые не смогли адаптироваться к новым социально-экономическим условиям, потерпели неудачи и понизили свой социальный статус, например, из инженеров перешли в рабочие. Отмечается, что для выходцев из рабочей среды характерна стратегия воспроизведения классовой позиции. В статье утверждается, что карьерные стратегии рабочих в значительной степени обусловлены гендерным габитусом, имеющим для них определенную классовую специфику. Она выражается в том, что женщины-рабочие, имея карьерные амбиции, все же ориентированы на жизненный успех в приватной сфере (в браке и семье), в то время как для мужчин-рабочих успех может быть связан не только с построением профессиональной карьеры, но и просто с повышением качества жизни. Авторы заключают, что сегодня российские рабочие не склонны проблематизировать свой социальный статус и, скорее, воспроизводят свою классовую позицию, чем вкладывают силы в ее изменение.

Ключевые слова: карьерные стратегии, рабочие, биографический выбор, социальная мобильность, женский габитус, мужской габитус

© Тартаковская И. Н., 2016

© Ваньке А. В., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: [10.17323/1728-192X-2016-3-9-48](https://doi.org/10.17323/1728-192X-2016-3-9-48)

* Статья подготовлена в рамках проекта «Межпоколенная социальная мобильность от XX века к XXI: четыре генерации российской истории», поддержанного Российским научным фондом (грант № 14-28-00217).

Во втором десятилетии XXI века современное российское общество продолжает трансформироваться — меняется статус различных профессий и целых классовых групп, возникают новые формы социальной мобильности. Одновременно с этим воспроизводятся и старые, сложившиеся в предыдущие исторические периоды модели поведения на рынке труда, обладающие иногда поразительной устойчивостью. Значительный интерес для социологов представляет положение непривилегированных групп, сталкивающихся с новыми социальными, экономическими и политическими вызовами. Индустриальные и сервисные рабочие, несомненно, являются одной из таких групп, играющей заметную роль в социальной структуре российского общества.

Положение рабочих в современном обществе: обзор научной дискуссии

Принято считать, что исследования рабочего класса сегодня менее популярны по сравнению с советским периодом (Максимов, 2004: 3), и это мнение вполне обоснованно, хотя рабочие в России до сих пор остаются одной из самых многочисленных социальных групп: согласно статистическим данным, доля рабочих от всех занятых на 2014 г. составила 35,5 % (Каравай, 2016: 230; ФСГС РФ, 2015). Особую актуальность в условиях меняющейся социальной структуры приобретает изучение трудовой карьеры, возможностей для социальной мобильности рабочих.

В социологии существуют несколько подходов к изучению карьеры, вплетенной в трудовые и иные социальные отношения. Один из них рассматривает карьеру в соотношении с биографической перспективой (Heinz, 2001: 6), что, согласно терминологии Ульриха Бека, описывается понятием «биографический выбор» (choice biography) (Beck, 1992). Данный подход предполагает, что на протяжении всего жизненного пути (life-course) мы многократно делаем выбор, влияющий на нашу дальнейшую судьбу: выйти замуж или остаться холостым, поступить в училище или университет, выбрать работу по специальности или сменить сферу деятельности и т. д. (Lange, 2007: 273).

Биографический выбор в сфере карьеры зависит как от социально-индивидуальных характеристик, которые становятся результатом накопленного жизненно-го опыта и серии предыдущих выборов, так и от внешних ограничений и трудовых обстоятельств, которые мало зависят от нас (Heinz, 2001: 6; Lange, 2007: 274). В этом смысле, как верно отмечает Вальтер Хайнц, «мужские и женские карьерные истории отличаются в силу того, что принцип „связанных жизней“ приводит к неравному распределению трудовой деятельности и семейных ролей» (Heinz, 2001: 6). Таким образом, под «жизненным выбором» следует понимать то, как индивиды реагируют на жизненные вызовы и как они используют открывающиеся перед ними возможности в условиях структурных ограничений (Heinz, 2001: 6). Согласно логике подхода Пьера Бурдье, жизненный выбор является результатом работы как внешних надиндивидуальных структур, так и индивидуального габитуса —

устойчивых схем мышления, восприятия и оценивания, вписанных в тело (Бурдье, 2001: 106–107).

Вместе с тем в социологии традиционно существует подход к изучению карьеры и трудовых отношений через призму классового анализа. В нем рабочие рассматриваются через призму их классовой позиции, которая коррелирует с принадлежностью к социально-профессиональной среде. Однако на сегодняшний день в социальных науках ведутся жаркие дебаты о применимости понятия «социальный класс» к меняющимся постиндустриальным обществам. Несмотря на многочисленные попытки заменить классовый анализ другими подходами, он продолжает играть важную роль в критике социального неравенства.

Недавнее исследование структуры британского общества, проведенное под руководством Майка Сэвиджа, показало, что классовые различия по-прежнему имеют большое значение для социальной мобильности (Savage, 2015) и становятся следствием неравномерного распределения капиталов: культурного, социально-го, экономического — как их описывает Бурдье (Бурдье, 2004). Вместе с коллегами Сэвидж отмечает тенденцию к все большей поляризации британского общества — его разделение на привилегированные «верхи» и ущемленные «низы», что приводит к кристаллизации элиты и прекариата (Savage et al., 2015: 317, 333; Savage et al., 2013). Результаты данного исследования показали наличие структурной фрагментации, при которой границы между устоявшимся средним и традиционным рабочим классами сегодня размываются (Savage et al., 2015: 26). Эти же тенденции социальной поляризации в мировом масштабе находят свое подтверждение и в сравнительно-историческом исследовании Томаса Пикетти, посвященном неравенству в распределении доходов (Пикетти, 2015).

Вопросом релевантности классового анализа для описания неконсистентной структуры российского общества задаются авторы сборника «Rethinking Class in Russia» («Переосмыслия класс в России») (2012). В своих статьях исследователи изучают неравные властные отношения между разными социальными группами, чьи трудовые отношения в постсоветской России опосредованы неолиберальной экономической политикой. Авторы сборника рассматривают не только уже хорошо изученный российский средний класс (Rotkirch, Tkach, Zdravomyslova, 2012), но и уделяют внимание рабочему (Walker, 2012) и привилегированному классам (Ratilainen, 2012). Предложенное финским социологом Суви Салменнием понимание социального класса как «процесса, в ходе которого осуществляются социальные классификации, ведется борьба за навязывание классификаций и их легитимацию» (Salmenniemi, 2012: 3) основывается на определении классовой позиции индивида по месту, занимаемому им во властной иерархии. Наследуя Бурдье (Бурдье, 2005б: 15), Салменнием понимает под «классом» конфигурацию властных отношений и борьбу за номинации, что позволяет вывести исследовательский фокус за границы экономического измерения, добавив к рассмотрению символический, культурный и другие параметры.

Противоположностью данному подходу является определение социального класса, которое выводит в своем исследовании капиталистической трансформации государственного социализма британский социолог Дэвид Лейн (Lane, 2011, 2014). Будучи приверженцем марксизма, он, с одной стороны, показывает слабые стороны теории Маркса применительно к классовой структуре советской и постсоветской России, а с другой — дополняет ее парсонианскими стратификационными моделями. Лейн полагает, что отношения господства и подчинения следует рассматривать отдельно от классовых отношений (Lane, 2014: 133), что отличает его теоретические воззрения от взгляда Салменниemi и ряда других социологов. Лейн определяет класс как «группу людей, которые занимают схожую экономическую позицию, детерминирующую их жизненные шансы» (Lane, 2014: 131). Он продвигает мысль о том, что класс воспроизводится демографически, осознает свое положение по отношению к другим социальным группам и служит основой для политических и экономических действий (Lane, 2014: 131). По мнению Лейна, классы имеют трансформационный потенциал, но в случае перехода от государственного социализма к капитализму в 1990-е гг. ключевую роль в процессе социальных изменений в России играли все же элиты, а не рабочие (Lane, 2005: 432).

Британские социологи Саймон Кларк и Сара Ашвин в 1990-е гг. вместе с российскими исследователями провели более 20 проектов по изучению трудовых отношений и конфликтов на предприятиях, забастовочного движения и повседневной жизни рабочего класса в постсоветской России (Clarke, Fairbrother, Borisov, 1995; Clarke, 2007). Применение качественной стратегии социологического исследования и непосредственная работа в поле позволили рассмотреть российских рабочих как потенциальных субъектов социальных трансформаций в период рыночных реформ (Ashwin, Clarke, 2003). Особое внимание к гендерным, возрастным, культурным и другим социальным практикам рабочих позволяет отнести проекты Кларка и Ашвин к интенсивно развивающейся области новых исследований рабочего класса, которые смещают фокус с абстрактных проблем на изучение жизни рабочих в конкретных ситуациях: на предприятии, в сообществе, во время забастовки и т. д. (Russo, Linkon, 2005).

Майкл Буравой, наследник марксистской традиции, выстраивает свою концепцию рабочего класса, с одной стороны, на основе критического прочтения работ Антонио Грамши и Пьера Бурдье (Burawoy, 2008), с другой стороны, на результатах своих этнографических исследований рабочих промышленных предприятий Америки, Замбии, Южной Африки, Венгрии и России (Буравой, 2009: 29, 31). Так же как и Бурдье, он задается вопросом о том, существует ли рабочий класс «на бумаге» как теоретический конструкт или же он является реальной социальной группой, способной на действие (Burawoy, 2008: 4; Бурдье, 2005: 17). Изучая заводские режимы, Буравой пытался понять, какова роль производства в формировании рабочего класса (Буравой, 2009: 29).

Проводя включенное наблюдение на мебельной фабрике в г. Сыктывкаре в 1990-е гг. (Буравой, 2009: 49), Буравой обнаружил в среде рабочих различия ген-

дерных моделей поведения, которые он позже объяснил разницей гендерных габитусов, используя терминологию Бурдье (Бурдье, 2005а: 303). Буравой показывает, что в период интенсивных социально-экономических реформ и деиндустриализации женщины-рабочие оказались более адаптивны к изменениям по сравнению с мужчинами в силу того, что они обладали «многомерным» и гибким габитусом (*multi-dimensional habitus*), сформированным необходимостью совмещать домашний труд и работу на предприятии (Burawoy, 2008: 25). В этой же логике функционировал и гендерный контракт работающей матери, который формировал определенный женский габитус: матери и работницы одновременно. Мужчины-рабочие же обладали более ригидным «одномерным» габитусом (*mono-dimensional habitus*), который сводился лишь к роли кормильца семьи (*Ibid.*: 25). В условиях резкого снижения социального статуса и исходящей мобильности в 1990-е гг. роль мужчины-рабочего как добытчика была поставлена под вопрос, что породило у них габитусную неуверенность, если использовать термин Михаэля Мойзера (Meuser, 2010). Габитусная неуверенность проявилась в усилении пьянства в среде рабочих-мужчин, служащего компенсаторным средством поддержания мужественности (Kiblitskaya, 2000: 94), и — как следствие — в ухудшении здоровья и сокращении продолжительности жизни.

В российской социологии также существует долгая традиция исследований рабочего класса, трудовых отношений и жизненного мира рабочих. Одно из наиболее известных в этой области исследований было проведено Владимиром Ядовым и коллегами в 1960-е гг. на Кировском заводе в Ленинграде. Его результаты легли в основу книги «Человек и его работа в СССР и после», написанной Ядовым в соавторстве с Андреем Здравомысловым. Согласно выводам данного исследования, при построении трудовой карьеры заводские рабочие имели как творческие мотивы, связанные с самореализацией и личностным развитием, так и прагматические, направленные на зарабатывание денег (Ядов, Здравомыслов, 2003).

Другое, не менее известное исследование петербургского социолога Бориса Максимова было направлено на изучение изменения социального статуса рабочих и их субъективного восприятия своего социального положения в период реформ 1990-х — начала 2000-х годов (Максимов, 2004). Максимов пишет об усилении дифференциации российского рабочего класса, включающего разнообразные социально-профессиональные группы (Там же: 25). По его мнению, основные характеристики рабочих связаны, во-первых, с характером труда — его монотонностью, во-вторых, с уровнем профессиональной подготовки, которая соотносится с обучением в профессиональном училище или колледже, в-третьих, с низким положением в социальной структуре, в-четвертых, с наличием классового самосознания и отнесением себя к рабочему классу (Там же: 12). Наряду с социально-экономическими параметрами Максимов выделяет аспект властных отношений — занятия рабочими подчиненных позиций в социально-профессиональной иерархии, что пересекается с описанными выше идеями критических подходов: «Рабочих отличает... сугубая наемность. Это — рядовые работники, находящиеся на нижней

ступеньке производственной иерархии. Они, как правило, не участвуют в подготовке и принятии решений, в управлении предприятиями» (Там же: 13).

Исследование положения наемных работников в современной России, проведенное Зинаидой Голенковой и ее соавторами, показало, что российские рабочие, скорее, стремятся не менять полученную специальность, что указывает на «стабильность профессионального выбора» и снижает их шансы на осуществление профессиональной мобильности (Голенкова, Игитханян, 2015: 109). Согласно данному опроса, всего лишь 4,7 % рабочих пробовали заняться предпринимательской деятельностью (Там же: 110), остальные полагают, что не имеют для этого достаточных ресурсов. Ориентация на профессиональную стабильность в условиях трансформаций и кризисов делает рабочих одной из самых уязвимых социальных групп (Каравай, 2016: 243). По этой причине некоторые сегменты рабочего класса характеризуются прекарными формами занятости и отсутствием стабильных заработков (Голенкова, Голиусова, 2013: 6).

Современная социологическая литература, посвященная проблемам российских рабочих, охватывает не только вопросы их социальных установок, но и рассматривает такие темы, как трудовые конфликты на предприятиях (Виноградова, Козина, 2011; Ashwin, Kozina, 2013), рабочее движение (Клеман, Мирясова, Демидов, 2010), особенности телесно-сексуальной культуры (Омельченко, 2013) и гендерные аспекты мобильности рабочей молодежи (Walker, 2011, 2015a), условия жизни в индустриальных районах и моногородах (Morris, 2015) и т. д. Однако в отечественной социологии малоизученными остаются ситуации биографического выбора в пользу рабочей специальности и стратегии построения профессиональных карьер рабочих с учетом различных социальных параметров, которые мы рассматриваем в своей статье.

Методология Пьера Бурдье и ее применение для анализа карьеры рабочих

Для изучения биографического выбора рабочими своих профессий мы используем интерсекциональный анализ, который предполагает «исследование сложных механизмов распределения власти, различающихся в зависимости от контекста, в котором могут актуализироваться те или иные измерения социальной дифференциации» (Тартаковская, 2015: 85). Другими словами, в свете интерсекционального подхода биографический выбор карьеры рабочего будет рассматриваться нами в узле подвижных отношений между гендером, классом и отчасти возрастом (при надлежность к тому или иному поколению) (Ренн, 2011: 143–144, 145, 156). Особое значение в подобном анализе приобретает контекст накладывания различных параметров — сочетания категорий, образующих новое соединение со свойственными ему характеристиками и значениями (Тартаковская, 2015: 86).

Интерсекциональный анализ, имеющий в своей основе критическую интенцию, органично сочетается с генетическим структурализмом Пьера Бурдье,

согласно которому биографический выбор является результатом работы *габитуса* — набора схем мышления, восприятия и оценивания, вписанных в тело и генерирующих определенные виды социальных практик в зависимости от позиции индивида в социальном пространстве, т. е. от его/ее принадлежности к тому или иному социальному классу. Понятие габитуса соединяет в себе как объективистскую логику внешней детерминации — неосознанного принятия решений под воздействием внешних социальных структур, например, больших и малых режимов, так и субъективистское восприятие выбора, сделанного в соответствии с индивидуальными стремлениями, желаниями и мечтами (Бурдье, 2001: 104), способными изменить социальную траекторию, сделать профессиональную карьеру и привести к социальной мобильности. Габитус как система устойчивых диспозиций (Там же: 102) коррелирует с местом индивида в социальном универсуме, которое определяется объемом и набором разных видов капиталов: экономического (деньги или состояние), социального (связи и сети контактов), культурного (образование и дипломы), символического (престиж и признание) и др.

В этом смысле социальные классы, по Бурдье, служат не номинальными категориями (как, например, «средний» или «креативный класс»), а формируются аналитически по близости социальных позиций. Таким образом, принадлежность к рабочему и любому другому классу определяется не только уровнем дохода, но и стилем жизни: культурными предпочтениями и способом проведения досуга. «Стили жизни являются систематической производной от габитусов: взятые в их взаимосвязи, согласно схемам габитуса, они становятся системами социально маркированных знаков («благородный», «вульгарный» и т. д.). Диалектика условий и габитусов лежит в основе алхимии, трансформирующей распределение капитала — или баланса соотношения сил — в систему распознаваемых различий, отличительных свойств, иначе говоря, в распределение символического (легитимного) капитала, чья объективная истина остается неизвестной» (Bourdieu, 1994: 172).

Бурдье также вводит понятие классового габитуса (Бурдье, 2001: 105). Оно означает, что принадлежность к определенной социальной среде влечет за собой формирование габитуса, присущего этой среде. Другими словами, девушки из рабочих семей скорее будут обладать габитусом женщин-рабочих, которому свойственен определенный набор социальных практик и поведенческих стратегий, например, раннее замужество и ранее же рождение детей, и как следствие — отказ от поступления в высшее учебное заведение и посвящение себя семье. Однако это не значит, что выходец из рабочей семьи не может совершить «выход» из класса и осуществить тем самым вертикальную социальную мобильность, преодолевая социальные силы, тянувшие его/ее обратно.

В работе «Мужское господство» Бурдье выделяет гендерный габитус, который отвечает за гендерное разделение труда и распределение половозрастных ролей между женщинами и мужчинами (Там же). Развивая идеи Бурдье, немецкие социологи Михаэль Мойзер и Корнелия Бенке используют понятие *гендерного габитуса*, полагая, что «социальное существование гендера связано со специфическим

габитусом, который генерирует определенную социальную практику» (Behnke, Meuser, 2002: 156). Мойзер утверждает, что формы габитуса связаны с семантикой гендерного неравенства, а неравные символические ресурсы женщин и мужчин вносят вклад в неравенство социального порядка (Meuser, 2006: 119). В данном случае классовый и гендерный габитус служит именно тем узлом, в котором сплеваются классовые и гендерные различия, детерминирующие реализацию тех или иных стратегий построения карьеры или отказа от нее.

В отечественной социологии понятие «гендерный габитус» пока не получило широкого распространения, несмотря на то, что оно обладает определенным эвристическим потенциалом. В российском контексте оно, как правило, применяется к изучению маскулинных телесных, сексуальных, потребительских и других видов практик (Ваньке, 2013). Вслед за Михаэлем Мойзером Елена Рождественская (Мещеркина) использует понятие «мужской габитус» для сопоставления гендерных идентичностей мужчин из рабочего и среднего классов. Она приходит к выводу о том, что габитус мужчин-рабочих менее патриархalen (Мещеркина, 2002: 287). Рабочие мыслят маскулинность и феминность с точки зрения их прагматической целесообразности. Например, более высокие заработки супруги воспринимаются нормально в условиях сниженного социального статуса мужчин-рабочих, в то время как мужчины из среднего класса более склонны воспроизводить традиционные гендерные практики. Белые воротнички испытывают большую габитусную неуверенность, которая обусловлена их беспокойством по поводу того, чтобы соответствовать образу «настоящего мужчины», выполняющего роль кормильца (Там же: 287). Недавние исследования показывают, что молодые рабочие также испытывают габитусную неуверенность, когда их мужественность ставится под вопрос в условиях экспансии неолиберальных ценностей (Ваньке, 2014: 73–74).

И если вокруг мужских габитусов уже развернулась дискуссия, то женский габитус, в частности габитус работниц, пока остается за пределами внимания российских социологов. Таким образом, мы прибегаем к понятиям мужского и женского габитусов для изучения карьер рабочих, предполагая, что выбор рабочей профессии и принятие решений при построении трудовой биографии осуществляется как под воздействием внешних социальных структур, так и — инкорпорированных схем мышления, порождающих соответствующие наборы практик. Статья ставит своей целью ответить на следующие исследовательские вопросы. Какие мотивы стоят за выбором рабочей специальности у мужчин и женщин? Как они выстраивают свои профессиональные карьеры в соответствии с гендерными габитусами? Каким образом осуществляется (или почему не осуществляется) социальная мобильность женщин- и мужчин-рабочих?

С методической точки зрения мы изучаем рабочие карьеры с помощью полу-структурированного биографического интервью, поскольку, на наш взгляд, именно этот метод позволяет наилучшим образом прояснить содержание и обоснование жизненного выбора, а также реконструировать мужские и женские габитусы. Методический дизайн исследования разработан в рамках проекта «Межпоколен-

ная социальная мобильность от XX века к XXI: четыре генерации российской истории» (Семенова, 2016). В ходе интервью подробно выяснялись биографические подробности жизни респондента — профессия родителей, дедушек и бабушек, переезды, выбор образования, все виды занятости и трудовых перемещений, семейные и жилищные обстоятельства, досуг и т. п. Помимо этого, задавались вопросы о планах на будущее, оценке собственной успешности и представлениях об успехе.

В ходе полевого исследования, проведенного в октябре 2015 г. — апреле 2016 г. в крупных городах: Москве, Екатеринбурге и Самаре, а также в двух небольших городах: Нижнем Тагиле и Новокуйбышевске, было собрано 85 интервью. В целевую выборку попали представители двух социальных групп — занимающие руководящие и рядовые должности и принадлежащие к поколениям условных «детей» и «отцов» в возрасте: 1) 25–30 лет и 2) 45–50 лет. В группе « рядовых работников» были широко представлены рабочие, занятые в промышленном секторе и сфере услуг. В результате нами были использованы для анализа 39 интервью с мужчинами и женщинами рабочих профессий, представителями молодого и старшего поколений.

Процедура анализа интервью предполагает два этапа. Используя аналитическую выборку, мы сначала отбираем высказывания, содержащие информацию о карьере и социальной мобильности респондентов, а также о выборе ими учебного заведения, профессии и места работы. Наряду с этим нас интересуют сюжеты отказа от построения карьеры, которые свидетельствуют о нисходящей мобильности или об отсутствии социальных перемещений. На втором этапе мы осуществляем, во-первых, интерпретационный анализ значений, вкладываемых респондентами в понятие «карьера», во-вторых, выделяем типы карьерных стратегий мужчин и женщин разных возрастов, и, в-третьих, реконструируем мужские и женские габитусы рабочих.

В статье мы рассматриваем две группы наемных работников — собственно промышленных рабочих и низкоквалифицированных работников сервисных учреждений. Сопоставление этих групп представляется нам оправданным, потому что они находятся в схожем социальном положении: занимаются физическим и/или монотонным трудом, получают за него невысокую оплату, лишены властных ресурсов и влияния, обладают ограниченными социальными возможностями в виде связей и образования. Логика большинства авторов, описывающих особенности классовой структуры современных обществ, позволяет отнести их к одной и той же страте людей с ограниченным социальным капиталом и схожим габитусом (Бурдье, 2004), слабыми ресурсами (Sorensen, 2000); подвергающихся непосредственной эксплуатации (Wright, 2000) и подверженных высоким социальным рискам (Бек, 2000), в той или иной мере социально исключенных (Кастельс, 2000) и обладающих невысокими активами (Grusky, 2001). Как показывает наше исследование, достаточно часто одни и те же люди на протяжении своей трудовой биографии имеют опыт работы и на промышленных, и на сервисных предприятиях.

По мнению Венди Боттеро (Bottero, 2009), которое мы разделяем, работников сервиса, таких как продавцы, и низкостатусных офисных работников, выполняющих рутинную, низкоквалифицированную работу и обладающих очень низкой степенью автономии, следует относить к рабочему классу.

Нас интересовала, в частности, мотивация их трудовых переходов, выбора определенных рабочих мест и отказа от них, а также роль рабочей и социальной позиции в выстраивании субъектности наших респондентов.

Специфика образовательных стратегий молодых рабочих

В современном обществе путь к рабочей профессии, как правило, ведет через профильное образование. Наше исследование позволило выявить определенные особенности восприятия образовательных институтов в социальной группе промышленных и сервисных рабочих. Несмотря на всю важность образования как фактора социальной мобильности и социальной стратификации, выбор профиля образовательного учреждения был для подавляющего большинства респондентов совершенно случайным. Как показал в своей статье, основанной на изучении выпускников технических училищ и колледжей Ульяновска Чарльз Уолкер (Walker, 2010), средние специальные учебные заведения до сих пор остаются высоковостребованными образовательными институтами. Молодые люди воспринимают их не только как возможность относительно быстро и без особых материальных затрат получить профессию и выйти на рынок труда, но и как шанс позитивно изменить свою жизнь, стать взрослыми, расстаться со школой, о которой многие из них сохранили не самые лучшие воспоминания. Наталья Кремнева и Евгения Лукьянова пишут, что многие семьи одобряют старт своих детей с рабочих профессий, как с точки зрения экономических выгод (широкота предложений на рынке труда, высокие заработки), так и правильных моделей взросления (Кремнева, Лукьянова, 2015: 38). Однако здесь мы наблюдаем интересный социальный феномен: представления о том, какой будет эта профессия, в чем она будет заключаться, какие может дать жизненные шансы, остаются для большинства абитуриентов совершенно абстрактными:

Думаю, ну надо куда-то поступать. Куда поступать? Фиг его знает. И тут у меня мой знакомый говорит: «А я вот в политех там». Я говорю: «А я с тобой пойду». Куда пойдем? Фиг его знает... И вот «Электрооборудование автомобилей и тракторов», такая специальность. Я говорю: «Что мы там делать будем?» — «Да фиг с ней, надо просто куда-то пойти». От балды то бишь. (Евгений, кладовщик, 30 лет)

Просто шла мимо, и компания людей, и типа вот стали ко мне заигрывать, туда-сюда, куда, чего, зачем. Да я вот иду типа в плановый институт поступать. А мне говорят: «Да пошли к нам в техникум, да у нас здесь интересно, туда-сюда...» Потому что, знаете, когда я учились в школе и когда со школой

мы прощались — вот эта вот прострация. Как правильно-то сказать? Страх перед свободной, вольной жизнью, и ты не знаешь, куда пойти, и вот когда еще тебя родители не направляют... (Анна, шлифовщица, 45 лет)

Очень многие из наших респондентов аналогичным образом выбирали учебное заведение за компанию с приятелем или подругой, либо из-за того, что оно оказалось ближайшим к дому. Иногда в выбор вмешивались родители, в этом случае он оказывался более осмысленным, но в целом в этой социальной группе влияние родителей на образовательные планы детей значительно меньше, чем в семьях среднего класса. И даже если мнение родителей присутствовало и учитывалось на момент поступления в учебное заведение, дальнейшая трудовая биография выпускника складывалась практически всегда не так, как они планировали и хотели.

Глубинные интервью показали, что в восприятии среднетехнических образовательных институтов присутствует определенная инерция: в социальной памяти последних двух поколений сохранилось представление о том, что они дают «путевку в жизнь» и обеспечивают работой и социальными гарантиями. На самом деле, жизненные шансы выпускников училищ и техникумов, как правило, оказываются гораздо ниже, чем они рассчитывали, что создавало для них впоследствии фрустрирующую ситуацию при трудоустройстве. Особенно сильной оказалась фрустрация у представителей того поколения, которое получало образование еще в позднесоветское время, рассчитывая на существовавшие тогда механизмы социальной мобильности:

Не панацея была иметь высшее образование на тот период времени, которое у нас существовало, и строй другой был, как бы и больше приветствовался рабочий класс, чем работник ИТР. И были заработные платы другие, и соцпакет был другой, соответственно, и в очереди можно было получить жилье, чего-то добиться, я имею в виду, рабочему классу. (Виктор, плотник, 45 лет)

Но и у работников старшего возраста, и у более молодых «случайно» полученное образование впоследствии играло в их жизни роль структурирующего фактора, причем нередко, скорее, ограничивающего, чем ресурсного, — многие из них жалеют об упущеных возможностях, об отсутствующих знаниях и потерянном времени:

Много жалею о чем, в принципе. Очень жалею, что все-таки лень моя меня... в образовании, допустим. Я ощущаю очень сильный провал в образовании в определенные моменты. (Евгений, кладовщик, 30 лет)

Интервью выявили также еще один интересный момент в планировании молодыми рабочими своего будущего: для многих из них образовательные планы существовали на двух уровнях — «уровне реальности» и «уровне мечтаний». На «уровне мечтаний», о которых рассказывали нам респонденты, они видели себя

успешными людьми с высшим образованием, часто представителями интеллектуальных и творческих профессий:

Получить инженера, закончить вуз, получить высшее образование, как говорится, выйти в люди, чего-то достичь в этой жизни... Мечтать-то можно о многом, а все идем-то мы по жизни по реалиям (Василий, токарь, 27 лет).

Однако жизнь «по реалиям» не давала им возможностей приблизиться к осуществлению своей мечты, причем по многим причинам: кому-то было необходимо быстрее выйти на рынок труда и начать зарабатывать себе на жизнь, кто-то не располагал достаточными знаниями и культурным капиталом:

Может быть, если уже выбирать из таких профессий, я бы поступил, допустим, на программиста, но здесь уже надо было действительно садиться и учиться, то есть зубрить, вот. (Алексей, рабочий на конвейере, 26 лет)

Я была страшной лентяйкой, мне неохота было сдавать никакие экзамены в институт, в училище просто так взяли, я и пошла туда. (Ольга, железнодорожный проводник, 45 лет)

Как отмечалось еще в классической работе Пола Уиллиса (Willis, 1977), прилежная учеба, «зубрежка» не входят в нормативный паттерн социализации рабочей молодежи. В своей последней работе (Willis, 2004) он показывает, что за прошедшие 30 лет в этом отношении мало что изменилось: структурные возможности молодых рабочих резко ограничивают их культурный капитал, формируя габитус, плохо совместимый с прилежной учебой и направленной на будущую карьеру «работой над собой» (описанной Фуко). Недавнее исследование Уокера подтверждает верность этого утверждения и для современной России (Walker, 2010).

Помимо пробелов в знаниях и невысоких баллов по ЕГЭ (или низкого балла в школьном аттестате для старших возрастных групп), реализовывать свои мечты мешает своего рода «габитусная неуверенность», препятствующая реальному планированию и осуществлению социальной мобильности. Она особенно заметна у девушек из рабочих семей, отчасти подвергающихся более строгому родительскому контролю, чем юноши, отчасти просто не представляющих своих действий вне рамок известных им паттернов поведения.

Мама почему-то меня боялась всегда отпустить дальше, чем вот Новокуйбышевск. Просто на тот момент у меня сестра старшая, она уже училась в институте в мед, причем на вечернем курсе, и она каждый вечер после работы ездила в Самару, училась. И потом мама ее каждый вечер встречала. Скорее всего, может быть, вот это подтолкнуло ее к тому, чтобы меня не отпускать в Самару. (Татьяна, пробоотборщик, 45 лет)

Я училась в художественной школе... Мы два года проучились, и потом я бросила. Я вот предала свою мечту в том плане, что я каждый день об этом жалею, ребенку об этом говорю... Все-таки мечту нельзя предавать. У меня получилось так, что я ушла, через какое-то время, буквально через неделю, я очень сильно пожалела. Но я ездила... И не пришлось ездить эти 5 остановок, по ночам возвращаться домой, телефонов тогда не было. Родителям не приходилось меня встречать, Безымянка [район города. — А. В., И. Т.] до сих пор остается криминальной. Я очень скоро пожалела, сама все себе сгубила, получается так». (Наташа, продавец, 30 лет)

Поскольку мечта оказывается «преданной» и большой проект будущего не находит связей с реальностью, образовательный выбор, осуществляемый в этой реальности, не имеет большого значения и оказывается случайным, происходит стихийно или по чужой подсказке. Учеба тоже происходит по инерции, автоматически — не ради знаний, а потому что «положено учиться»:

Я ее [свою специальность, полученную в техникуме. — А. В., И. Т.] не знаю, да и нет у меня желания ее познавать. (Алексей, сборщик, 26 лет)

Таким образом, для рассматриваемой нами социальной группы образование часто оказывается «иллюзорным» социальным лифтом, гипотетическими преимуществами которого они не могут воспользоваться. Причем это иногда относится и к высшему образованию, поскольку в нашей подвыборке «неудачников» с нисходящей социальной мобильностью на позициях рабочих — и промышленных, и особенно сервисных — оказалось немало людей с высшим образованием.

Позиция рабочего как результат нисходящей мобильности

Поскольку одной из целей нашего исследования было изучение «мобильности в движении», направленном как вверх, так и вниз, специфика выборки позволила нам рассмотреть несколько биографических историй работников, которых их жизненная траектория привела на рабочие позиции с более высококвалифицированных и высокостатусных. Причины этого были самые разные: от неудачных попыток заниматься собственным бизнесом до проблем со здоровьем и личных драм (например, смерть мужа-кормильца семьи). Следует отметить, что ни в одном из рассмотренных нами случаев выбор рабочей позиции не был безальтернативной «последней возможностью». Во-первых, зарплаты рабочих оказались вполне конкурентоспособными по сравнению с доступными для неудачников позиций «менеджеров по продажам» и «дистрибуторов». Во-вторых — не было особых психологических барьеров. Как отмечали многие авторы, социальные иерархии в современной России устроены таким образом, что границы, отделяющие элиты от остальной части общества, закрыты и практически непроницаемы (Гудков, 2008; Кордонский, 2008). Однако если рассматривать нижние этажи этих

иерархий, мы не можем обнаружить четких статусных, материальных, габитусных различий между рабочими и представителями инженерно-технической интеллигенции. Хотя Мишель Ривкин-Фиш утверждает, что классовая субъектность и позднесоветской, и постсоветской интеллигенции подразумевает устойчивое противопоставление рабочему классу (Rivkin-Fish, 2009: 79), наши данные позволяют предположить, что это противопоставление характерно не для всех категорий интеллигенции. Представители инженерно-технической интеллигенции, принадлежащие к старшим поколениям, т. е. имевшие опыт советской социализации, в своих биографических нарративах не выстраивали никакой символической дистанции по отношению к рабочим — ни как к социальной категории, ни как к соответствующим рабочим местам. Многие из них начинали свою карьеру с рабочих позиций, и в том случае, если эта карьера оказалась неуспешной, рассматривают возвращение на такое рабочее место как вполне приемлемый вариант. Несколько наших респондентов чередовали в своей трудовой биографии позиции инженеров и высококвалифицированных рабочих, занимая то рабочее место, которое им казалось в конкретной ситуации более предпочтительным с точки зрения материального вознаграждения:

С высоким разрядом не все инженеры получают, сколько слесарь. (Вадим, слесарь, 48 лет)

На наш взгляд, такая классовая неопределенность, с одной стороны, имеет советские корни, когда корпоративная идентичность, соотнесение себя, скорее, с определенным предприятием, чем с классовой группой, была характерна для большинства сотрудников крупных предприятий, кроме их высшего руководства (Lane, O'Dell, 1978). С другой стороны, хотя символическая значимость рабочих и ручного труда в современном российском обществе весьма низкая (Уокер, 2012), такое обесценивание касается далеко не только рабочих, но и многих других профессий, не ассоциирующихся в общественном сознании с успехом и престижем.

Постоянно возрастающая прекарность многих видов занятости приводит к тому, что ценность квалифицированного труда, не обеспечивающего работников ни достойным заработком, ни стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне, ни особыми перспективами, существенно снижается, и профессиональная идентичность специалистов размывается. Когда трудовая биография складывается из цепочки малопривлекательных рабочих мест с короткими периодами занятости и когда надежды на карьерный рост и достойное вознаграждение разочаровывают, то переход на позиции промышленных или сервисных рабочих не воспринимается как нисходящая мобильность или поражение (Голенкова, Голеусова, 2015). Наоборот, она может рассматриваться как менее ответственная и менее конкурентная, своего рода облегчение по сравнению с безуспешными попытками построить, например, бизнес-карьеру:

Пошел, значит, работать, когда в такси, думаю, да ну, пропади все пропадом, отдохну маленько, всю жизнь пашешь как папа Карло, а результата... по крайней мере, когда я снял костюм и галстук и сел за руль автомобиля, я наслаждался и вообще целый год практически, то есть я никогда не думал, что работать физически... работа, которая поставлена четко, я сел за руль, я на работе, вышел из-за руля, не работаю. Вот это настолько легко и комфортно, вот как бы руками работать (улыбается). (Эдуард, водитель, бывший предприниматель, 45 лет)

Для работников старшей возрастной группы, претерпевших исходящую социальную мобильность, она часто была связана с утратой более широкой рамки социальных смыслов, не сводящихся только к ценностям профессионализма:

У меня ностальгия по тем временам, когда было, ну, наше поколение, во всяком случае, так считает, что там было, наверное, более хорошо, комфортно, более востребованно, более понятно... То есть какая-то была приверженность идее, что ли, если так можно сказать. Там была перспектива, там была какая-то идея. То есть вот наше поколение — вот такое переломное поколение получилось. Мы воспитаны были на одних ценностях, на ценностях хороших, комсомольских, патриотических, возвышенных. А сейчас ценностей нет никаких. (Наталья, кассир, бывший музыкальный работник, 50 лет)

Для респондентов, чья социализация и профессиональное становление происходило в советское время, профессиональная и классовая идентичность соотносилась с теми ценностями, с которыми они связывались в рамках советского идеологического проекта, хотя и ветшавшего, но сохранявшего для них определенные личностные смыслы. Когда эта рамка исчезла, большинство из них испытали не только трудности, связанные с выстраиванием своей профессиональной стратегии при изменившихся «правилах игры» в сложных экономических условиях, но и своего рода экзистенциальную дезориентацию. Старые профессии, советское образование не только плохо кормили, но и утратили ценностную составляющую, и в условиях, когда, как выразился один из наших респондентов, «нет ни страны, ни флага, ни гимна» (Василий, плотник, 45 лет), поддержание идентичности профессионала и специалиста перестало быть лично важным. Не вписавшиеся в новый идеологический дискурс бывшие профессионалы занимали рабочие места на нижних этажах социальной лестницы без всякого внутреннего сопротивления. Тем более что сохранившиеся в ходе реформ предприятия представлялись им хотя бы каким-то оплотом стабильности, своего рода осколками «старого мира», где можно было укрыться от неурядиц мира нового:

Выбор мой был предопределен, работы не было нигде, была безработица, и деньги платили только на заводах. (Елена, клепальщица, 45 лет)

Выбор рабочей профессии как классовое воспроизведение

Традиционно основной приток новой рабочей силы на предприятия обеспечивается за счет молодых людей из рабочих семей, повторяющих профессиональный и классовый выбор своих родителей. Как показала в своем исследовании трудовых династий Ольга Ткач (Ткач, 2007: 79–80), наследование профессии рабочих родителей часто осуществляется в рамках того же самого предприятия, где работают родители (либо кто-то один из них). Мотивация воспроизведения рабочей династии при этом может быть разной: либо предприятие как знакомый социальный институт, объект приложения имеющегося в распоряжении социального капитала в виде связей, воспринимается как предпочтаемая площадка для оптимизации жизненных шансов, либо профессионально-классовый габитус инерционно воспроизводится от поколения к поколению. При этом завод воспринимается просто как место работы, позволяющее выжить в любых экономических условиях.

Молодые рабочие, осуществляющие свой выбор сознательно, отчасти руководствуются рекомендациями и представлениями своих родителей, кадровых рабочих, многие из которых отдали всю жизнь конкретному предприятию. Однако их реальное знакомство с предприятием обычно оставляет противоречивое впечатление:

Мама работала на инструментальном заводе. В общем, она проработала там 30 лет, с 20-ти, получается, и до пенсии. И я вот в цех, в рембригаду, кстати, тоже такой запоминающийся момент, что когда я пришел туда, там у них вообще своя другая атмосфера, такое ощущение, как будто со всеми вот эти-ми гаджетами на тот момент, телефонами там, что было, с телевизорами ты окунулся в какой-то Советский Союз, потому что там везде эти плакаты Ленина до сих пор, Сталин, ну, было интересно. И само общение людей — все работали, как у меня мама работала там с 20 лет, и все-таки работали, то есть они там все настолько дружные! Сейчас уже, наверное, не такие дружные, но мне нравилось... Если бы там платили достойно, возможно, я бы даже и работал до какого-то периода. (Алексей, сборщик, 26 лет)

Ценности колLECTивизма и солидарности, продолжающие существовать на бывшем советском предприятии, ставшем частной компанией (хотя и по убывающей — «уже не такие дружные»), симпатичны нашему респонденту, но он, со своими гаджетами и желанием высоких заработков, совершенно не способен в него вписаться и отдавать ему долгие годы жизни, как отдавала его мать.

Выбор места работы, если он делается не по принципу наименьшего сопротивления, а осознанно, осуществляется из максимально прагматичных соображений:

Мне было предложено два места работы, то есть первое место работы по профессии, на которую я выучился, а второе тоже похоже на мою профессию, но на заводе. То есть на железной дороге либо на заводе. Почему я пошел на железную дорогу? Потому что я хотел как бы получить, купить квар-

тиру. А там очень выгодные такие условия, там получается всего 2 % годовых с работающим платить за весь срок ипотеки. А на заводе такой возможности не было. Там больше льгот, но что касаемо квартир, там нужно отработать какое-то количество времени, и после чего тебе, возможно, дадут квартиру. Но факт. (Максим, бригадир, 25 лет)

Как видно из цитаты, молодой рабочий тщательно взвешивает все ресурсы, которые ему может обеспечить то или иное место работы, и делает продуманный выбор в пользу крупной госкорпорации. Эта работа заодно и более соответствует его специальности, но содержание и характер работы не рассматриваются им как значимые факторы (далее, по ходу интервью, он сообщил, что работа ему не нравится). Собственно, профессия вообще инструментальна по отношению к главной для него на данном жизненном этапе цели — приобрести квартиру. И поскольку желанная ипотека на 14 лет получена, но съедает у него ровно половину зарплаты, этот юноша, еще не только не имеющий детей, но и неженатый, продолжает свои расчеты:

Там очень много всяких плюсов. Там за первого ребенка списывается 10 квадратных метров от стоимости. За второго ребенка списывается 14 квадратных метров от стоимости... Плюс еще материнский капитал за двух детей. (Максим, бригадир, 25 лет)

Реалии неолиберальной экономики таковы, что довольно часто кредиты и их обслуживание становятся центром планирования не только своей работы и профессии, но и всех остальных жизненных обстоятельств. Другой рабочий, более старшего возраста, не решился все же взять кредит и пытался улучшить свои условия другим способом:

Я искал девушку с квартирой, в общем-то, мне что-то не хотелось ни здесь в микрорайоне гнездо вить, ни как-то с мамой... (Вадим, слесарь, 48 лет)

Девушка с квартирой не встретилась, поэтому Вадим до сих пор не женат и живет с мамой. Не только материальные обстоятельства жизни современных рабочих, которые, при всей их стесненности, обычно бывают как минимум не хуже, чем у поколения их родителей, но сами «правила» современной жизни формируют у них своеобразный габитус, когда все аспекты жизни они вынуждены оценивать pragmatically, с точки зрения их ресурсных возможностей. У большинства наших респондентов он стал уже привычным и не встречал сопротивления.

Крупные промышленные предприятия тем не менее остаются весьма привлекательным работодателем для этой социальной среды. Помимо относительно стабильных зарплат (хотя, как показал Уокер [Walker, 2015b], чаяемая «стабильность» часто оказывается, скорее, приписываемым таким предприятиям преимуществом, чем реальностью), большую привлекательность для рабочих имеет соцпакет, а для

молодых рабочих — сохранившаяся система профессионального продвижения, включая поддержку при получении образования, как среднетехнического, так и высшего.

Неуверенность в себе и отсутствие перспектив в других сегментах рынка труда делают рабочие позиции неожиданно привлекательными даже для некоторых молодых представителей среднего класса — что называется, «на контрасте». Как признался нам в интервью молодой директор не очень успешного туристического агентства в небольшом городе:

...что-то поменять в жизни, конечно же, возможно, хотелось. В том числе пойти на рабочую специальность. Потому что 10-15 лет назад работяга на заводе это был пьющий, немытый, ну, можно сказать, низший слой населения. Ну, это было по факту так. Потому что на 10 начальников была тысяча вот таких работяг, которые я перечислил. Сейчас, конечно, ситуация поменялась, и уровень, и требования к этим работягам другие, и заработка плата, и социальный пакет, ну, в общем, уровень рабочего класса в нашей стране, конечно, вырос в разы. (Роман, 29 лет, директор турагентства)

Таким образом, нисходящая социальная мобильность в рабочий класс может рассматриваться носителями высшего образования не только как карьерная неудача, но своего рода желанная жизненная возможность.

Женская рабочая карьера: гендерные и классовые ограничения

Анализ взятых в ходе исследования интервью показал, что социальная позиция рабочего, хотя и претерпела символическое обесценивание (Trubina, 2012), сохраняет определенную привлекательность как для молодых людей из рабочих семей, так и потерпевших карьерные неудачи профессионалов. В то же время отношение к ней остается крайне противоречивым, идентичность кадровых рабочих размыается, габитус рабочей молодежи складывается под влиянием соблазнов общества (недо)потребления, трудовые ценности низкие, перспективы работы на предприятиях и в сервисе оцениваются как неопределенные. В этих условиях все более важную роль для выстраивания собственной субъектности начинает играть гендерный габитус, задающий знакомые и значимые для индивидов измерения социальных координат.

Как уже говорилось выше, Буравой полагает, что российские женщины рабочего класса имеют более разносторонний габитус, чем мужчины, что позволяет им проявлять большую устойчивость и открытость реакций во времена экономических испытаний (Burawoy, 2008). Однако это разнообразие достигается за счет того, что им приходится все время создавать новые конфигурации социальных практик в поиске неустойчивого баланса между разными сторонами своего биографического проекта: профессиональной самореализацией, материальным обеспечением, заботой о детях и других родственниках, поддержании отношений с

мужем или партнером. В этой ситуации у работниц социально приемлемый гендерный сценарий самоотверженной матери обычно выступает основной структурирующей рамкой, задающей параметры их карьеры и социальной мобильности. В какой-то степени это верно и для женщин из других социальных групп, но интерсекциональный анализ помогает нам увидеть некоторые особенности гендерного габитуса именно в рабочей среде.

Во-первых, рабочие профессии, как правило, имеют очень высокую степень гендерной сегрегации, которая происходит еще на уровне образования, девушки из рабочих семей обычно изначально ориентированы на «женские», низкооплачиваемые профессии (Walker, 2010). Во-вторых, в рабочей среде социальной нормой являются ранние браки, о которых нам рассказывало большинство наших респонденток:

Я дочку родила на пятый день после своего 18-летия. (Олеся, продавец в ларьке, 25 лет)

При этом такие браки — не вполне продукт индивидуального решения той или иной девушки, они именно габитусно обусловлены. Респондентка, вышедшая замуж в 20 лет, вспоминает:

И очень уже, на тот момент, когда я выходила замуж, я уже хотела свое, подружки все за два года повышали замуж. У всех были семьи, дети, туда-сюда. И я как-то раз и почувствовала, что я осталась одна. Я захотела замуж, я просто почувствовала, что я готова выйти замуж. И так случилось, что с мужем своим познакомилась и все пошло. (Людмила, лаборант, 45 лет)

Далее, ранний брак, как правило, влечет за собой столь же раннее материнство:

Потом я приняла решение, что мне срочно нужен ребенок. Не то, что я приняла. Я понимаю, что все уже родили. Потому что годы идут. В тот момент я думала 20 лет — это так много, нереально просто, как, это, вообще, что такое? Конец света, все. (Наташа, продавец, 30 лет)

Эти биографические выборы, сделанные молодыми девушками самостоятельно, но под влиянием сложившихся у них представлений о социальных нормах, женской судьбе и женском счастье, практически полностью определяют их дальнейший жизненный путь, в том числе и профессиональный: отказ от получения образования, выбор «удобной работы» — низкооплачиваемой, но обладающей оптимальным режимом для обслуживания семьи (этот тип работы как доминирующий гендерный паттерн подробно описан у Светланы Ярошенко [Ярошенко, 2002]). Очень многие из них часть своей трудовой биографии посвящают работе уборщицей или няней в детских садиках, куда ходят их дети, — иногда их трудоустройство бывает условием принятия детей в садик, иногда следствием недоверия

к работе детских учреждений: в любом случае этот вид занятости представляет им идеальным способом совмещения работы с материнством. В результате не только ставится крест на возможностях социальной и профессиональной мобильности, но возрастает зависимость от финансовой поддержки партнера. Респондентки в явной форме говорили о «заданности» своей жизненной траектории:

Как-то у нас, наверное, это на генном уровне — какая-то работа, семья, дети и быт, как-то вот так вот. А какой-то определенной цели куда-то пойти — да нет, наверное, не было... (Оксана, оператор оборудования, 45 лет)

Свой жизненный успех женщины рабочего класса определяют через семейный статус, причем не через какие-либо достижения других членов семьи, а именно простое их наличие:

Я этим тоже очень горжусь, что все-таки я замужем, я нормальный семейный человек, не то что разведенка. (Олеся, продавец в ларьке, 25 лет)

Но не следует из этого делать вывод о том, что они лишены профессиональных амбиций или довольны своим положением. Та программа, которую наша респондентка назвала «генетической», на самом деле является яркой манифестацией габитусных ограничений, которые обычно не осознаются в качестве таковых, но служат источником глубоких разочарований и фruстраций. Как мы писали выше, проект социальной мобильности для рабочих, в том числе рабочих девушек, не то чтобы нерелевантен или нежелателен — просто он существует в виде мечты, к исполнению которой они не знают, как подступиться. Вот рассказ еще одной респондентки, на примере которого хорошо видно, как мечта о квалифицированной работе вытесняется реальными социальными практиками «своего круга» общения:

Я себя представляла женщиной-адвокатом в белом юбочном костюме с двумя детьми, с длинной косой, тоже белой косой... почему-то я была женщины-адвокатом, вот так вот виделось мое будущее. После окончания школы я познакомилась со своим гражданским мужем, тогда у меня будущее застыло совершенно другими красками. Я представляла жизнь совершенно иной, он был очень обеспеченным человеком на тот момент. Ну, тогда, знаете, это считалось криминальными вещами, сейчас это называется бизнесом. Так продолжалось года 2–3, потом он просто не вернулся из Казахстана, потому что он там погиб. Вот, и я быстренько со своей мечтой женщины-адвоката простилась (усмехнулась). Вот, и я пошла на завод работать, чтобы ну как-то, вот надо было существовать. (Марина, 45 лет, шлифовщица)

Таким образом, Марине стать «адвокатом в белом костюме» сначала помешал гражданский брак с обеспеченным человеком из криминального мира, т. е. перед ней не стояла задача учиться для того, чтобы делать карьеру и обеспечивать себе будущее, а потом, после его смерти, наоборот, всталася задача выживания «здесь

и сейчас», и работать на осуществление своей мечты уже не было возможности. Другие женщины остаются со своими мужьями и партнерами, но точно так же не предпринимают никаких шагов для повышения своего статуса, даже если им предоставляется такая возможность. Так, например, повар Надя отказывается от повышения на позицию менеджера:

Там был сложный график работы: неделя через неделю. То есть неделя у меня выпадала из дома, из семьи вообще. И это, ну, мало того что я своих не вижу, да плюс тут еще чужих воспитывать или что-то там. Думаю, нет, наверное, все-таки руководство — это не мое. Хотя, ну, как бы меня там уважали. Но я сделала выбор в пользу семьи. (Надя, рабочая, бывший повар, 45 лет)

«Выбор в пользу семьи» является, безусловно, основным типом габитуса женщин рабочего класса. Однако это самопожертвование, полное поглощение профессионального проекта семейным оставляет у большинства из них горькое чувство:

Я очень хотела пойти в институт. На тот момент были уже такие наметки. Я отработала уже два года в лаборатории после училища, и женщины, которые со мной работали здесь, они мне говорили: иди учиться дальше. У меня уже было такое, думаю, наверное-ка, я пойду. И как раз по весне мы познакомились с мужем, хотя на лето уже были планы, что я пойду поступать в институт, и все такое прочее. А здесь закрутилось, завертелось, любовь и все закончилось с институтом. Я все свои силы послала на семью. (Людмила, лаборант, 45 лет)

Всё как-то тухловатенько прошло (смеётся), как-то неинтересно, мне кажется... Я с 2000 года вообще никуда больше не ездила. Как ребёнок появился, как семья появилась, всё — у меня и особенно возможностей не стало, ни ездить никуда, ничего, как-то вот уже и скучно, и грустно стало, и как-то не очень интересно. (Ольга, железнодорожный проводник, 45 лет)

Никто из наших респонденток не хотел, чтобы их дети, в частности дочери, повторяли их судьбу, все они надеются, что они получат более высокий уровень образования, и готовы в это вкладываться: если позволяют средства, нанимают им репетиторов даже с младших классов, поощряют к изучению иностранного языка, занятиям в творческих кружках. Но ни у одной из тех, кто принадлежит к старшей возрастной группе и имеет уже взрослых детей, этот проект социальной мобильности хотя бы детей пока что не увенчался успехом: их дети получают в лучшем случае среднее специальное образование, а в нескольких случаях их дочери отказывались от работы и образования вообще и занимаются исключительно домашним хозяйством.

Третий фактор, который позволяет увидеть влияние гендерного габитуса на трудовую биографию женщин из рабочего класса, связан со спецификой гендер-

ной сегментации рынка труда. Как показал в своем исследовании российской молодежи Уокер, современные девушки из рабочих семей, в отличие от юношей, изначально стремятся найти работу не на промышленных предприятиях, а в сервисных организациях, поскольку это работа «с людьми», а не с механизмами, и она более соответствует их представлениям о приемлемых для них формах женственности (Walker, 2012: 235–237). Среди наших респонденток наиболее распространенным выбором оказалась работа продавца в торговых сетях разного масштаба — от уличных киосков индивидуальных предпринимателей до крупных оптовых или розничных сетей. Не последнюю роль в распространенности этого выбора трудоустройства играла его доступность: никто из респонденток не испытал никаких сложностей с поиском работы такого типа.

Однако большинство из них меняли работодателей много раз, потому что в реальности «женская работа» оборачивалась жестокой формой эксплуатации, в том числе и физической:

Я помню, мы с девочками, которые там работали, мои ровесницы вместо мальчишек-грузчиков таскали 50 килограммовые мешки с кормом, потому что мальчишки сидели, лентяи такие, негодяи прямо они были. (Олеся, продавец, 25 лет)

Пошла в М. [название торговой сети. — А. В., И. Т.], но тоже не устраивало, потому что всю просроченную продукцию нас заставляли покупать, мы ее сами покупали... Потом решила уволиться, потому что эта несправедливость, она всегда меня задевала. Ну, плюс здоровье тоже. Я работала в молочном отделе, там все время эти, холодильники, от молока вот это все холод идет. И дисциплина у нас была строгая. Там нельзя было даже к стене прислониться. То есть ты должен стоять как солдат... Если покупателей нет, ты товар раскладываешь, что-то поправляешь на прилавке. Если покупатель, вот час пик, вы просто стоите и смотрите. Естественно, я там еще и надорвалаась, потому что фуры мы сами разгружали. Когда не было продавца-мужчины, естественно, девчонки шли разгружать. По очереди, одни там половину фуры, потом следующие (улыбается). Ну, короче, я там спину надорвала. Рабочий день был с 10-ти до 9-ти, у нас практически выходных не было. После 20-го декабря нельзя было вообще брать выходной, потому что предновогодние праздники... (Анастасия, продавец, 45 лет)

Помимо низких зарплат и тяжелых условий труда, многие женщины-продавцы и работницы других сервисных учреждений жаловались именно на несправедливость и унижения со стороны работодателей, иногда и на сексуальные домогательства. Неоднократно в интервью звучало «не хочу, чтобы об меня вытирали ноги». При этом сам характер работы «с людьми», с покупателями не вызывал у респонденток нареканий, проблемы были связаны именно с борьбой за сохранение чувства собственного достоинства, которую им приходилось вести без опоры на какие-либо социальные ресурсы.

Еще одна сторона работы в сервисе, неоднократно озвученная респондентками, состоит в отсутствии социальных гарантий. Не только небольшие, но и даже более крупные продавцы товаров и услуг, стремясь оптимизировать финансовые показатели, экономят на персонале, поэтому работницы жаловались на то, что их могли в любой момент вызвать из отпуска или принудить работать в выходные под угрозой увольнения — не говоря уже о нежелании оплачивать декретный отпуск и предоставлять хоть какие-то социальные льготы. Прекарность большинства рабочих мест в сервисе вызвала у работниц старшего возраста определенный спрос на работу на промышленных предприятиях, где, несмотря на нелегкий труд, присутствует определенная стабильность, и главное, столь востребованный работницами-женщинами социальный пакет. Поэтому хотя работа на предприятии и определяется ими как неудобная для женщин с маленькими детьми, часть из них трудоустроилась в итоге в индустриальный сектор или ищет такой возможности.

Мужской габитус рабочего как фактор трудового поведения

Несмотря на утверждения Майкла Буравого о том, что российский фемининный габитус в период социальных изменений обладает большей гибкостью и адаптивностью по сравнению с мужским габитусом (Буравой, 2008: 25), тем не менее наше исследование показывает, что в период стабилизации стратегии построения жизненного проекта и карьеры мужчин-рабочих более разнообразны по сравнению с женщинами из той же социальной среды. Подобный феномен обусловлен тем, что в условиях социальной устойчивости мужской габитус менее опосредован нормативными представлениями, касающимися, например, возраста вступления в брак и рождения детей. Однако от мужчин требуется соответствовать иным нормативным ожиданиям, которые связаны в первую очередь с классическими гендерными ролями, предписываемыми им в патриархальном гендерном порядке. Если женщины, как правило, в интервью нарративизируют свою биографию через рассказ о приватной или семейной сферах, то мужчины демонстрируют гораздо меньшую степень вовлеченности в семейный проект, придавая большую значимость профессии и миру индивидуальных увлечений. Почти для всех опрошенных нами мужчин семья не стала препятствием для карьеры, скорее, наоборот, она стимулировала поиски лучшей работы. Несмотря на это, в случае мужчин-рабочих на первый план выходят другие структурные ограничения, мешающие осуществить вертикальную социальную мобильность.

Как пишут Пьер Бурдье и Жан-Клод Пассрон, представители рабочего класса в большей степени подвергаются селекции и исключению при поступлении в высшие учебные заведения по сравнению с выходцами из среднего и высшего классов в силу того, что рабочая молодежь обладает в значительной степени меньшими лингвистическими компетенциями, унаследованными от родителей из той же социальной среды (Bourdieu, Passeron, 1990: 63–74). Однако социальное происхождение все же не следует рассматривать в качестве единственного фактора,

оказывающего влияние на генезис образовательной и профессиональной карьеры; важность в данном случае приобретает констелляция таких переменных, как гендер и возраст (Bourdieu, Passeron, 1990: 88). Согласно нашему исследованию, мужчины-рабочие, так же как и женщины, зачастую сожалеют о том, что не получили в молодости высшее образование. Причины этого, как правило, связаны с действием классового этоса — отсутствием достаточной мотивации и культурного капитала, необходимых для поступления в вуз и его окончания:

...сразу после школы я поступил в железнодорожный институт. Сдал экзамен на платное отделение, уехал в Екатеринбург. Вот там я, грубо говоря, полгода. ...весной я уже ушел из этого института. Ну, во-первых, запустил все, что можно... Очень многое не было сдано. Как бы, может быть, можно было бы это все восстановить и договориться, чтобы сдать позже. Но как-то желания уже не было учиться... А сейчас я, конечно, жалею, может быть, лучше мне бы карьерная лестница... проще было бы где-то подняться. (Илья, 29 лет, монтажник)

Илья, из интервью с которым приведена цитата, два раза поступал в высшие учебные заведения, но ни одно из них не закончил. И если в первый раз причиной послужило его чрезмерное увлечение компьютерными играми вместо учебы, то во втором случае ключевую роль сыграла служба в армии, после которой он не смог уже вернуться к занятиям. В ходе интервью Илья рассматривает данные сюжеты своей биографии как жизненные «неудачи» и «спады», ощущая, что высшее образование позволило бы ему совершить вертикальную социальную мобильность. В настоящий момент, занимаясь прокладкой кабелей для интернета, он не удовлетворен своей работой:

Это не то, чем бы я хотел там всю жизнь заниматься. Потому что до пенсии лазить по чердакам где-то, где-то по колодцам как бы... (Улыбается.) (Илья, 29 лет, монтажник)

Другим характерным для этой социальной группы примером отсутствия мотивации к учебе и социальной мобильности служит высказывание 49-летнего кровельщика Владимира:

...и насчет верха — у меня такого не было... куда-то лезть. Учиться там до начальника, например, у меня не было такого. Просто рабочим родился. (Владимир, 49 лет, кровельщик)

Объяснение, которое дает Владимир, связано с его повседневным восприятием социального мира как естественного и изначально данного. Обоснование карьерных неудач, которое содержит «природные» категории («просто рабочим родился»), вносит вклад в поддержание сложившегося социального порядка с неравным распределением власти и, как следствие, неравным доступом к разным социаль-

ным позициям в профессиональной иерархии. Таким образом, мы можем предположить, что социальная мобильность и иммобильность тесно связаны с субъективным восприятием шансов на успех и социальное продвижение. Габитусная неуверенность некоторых рабочих ставит под вопрос возможность их социального восхождения и становится эмоциональным барьером для достижения более высоких статусов (Savage et al., 2015: 214).

Более разнообразную картину мы видим в когорте молодых рабочих, которые pragmatically оценивают роль образования в своей карьере. Как правило, у них есть субъективная уверенность или габитусное понимание того, какие перспективы им открывает или не открывает образование. В нашем исследовании можно выделить несколько показательных кейсов, репрезентирующих два типа мужских габитусов молодых рабочих, которые схожи в своей ориентации на восходящую социальную мобильность, но отличаются по набору ценностей и оценке роли образования в осуществлении своего социального продвижения. Условно они могут быть названы мужской габитус «заводского рабочего» и «начинающего предпринимателя».

Современный заводской рабочий, с одной стороны, наследует советской модели карьерного продвижения в рамках крупного предприятия. Согласно этой модели он, расширяя свои профессиональные компетенции, повышает разряд и образовательный уровень, в результате чего может достичь позиции мастера и даже подняться выше. С другой стороны, этому типу мужского габитуса свойственна логика конкурентной борьбы за более высокие позиции и заработную плату, что соотносится с активной жизненной позицией и стремлением к индивидуальным достижениям. Следующая цитата из интервью со Станиславом, 27-летним слесарем шестого разряда с металлургического комбината в Нижнем Тагиле, отчетливо показывает эту стратегию:

Ну получается там [на комбинате. — А. В., И. Т.] работаю с тринадцатого года... достиг шестого разряда. В дальнейшем посмотрю перспективы, как бы закончить техникум сейчас заочно... и дальше уже думать: либо от комбината меня пошлют на получение высшего, либо самому искать там заочное отделение. Ну, конечно, если искать, надо искать бюджетное, так как у меня ипотека, у меня не хватит средств оплачивать все эти сессии и тому подобное, семестры и всякие разные, так что, либо от комбината отправят, либо так, чтоб уже дальнейший рост был... Я, конечно, не собираюсь в слесарях так долго сидеть. Буду стремиться, добиваться. Чтоб подняться выше и дальше. (Станислав, 27 лет, слесарь, металлургический комбинат)

Станислав стремится получить дополнительные знания и компетенции, которые позволят ему осуществлять продвижение в рамках заводской иерархии. Предыдущие успехи и социальная поддержка крупного предприятия усиливают габитусную уверенность Станислава, которая служит как условием, так и следствием карьерного восхождения.

Как показывают наши интервью, возможность выбирать: профессию, работу, вступать или не вступать в брак и т. д. уже сама по себе является показателем более высоких жизненных шансов по сравнению с ситуациями ограниченного выбора, когда индивид вынужден совершать какие-либо действия ради выживания. Расширенные возможности выбора обеспечиваются либо более высоким социальным положением, либо социальной поддержкой со стороны государства, крупного предприятия или корпорации. Таким образом, мы можем сделать предварительный вывод о том, что мужской габитус заводского рабочего в его образцовом (идеально-типическом) виде в каком-то смысле производится биографией самого индивида, а отчасти формируется предприятием, осуществляющим социальную заботу о своем работнике.

Другой тип мужского габитуса с условным названием «начинающий предприниматель» генерирует другие стратегии построения жизненного проекта, которые стали более распространенными в постсоветский период и, как правило, связаны с созданием собственного мелкого бизнеса и стремлением к более высокому заработка вне карьерной лестницы крупного предприятия. Этот тип габитуса обладает амбивалентными чертами. С одной стороны, его носители происходят из социальной среды рабочих, что накладывает отпечаток на их социальные практики, круг общения и отношение к высшему образованию. С другой стороны, постоянный поиск возможности заработать в мелком бизнесе стимулирует их активность и предпримчивость, которая тем не менее направлена в основном на удовлетворение материальных запросов, что отличает их от тех же предпринимателей из более высоких социальных страт, обладающих специфическими знаниями, например, в области новых технологий или коммуникаций, и более «высокой» культурой (Savage et al., 2015: 318, 329).

В этом смысле показательным примером может послужить модель поведения Сергея, 27-летнего предпринимателя из Нижнего Тагила, который окончил индустриальный техникум и параллельно прошел курсы вождения в автошколе. После этого он покупает в кредит автомобиль и устраивается работать персональным водителем. Свои стремления он описывает следующим образом:

...максимум там еще у двух приятелей были тоже машины, катались, веселились. Охота, надо же все равно к чему-то стремиться... Охота было машину, я ее купил, расплатился за нее, потом дальше и так далее. (Сергей, 27 лет, водитель-предприниматель)

Собственный автомобиль был для Сергея важным маркёром уровня жизни и престижного потребления, но он сумел также использовать его и как индивидуальное средство производства, устроившись персональным водителем сначала к местному руководителю, а потом, на время предвыборной кампании, к гастролирующему политтехнологу. Последнее, хорошо оплачиваемое место работы позволило ему аккумулировать первоначальный капитал, достаточный для открытия

собственного мелкого семейного бизнеса — торговли стройматериалами. Он отдаёт себе отчёт в непрочности своего положения и демонстрирует готовность в случае неудачи легко вернуться в габитусно привычную рабочую среду:

[В случае неудачи в бизнесе. — А. В., И. Т.] работу я найду себе всегда... То есть я этого не боюсь. Превратиться из руководителя в рабочего — мне как бы не страшно. (Сергей, 27 лет, водитель-предприниматель)

Тем не менее общение как с предпринимателями более высокого статуса, так и с индустриальными рабочими позволяет ему выбирать из нескольких перспектив: построения карьеры на заводе и в бизнесе, которые отличаются по режиму труда и степени важности высшего образования для осуществления восходящей мобильности:

...ну, вот, опять же, я знаю людей, у которых и нету образования, и они, в принципе, тоже достаточно успешны. У них и семья, и также материальное благосостояние у них довольно неплохое... то есть я считаю, что высшее образование — это не показатель.

...я думаю, что высшее образование, оно все равно было бы лучше, чем сейчас у меня техникум. Но сейчас идти в институт я, наверно, пока не вижу для себя смысла. Я работаю сейчас сам на себя, то есть я что продал, скажем так, то и заработал. А если бы я работал где-то на заводе, то оно бы мне было бы необходимо, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. (Сергей, 27 лет, водитель-предприниматель)

Таким образом, высшее образование оказывается для Сергея ситуационно пригодным ресурсом: оно может быть востребовано в рамках той структуры, для которой оно релевантно, но само по себе не обладает для него никакой ценностью. Мерилом «успеха» для данного типа габитуса является не культурно-образовательный уровень, а материальный достаток, а также — баланс жизни и труда, позволяющий совмещать работу с разнообразным досугом и личной жизнью. В этом смысле неудивительно, что мобильность воспринимается им не как продвижение по карьерной лестнице, а как расширение возможностей для более интенсивного потребления и активных пространственных перемещений:

Я всегда шёл только выше классом. То есть я начинал, сначала, первая машина у меня была наша, советская, она была новая, с автосалона я покупал, это была тринадцатая, ВАЗ 2113, потом после неё у меня был Хёндай, я её взял после родителей, потом Шкода Октавия, она уже была больше, была новая... Сейчас вот я её продал, я купил уже себе Nissan, это уже вообще бизнес-классом идет автомобиль, она большая, хорошая. Ну, и следующий автомобиль у меня, я думаю, что это будет уже внедорожник. (Сергей, 27 лет, водитель-предприниматель)

Данное высказывание отображает некоторым образом символическую иерархию ценностей, которая свойственна габитусу молодого мужчины, мелкого предпринимателя, вышедшего из рабочего класса. Согласно этой габитусной логике, повышение статуса оценивается, исходя из стоимости и размера автомобиля: чем выше класс автомобиля, тем выше социальное положение. По классификации Майка Сэвиджа, Сергея, вероятнее всего, можно отнести к группе «новых состоятельных рабочих», которая характеризуется относительно хорошим экономическим положением, ограниченными социальными связями и малым объемом культурного капитала (Savage et al., 2013: 230). Несмотря на то, что он хотя и стал предпринимателем, тем не менее не имеет габитуса, присущего традиционному среднему классу (Savage et al., 2013: 230), поэтому его мобильность ограничена отсутствием планов на дальнейшее развитие бизнеса и суженными представлениями о культурном потреблении.

Социальные претензии Сергея сформированы конкретным образцом стиля жизни, на который он ориентируется как на эталон:

У меня вот сейчас есть знакомый, он вот потихонечку-потихонечку выкупает производственные площади, помещения, сдаёт их в аренду, оно ему приносит очень большие деньги. Он на эти, скажем так, полученные деньги опять выкупает какие-то помещения, и так далее. Человек может себе позволить... раз в месяц он стабильно куда-то ездит, отдыхает с семьёй своей, у него огромный загородный дом, то есть он себе это может без проблем позволить, у него дорогая достаточно машина, техника всякая у него есть, у него люди приходят к нему домой, прибираются, обслуживающий персонал у него, то есть человек зарабатывает достаточно неплохо... Да, мне хотелось бы так. (Сергей, 27 лет, водитель-предприниматель)

В идеале он хотел бы стать рантье и в дальнейшем, по его признанию, «отдыхать». Отчасти он уже осуществляет этот проект, сдавая в аренду жильё своей гражданской супруги. Однако в полной мере этот идеал для него пока недостижим, поэтому в данный момент он ориентируется на те образцы комфортного стиля жизни, которые ему доступны: помимо престижных марок автомобиля (причём у его гражданской жены своя машина), это активный досуг — горные лыжи, сноуборд, велосипед, квадроцикл. В планах — поездки в отпуск за рубеж в страны массового туризма (Египет, Таиланд). Мы можем заключить, что его горизонты планирования полностью связаны с достижением стиля жизни среднего класса в аспекте его потребительской составляющей. Во всех же остальных отношениях он полностью доволен своими жизненными обстоятельствами:

То есть меня всё устраивает. Что есть у меня сейчас — меня это всё устраивает. Хотелось бы, конечно, это всё приумножать, чтобы было, что оставить там потом своим детям, ну, в принципе, я доволен тем, что есть у меня сейчас. (Сергей, 27 лет, водитель-предприниматель)

Этот пример показывает нам характерные черты классового габитуса нового состоятельный рабочего, который по своим социальным практикам напоминает мелкого буржуа, не имеющего при этом ни особых амбиций, ни плана развития бизнеса, ни умножения социального или культурного капитала. Проекция желаемого будущего связана лишь с потреблением (определенного, не самого высокого уровня) и с «отдыхом» как отсутствием необходимости работать. Это своего рода модель «выхода из класса», но очень усеченная, не связанная с развитием и явно выраженной мобильностью. По сути, она представляет собой простое «отрицание» идентичности классического рабочего, связанного с физическим трудом, ценностью мастерства и ограниченными возможностями потребления. Можно сказать, что именно уровень потребления служит для него показателем символической социальной мобильности, которая измеряется в первую очередь маркой автомобиля.

Сравнивая маскулинность «заводского рабочего» и «начинающего предпринимателя», следует отметить, что в первом случае мужской достижительский габитус, связанный с утверждением маскулинности через карьеру, выражен более явно, в то время как во втором — гендерная специфика прослеживается менее четко. Это связано в первую очередь с тем, что « заводской рабочий» является носителем классической мужественности, строящейся на индивидуальном проекте навыков и умений. Она предполагает наличие квалификации и выполнение тяжелого физического труда, для этого типа габитуса путь к социальному продвижению лежит через повышение образовательного уровня при поддержке крупного предприятия. Габитус начинающего предпринимателя, пытающегося осуществить вертикальную мобильность, в целом по набору социальных практик и ориентаций мало отличается от женского габитуса предпринимательниц, происходящих из той же рабочей среды и совершающих выход из класса. Валери Валкердайн в своем исследовании социального восхождения женщин из рабочей среды пишет о том, что ее респондентки, занимаясь частным бизнесом, так же как и наш предприниматель Сергей, озабочены демонстративным потреблением: мечтают иметь дорогостоящие машины и большие дома, чтобы соответствовать образу жизни среднего класса (Walkerdine, 2003: 246). Мы можем предположить, что размытие классовых границ и социальное удаление от рабочего класса делает менее специфичным деление на мужской и женский габитусы при построении профессиональных карьер. Тем не менее проведенный анализ показывает (и это соотносится с результатами исследований Бурдье [Бурдье, 2001]), что женский габитус работниц имеет специфические отличия — он направлен на приватную сферу и строится вокруг семейного проекта. Тогда как мужской габитус ориентирован внешне — на публичную сферу и сосредоточен на карьере или характерных мужских интересах.

Заключение

В статье мы рассмотрели виды социальной мобильности российских рабочих через призму классового и интерсекционального подходов. В результате интерпретационного анализа мы выделяем *восходящую и нисходящую стратегии мобильности, а также воспроизведение классовой позиции рабочих*.

Социальное восхождение рабочих оказывается возможным в двух ситуациях. Во-первых, благодаря дополнительному профессиональному образованию, полученному уже осознанно, в относительно зрелом возрасте. Эта стратегия наиболее характерна для молодых рабочих (как женщин, так и мужчин), сделавших выбор в пользу построения карьеры на крупных предприятиях или в больших корпорациях, обеспечивающих своим работникам социальную поддержку, например, оплачивая их обучение в высшем учебном заведении, предоставляя социальный пакет, помогая выплачивать ипотечный кредит и т. д. При реализации этой стратегии заводские рабочие продолжают идентифицировать себя с рабочим классом, выстраивая профессиональную карьеру в рамках своего предприятия. Так, *габитус заводского рабочего позволяет реализовывать социальное продвижение за счет «работы над собой»* (в том смысле, в каком пишет о ней Мишель Фуко), которая в данном случае выражается в повышении уровня образования и проявлении инициативности в трудовой и общественной сферах.

Во-вторых, информанты, происходящие из рабочей среды, могут осуществлять вертикальную мобильность — попытку выйти из класса — отрицая идентичность рабочего класса и стремясь сделать карьеру, например, в мелком бизнесе. *При реализации стратегии выхода из класса через построение «карьеры» частного предпринимателя образование не является решающим фактором для достижения успеха*, так как оно не представляет символической ценности в этой сфере. В данном случае ключевыми условиями для восхождения, или, скорее, расширения социальных возможностей, становятся сети контактов (например, знакомства с людьми из более привилегированных социальных классов или привлечение семейных ресурсов). Вместе с тем несмотря на отрицание классовой идентичности при осуществлении выхода из класса, эти информанты все же могут быть причислены к новому «состоятельному рабочему классу» (в терминах Сэвиджа) в силу того, что они сохраняют связь с рабочей средой, а также не имеют культурных и коммуникативных компетенций, свойственных традиционному среднему классу или буржуазии, поэтому данный тип классового габитуса является переходным.

Нисходящая социальная мобильность «в рабочие» относится к ситуации перехода от более квалифицированной работы к требующей меньших образовательных компетенций и является наиболее характерной для смены экономических режимов в период 1990-х годов, но неоднократно воспроизводящейся и в 2000–2010-е годы. Данная модель мобильности, скорее, характерна для информантов старшего возраста, которые не смогли адаптироваться к социально-экономическим трансформациям без понижения своего социального статуса, например,

перейдя из инженеров в рабочие, из специалистов — в продавцы. Рассматривая рабочие позиции как менее конкурентные, эти информанты демонстрируют габитусную неуверенность, которая вносит вклад в их «неудавшуюся» карьеру. Так, нарративизация в интервью ситуаций социального нисхождения позволяет нам выдвинуть предположение о символической значимости эмоционального измерения для социальной мобильности.

Стратегии построения рабочей карьеры носят гендерно-специфический характер. Габитус женщин рабочего класса, как правило, подразумевает ранний брак и рождение детей, в результате чего семейный проект становится доминирующим по сравнению с профессиональной самореализацией. Это не означает, что женщины-рабочие лишены карьерных амбиций: многие из них хотели бы повысить свой статус и приобрести более творческие и престижные профессии. Однако эти планы, как правило, не реализуются в силу работы их гендерного габитуса: их социальное окружение не поддерживает их в их намерении получить дополнительное образование, они несут единоличную ответственность за домашний порядок и воспитание детей. Недостаток представлений о том, как можно выстроить свою карьеру и сохранить оптимальный баланс между приватной жизнью и работой, также препятствует их социальной мобильности. Большинство из них выбирает типичные «женские специальности» в сфере малоквалифицированного труда и в сервисе, которые оказываются для них своего рода «социальной ловушкой»: они не приобретают там достаточного социального капитала, который позволил бы им улучшить их жизненные шансы.

Что же касается гендерного габитуса мужчин-рабочих, то для него характерно стремление к самореализации не в семье, а в публичной сфере, но при этом на первый план выходит важность позиции кормильца и материально успешного (относительно своего класса) человека при относительной неважности социального статуса и престижа. Стремление к социальной мобильности часто присутствует, но ему мешают осуществляться очень короткие горизонты планирования, препятствующие построению долговременных образовательных и карьерных стратегий. Мужской габитус подразумевает конкурентность, и рабочие не являются исключением, однако для них эта конкурентность выражается чаще всего не в успешной карьере, а в желании соответствовать стандартам досугового потребления, характерным для более высоких классов. В плане же своего социального положения для большинства из них достаточно выглядеть относительно успешными на фоне тех представителей своего круга, кто ушел «вниз» — спился, подсел на наркотики, не имеет постоянной работы. В маскулинной модели рабочих существуют поколенческие различия: если для рабочих старшего возраста очень важно позиционировать себя как профессионалов своего дела, «честных работяг», то молодые мужчины имеют амбиции, связанные преимущественно с улучшением качества жизни.

В целом наше исследование заставляет предположить, что рабочие не слишком проблематизируют свою позицию в обществе: биографический выбор рабочей профессии остается легитимным для выходцев из семей рабочего класса и не

очень травматичным для тех, кто стал рабочим в силу нисходящей мобильности. Те же из них, кто все же хочет «выйти из класса» и осуществить восходящую социальную мобильность, делают это, скорее, не для повышения статуса, а для достижения более комфортной жизни.

Таким образом, *в рабочей среде мы обнаружили большую ориентацию на классовое воспроизводство, чем на профессиональную мобильность, и запрос не столько на справедливость, сколько на социальные гарантии*. Поскольку крупное индустриальное предприятие обычно рассматривается ими как ресурсная область для предоставления социальных гарантий, поскольку рабочая карьера будет сохранять для определенных слоев населения свою привлекательность.

Литература

- Бек У. (2000). Общество риска: на пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. М.: Прогресс-Традиция.
- Буравой М. (2009). Жить в капитализме, путешествовать через социализм / Пер. с англ. В. Г. Николаева // Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. (ред.). Социальные движения в России: точки роста, камни преткновения. М.: Вариант. С. 28–58.
- Бурдье П. (2001). Практический смысл / Пер. с франц. А. Т. Бикбова и др. СПб.: Алетейя.
- Бурдье П. (2005а). Мужское господство / Пер. с франц. Н. А. Шматко // Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя. С. 286–364.
- Бурдье П. (2005б). Социальное пространство и генезис «классов» / Пер. с франц. Н. А. Шматко // Бурдье П. Социология социального пространства. СПб.: Алетейя. С. 14–48.
- Бурдье П. (2004). Формы капитала / Пер. с франц. О. И. Кирчик под ред. Н. А. Шматко // Радаев В. В. (ред.) Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики. М.: РОССПЭН. С. 519–536.
- Ваньке А. В. (2013). Мужской габитус и телесные практики офисных служащих // Тартаковская И. Н. (ред.). Способы быть мужчиной: трансформации маскулинности в XXI веке. М.: Звенья. С. 192–203.
- Ваньке А. В. (2014). Телесность мужчин рабочих профессий в режимах труда и приватной сфере // Laboratorium. № 1. С. 60–83.
- Виноградова Е. В., Козина И. М. (2011). Отношения сотрудничества и конфликта в представлениях российских работников // Социологические исследования. № 9. С. 30–41.
- Голенкова З. Т., Голиусова Ю. В. (2013). Новые социальные группы в современных стратификационных системах глобального общества // Социологическая наука и социальная практика. № 3. С. 5–15.
- Голенкова З. Т., Голиусова Ю. В. (2015). Прекариат как новое явление в современной социальной структуре // Голенкова З. Т. (ред.). Наемный работник в современной России. М.: Новый хронограф. С. 121–138.

- Голенкова З. Т., Игитханян Е. Д. (2015). Рабочие: трудовой потенциал и адаптационные ресурсы // Голенкова З. Т. (ред.). Наемный работник в современной России. М.: Новый хронограф. С. 101–120.
- Гудков Л. Д. (2008). Выступление на круглом столе «Элита в вертикальном обществе» // Общественные науки и современность. № 3. С. 21–38.
- Каравай А. В. (2016). Отношение российских рабочих к своим ресурсам: финансам, здоровью и свободному времени // Журнал исследований социальной политики. № 2. С. 229–244.
- Кастельс М. (2000). Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкарата. М.: ГУ-ВШЭ.
- Клеман К., Мирысова О., Демидов А. (2010). От обывателей к активистам: зарождающиеся социальные движения в современной России. М.: Три квадрата.
- Кордонский С. Г. (2008). Сословная структура постсоветской России. М.: Институт Фонда «Общественное мнение».
- Кремнева Н. Ю., Лукьянова Е. Л. (2015). Рабочая профессия: успех или неудача? Восприятие социального положения рабочего в семейном контексте // Интеракция. Интервью. Интерпретация. № 10. С. 26–38.
- Максимов Б. И. (2004). Рабочие в реформируемой России: 1990-е — начало 2000-х годов. СПб.: Наука.
- Мещеркина Е. Ю. (2002). Бытие мужского сознания: опыт реконструкции маскулинной идентичности среднего и рабочего класса // Ушакин С. (ред.). О муже(N)ственности. М.: Новое литературное обозрение. С. 268–287.
- Омельченко Е. Л. (2013). Молодежное тело в сексуально-гендерном измерении: зоны молчания vs откровения // Омельченко Е. Л., Нартова Н. А. (ред.). Про тело: молодежный контекст. СПб.: Алетейя. С. 115–150.
- Пикетти Т. (2015). Капитал в XXI веке / Пер. с англ. А. Дунаева под ред. А. Володина. М.: Ад Маргинем Пресс.
- Ренн Ж. (2011). Отношения между полами в узле расовых, возрастных и классовых отношений: гендерные исследования и дебаты во Франции в первом десятилетии XXI века // Laboratorium. № 3. С. 143–162.
- Семенова В. В. (2016). Субъективная социальная мобильность: возможности качественного подхода // Социологические исследования. № 6. С. 84–93.
- Тартаковская И.Н. (2015). Воспроизводство гендерного порядка через карьерные стратегии: попытка интерсекционального анализа // Социологические исследования. № 5. С. 84–93.
- Ткач О. А. (2007). Заводские династии в современных рыночных условиях // Человек и труд. № 12. С. 69–81.
- ФСГС РФ. (2015). Численность занятых в экономике по полу и занятиям. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/do1/o5-10.htm (дата доступа: 10.09.2016).
- Уокер Ч. (2012). Класс, гендер и субъективное благополучие на новом российском рынке труда: жизненный опыт молодежи в Ульяновске и Санкт-Петербурге /

- Пер. с англ. М. Ворона // Журнал исследований социальной политики. Т. 10. № 4. С. 521–538.
- Ядов В. А., Здравомыслов А. Г. (2003). Человек и его работа в СССР и после. М.: Аспект-Пресс.*
- Ярошенко С. С. (2002). Женская занятость в условиях гендерного и социального исключения // Социологический журнал. № 3. С. 137–150.*
- Ashwin S., Clarke S. (2003). Russian Trade Unions and Industrial Relations in Transition. New York: Palgrave Macmillan.*
- Ashwin S., Kozina I. (2013). Employment Regulation in National Contexts: Russia // Frege C., Kelly J. (eds.). Comparative Employment Relations in the Global Economy. London: Routledge. P. 285–304.*
- Beck U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage.*
- Behnke K., Meuser M. (2002). Gender and Habitus. Fundamental Securities and Crisis Tendencies Among Men // Baron B., Kotthoff H. (eds.). Gender in Interaction: Perspectives on Femininity and Masculinity in Ethnography in Discourse. Amsterdam: John Benjamins. P. 153–175.*
- Bottero W. (2009). Relationality and Social Interaction // British Journal of Sociology. Vol. 60. № 2. P. 399–420.*
- Bourdieu P. (1994). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge.*
- Bourdieu P., Passeron J.-C. (1990). Reproduction in Education, Society and Culture. London: SAGE.*
- Burawoy M. (2008). Does the Working-Class Exits? Burawoy Meets Bourdieu. URL: http://www.havenscenter.org/files/III.Burawoy%20Meets%20Bourdieu_o.pdf (дата доступа: 16.08.2016).*
- Clarke S. (2007). The State of the Russian Unions // Journal of Labor Research. Vol. 28. № 2 P. 275–300.*
- Clarke S., Fairbrother P., Borisov V. (1995). The Workers' Movement in Russia. Aldershot: Edward Elgar.*
- Grusky D. (2001). The Past, Present, and Future of Social Inequality // Grusky D. (ed.). Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective. Boulder: Westview Press. P. 3–51.*
- Heinz W. R. (2001). Work and the Life Course: A Cosmopolitan-Local Perspective // Marshall V. W., Heinz W. R., Krüger H., Verma A. (eds.). Restructuring Work and the Life Course. Toronto: University of Toronto Press. P. 3–22.*
- Kiblitskaya M. (2000). «Once We Were Kings»: Male Experiences of Loss of Status at Work in Post-Communist Russia // Ashwin S. (ed.). Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia. London: Routledge. P. 90–104.*
- Lane D. (2005). Social Class as a Factor in the Transformation from State Socialism // Journal of Communist Studies and Transition Politics. Vol. 21. № 4. P. 417–434.*
- Lane D. (2011). Elites and Classes in the Transformation of State Socialism. London: Transaction.*

- Lane D.* (2014). The Capitalist Transformation of State Socialism: The Making and Breaking of State Social Society, and What Followed. London: Routledge.
- Lane D., O'Dell F.* (1978). The Soviet Industrial Worker: Social Class, Education and Control. London: Martin Robertson.
- Lande F. de.* (2007). Becoming One Self: A Critical Retrieval of «Choice Biography» // *Journal of Reformed Theology*. Vol. 1. № 3. P. 272–293.
- Meuser M.* (2010). Geschlecht und Männlichkeit: Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster. Opladen: Leske + Budrich.
- Miles A., Savage M., Bühlmann F.* (2011). Telling a Modest Story: Accounts of Men's Upward Mobility from the National Child Development Study // *British Journal of Sociology*. Vol. 62. № 3. P. 418–441.
- Morris J.* (2015). Notes on the "Worthless Dowry" of Soviet Industrial Modernity: Making Working-Class Russia Habitable // *Laboratorium*. № 3. P. 25–48.
- Ratilainen S.* (2012). Business for Pleasure: Elite Women in the Russian Popular Media // *Salmenniemi S. (ed.)*. Rethinking Class in Russia. Farnham: Ashgate. P. 45–66.
- Rivkin-Fish M.* (2009). Tracing Landscapes of the Past in Class Subjectivity: Practices of Memory and Distinction in Marketizing Russia // *American Ethnologist*. Vol. 36. № 1. P. 79–95.
- Rotkirch A., Tkach O., Zdravomyslova E.* (2012). Making and Managing Class: Employment of Paid Domestic Workers in Russia // *Salmenniemi S. (ed.)*. Rethinking Class in Russia. Farnham: Ashgate. P. 129–148.
- Russo J., Linkon L. S. (eds.).* (2005). New Working-Class Studies. Ithaca: ILR Press.
- Salmenniemi S. (ed.).* (2012). Rethinking Class in Russia. Farnham: Ashgate.
- Savage M., Cunningham N., Devine F., Friedman S., Laurison D., McKenzie L., Miles A., Snee A., Wakeling P.* (2015). Social Class in the 21st Century. London: Pelican.
- Savage M., Fiona D., Cunningham N., Taylor M., Li Y., Hjellbrekke J., Le Roux B., Friedman S., Miles A.* (2013). A New Model of Social Class? Findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment // *Sociology*. Vol. 47. № 2. P. 219–250.
- Sorensen A.* (2000). Toward a Sounder Basis for Class Analysis // *American Journal of Sociology*. Vol. 105. № 6. P. 21–29.
- Trubina E.* (2012). Class Differences and Social Mobility Amongst College-Educated Young People in Russia // *Salmenniemi S. (ed.)*. Rethinking Class in Russia. Farnham: Ashgate. P. 203–218.
- Walker C.* (2010). Classed and Gendered «Learning Careers»: Transitions from Vocational to Higher Education in Russia // *Johnson D. (ed.)*. Politics, Modernisation and Educational Reform in Russia from Past to Present. Oxford: Symposium Books. P. 122–143.
- Walker C.* (2011). Learning to Labour in Post-Soviet Russia: Vocational Youth in Transition. London: Routledge.
- Walker C.* (2012). Re-inventing Themselves? Gender, Employment and Subjective Well-Being Amongst Young Working Class Russians // *Salmenniemi S. (ed.)*. Rethinking Class in Russia. Farnham: Ashgate. P. 221–240.

- Walker C.* (2015a). «I Don't Really Like Tedious, Monotonous Work»: Working-class Young Women, Service Sector Employment and Social Mobility in Contemporary Russia // *Sociology*. Vol. 49. № 1. P. 106–122.
- Walker C.* (2015b). Stability and Precarity in the Lives and Narratives of Working-class Men's in Putin Russia // *Social Alternatives*. Vol. 34. № 4. P. 59–58.
- Walkerdine V.* (2003). Reclassifying Upward Mobility: Femininity and the neo-liberal subject // *Gender and Education*. Vol. 15. № 3. P. 237–248.
- Willis P.* (1977). *Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs*. New York: Columbia University Press.
- Willis P., Dolby N., Dimitriadis G.* (eds.). (2004). *Learning to Labour in New Times*. London: Routledge.
- Wright E. O.* (2000). Class, Exploitation, and Economic Rents: Reflections on Sorensen's «Sounder Basis» // *American Journal of Sociology*. Vol. 105. № 6. P. 1559–1571.

Working-Class Career as Choice Biography

Irina Tartakovskaya

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Department of Sociology, the State Academic University for the Humanities, Senior Research Fellow, Institute of Sociology, the Russian Academy of Sciences.
Address: Krzhizhanovskogo str, 24/35, bld. 5, Moscow, Russian Federation, 117259
E-mail: lucia.richardson@gmail.com

Alexandrina Vanke

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Department of Sociology, the State Academic University for the Humanities, Research Fellow, Institute of Sociology, the Russian Academy of Sciences.
Address: Krzhizhanovskogo str, 24/35, bld. 5, Moscow, Russian Federation, 117259
E-mail: alexandrina.vanke@gmail.com

The article aims to examine Russian workers' career strategies in situations of biographical choices. Based on class and intersectional analyses, the authors define different types of working-class career strategies, understood here as professional choices corresponding to their social mobility. Young workers' upward mobility is possible in the hierarchy of large industrial enterprises on the condition that they upgrade their skills and improve their professional knowledge. The factory hierarchy allows them to convert educational capital into symbolic and economic capitals. For instance, getting a higher education can help a worker to become a shop supervisor. Downward mobility is typical mostly for workers of the older generations who could not adjust to the new socio-economic conditions in the transition period, failing professionally and then being downgraded. The article supports the idea that the strategy of class reproduction is typical for the working-class environment in modern Russia. Workers' career strategies are gender-specific. In spite of the fact that female workers have career ambitions, they aim to become more successful in the private sphere (e.g., in marriage and family life), while "success" for male workers is manifested either in building a professional career, or in improving their living conditions. The authors conclude that Russian workers today generally do not problematize their social status strongly.

Keywords: career strategies, workers, choice biography, social mobility, feminine habitus, masculine habitus

References

- Ashwin S., Clarke S. (2003) *Russian Trade Unions and Industrial Relations in Transition*, New York: Palgrave Macmillan.
- Ashwin S., Kozina I. (2013) Employment Regulation in National Contexts: Russia. *Comparative Employment Relations in the Global Economy* (eds. C. Frege, J. Kelly), London: Routledge, pp. 285–304.
- Beck U. (1992) *Risk Society: Towards a New Modernity*, London: SAGE.
- Beck U. (2000) *Obschestvo riska: na puti k drugomu modernu* [Risk Society: Towards a New Modernity], Moscow: Progress-Traditsii.
- Behnke K., Meuser M. (2002) Gender and Habitus: Fundamental Securities and Crisis Tendencies Among Men. *Gender in Interaction: Perspectives on Femininity and Masculinity in Ethnography in Discourse* (eds. B. Baron, H. Kotthoff), Amsterdam: John Benjamins, pp. 153–175.
- Bottero W. (2009) Relationality and Social Interaction. *British Journal of Sociology*, vol. 60, no 2, pp. 399–420.
- Bourdieu P. (1994) *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, London: Rutledge.
- Bourdieu P. (2005a) Muzhskoe gospodstvo [Masculine Domination]. *Sotsial'noe prostranstvo: polia i praktiki* [Social Space: Fields and Practices] (ed. N. Shmatko), Saint Petersburg: Aleteia, pp. 286–364.
- Bourdieu P. (2001) *Prakticheskii smysl* [Practical Sense], Saint Petersburg: Aleteia.
- Bourdieu P. (2005b) Sotsial'noe prostranstvo i genezis "klassov" [Social Space and Genesis of "Classes"]. *Sotsiologai sotsial'nogo prostranstva* [Sociology of the Social Space] (ed. N. Shmatko), Saint Petersburg: Aleteia, pp. 14–48.
- Bourdieu P. (2004) Formy kapitala [The Forms of Capital]. *Zapadnaia ekonomicheskaiia sotsiologia* [Western Economic Sociology] (ed. V. Radaev), Moscow: ROSSPEN, pp. 519–536.
- Bourdieu P., Passeron J.-C. (1990) *Reproduction in Education, Society and Culture*, London: SAGE.
- Burawoy M. (2008) Does the Working-Class Exits? Burawoy Meets Bourdieu. Available at: http://www.havenscenter.org/files/III.Burawoy%20Meets%20Bourdieu_o.pdf (accessed 16 August 2016).
- Burawoy M. (2009) Zhit' v kapitalizme, puteshestvovat' cherez sotsializm [Dwelling in Capitalism, Travelling Through Socialism]. *Sotsial'nye dvizheniiia v Rossii: tochki rosta, kamni pretknoveniiia* [Social Movements in Russia: Growing Points and Stumbling Blocks] (eds. P. Romanov, E. Iarskaia-Smirnova), Moscow: Variant, pp. 28–58.
- Castells M. (2000) *Infomatsionnaia epokha: ekonomika, obschestvo i kul'tura* [The Information Age: Economy, Society and Culture], Moscow: HSE.
- Clarke S. (2007) The State of the Russian Unions. *Journal of Labor Research*, vol. 28, no 2, pp. 275–300.
- Clarke S., Fairbrother P., Borisov V. (1995) *The Workers' Movement in Russia*, Aldershot: Edward Elgar.
- Federal State Statistics Service (2014) Chislennost' zanyatykh v ekonomike po polu i zanyatiyam [Number of Employed in Economy According to Sex and Occupation]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/lssWWW.exe/Stg/doi/05-10.htm (accessed 21 October 2015).
- Golenkova Z., Goliusova Y. (2013) Novye sotsial'nye gruppy v sovremennoy stratifikatsionnykh sistemakh global'nogo obschestva [New Social Groups in the Contemporary Stratification Systems of Global Society]. *Sociological Science and Social Practice*, no 3, pp. 5–15.
- Golenkova Z., Goliusova Y. (2015) Precariat kak novoe iavlenie v sovremennoi sotsial'noi strukture [Precariat as a New Phenomenon in Contemporary Social Structure]. *Naemnyi rabotnik v sovremennoi Rossii* [An Employee in Contemporary Russia] (ed. Z. Golenkova), Moscow: Novyi khronograf, pp. 121–138.
- Golenkova Z., Igitykhanian E. (2015) Rabochie: trudovoi potentsial i adaptatsionnye resursy [Workers: Labour Potential and Adaptational Resource]. *Naemnyi rabotnik v sovremennoi Rossii* [An Employee in Contemporary Russia] (ed. Z. Golenkova), Moscow: Novyi khronograf, pp. 101–120.

- Grusky D. (2001) The Past, Present, and Future of Social Inequality. *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective* (ed. D. Grusky), Boulder: Westview Press, pp. 3–51.
- Gudkov L. (2008) Vystuplenie na kruglom stole "Elita v vertikal'nom obschestve" [Roundtable Presentation "Elite in Vertical Society"]. Obschestvennye nauki i sovremennoст', no 3, pp. 21–38.
- Heinz W. R. (2001) Work and the Life Course: A Cosmopolitan-Local Perspective. *Restructuring Work and the Life Course* (eds. V. W. Marshall, W. R. Heinz, H. Krüger, A. Verma), Toronto: University of Toronto Press, pp. 3–22.
- Karavay A. (2016) Otnoshenie rossiskikh rabochikh k svoim resursam: finansam, zdorov'yu i svobodnomu vremeni [The Attitude of Russian Workers to Managing their Resources: Finances, Health and Spare Time]. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 14, no 2, pp. 229–244.
- Kiblitskaya M. (2000) "Once We Were Kings": Male Experiences of Loss of Status at Work in Post-Communist Russia. *Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia* (ed. S. Ashwin), London: Routledge, pp. 90–104.
- Klement K., Mirasova O., Demidov A. (2010) *Ot obyvatelei k aktivistam: zarozhdayuschesia sotsial'nye dvizheniya v sovremennoi Rossii* [From Townsfolk to the Activists: Emerging Social Movements in Contemporary Russia], Moscow: Tri kvadrata.
- Kordonsky S. (2008) *Soslovnaia struktura postsovetskoi Rossii* [Estate Structure of Post-Soviet Russia], Moscow: Public Opinion Foundation.
- Kremneva N., Lukyanova E. (2015) Rabochaia professia: uspekh ili neudacha? Vospriiatie sotsial'nogo polozheniya rabochego v semeinom kontekste [Blue-Collar Occupation: Success or Failure?: The Perception of Worker's Social Standing in Domestic Context]. *Interaction. Interview. Interpretation*, no 10, pp. 26–38.
- Lane D. (2005) Social Class as a Factor in the Transformation from State Socialism. *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, vol. 21, no 4, pp. 417–434.
- Lane D. (2011) *Elites and Classes in the Transformation of State Socialism*, London: Transaction.
- Lane D. (2014) *The Capitalist Transformation of State Socialism: The Making and Breaking of State Social Society, and What Followed*, London: Routledge.
- Lane D., O'Dell F. (1978) *The Soviet Industrial Worker: Social Class, Education and Control*, London: Martin Robertson.
- Lande F. de (2007) Becoming One Self: A Critical Retrieval of "Choice Biography". *Journal of Reformed Theology*, no 1, pp. 272–293.
- Maksimov B. (2004) *Rabochie v reformiruemoi Rossii, 1990-e — nachalo 2000-kh godov* [Workers in Reforming Russia, 1990s — Beginning of 2000s], Saint Petersburg: Nauka.
- Meuser M. (2010) *Geschlecht und Männlichkeit: Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster*, Opladen: Leske + Budrich.
- Mescherkina E. (2002) Bytie muzhskogo soznaniiia: opyt rekonstruktsii maskulinnoi identichnosti srednego i rabochego klassa [Male Consciousness Existence: Experience of Reconstruction of Middle- and Working-Class Masculine Identity]. *O muzhe(N)stvennosti* [On (Fe)Maleness] (ed. S. Oushakine), Moscow: New Literary Observer, pp. 268–287.
- Miles A., Savage M., Bühlmann F. (2011) Telling a Modest Story: Accounts of Men's Upward Mobility from the National Child Development Study. *British Journal of Sociology*, vol. 62, no 3, pp. 418–441.
- Morris J. (2015) Notes on the "Worthless Dowry" of Soviet Industrial Modernity: Making Working-Class Russia Habitable. *Laboratorium*, no 3, pp. 25–48.
- Omelchenko E. (2013) Molodezhnoe telo v seksual'no-gendernom izmerenii: zony molchaniiia vs otkroveniiia [The Youth Body in Sexually-Gendered Dimension: Zones of Silence vs Revelation]. *Pro telo: molodezhnyi kontekst* [Pro Body: Youth Context] (eds. E. Omelchenko, N. Nartova), Saint Petersburg: Aleteia, pp. 115–150.
- Piketty T. (2015) *Kapital v XXI veke* [Capital in the 21st Century], Moscow: Ad Marginem Press.
- Ratilainen S. (2012) Business for Pleasure: Elite Women in the Russian Popular Media. *Rethinking Class in Russia* (ed. S. Salmenniemi), Farnham: Ashgate, pp. 45–66.
- Rennes J. (2011) Otnosheniia mezhdu polami v uzle rasovykh, vozrastnykh i klassovykh otnoshenii: gendernye issledovaniia i debaty vo Frantsii v pervom desiatiletii XXI veka [Gender Relations at the Intersection of Race, Class, and Age: Gender Studies and Debates in France in the First Decade of the 21st Century]. *Laboratorium*, no 3, pp. 143–162.

- Russo J., Linkon L. S. (eds.) (2005) *New Working Class-Studies*, Ithaca: Cornell University Press.
- Salmenniemi S. (ed.) (2012) *Rethinking Class in Russia*, Farnham: Ashgate.
- Rivkin-Fish M. (2009) Tracing Landscapes of the Past in Class Subjectivity: Practices of Memory and Distinction in Marketizing Russia. *American Ethnologist*, vol. 36, no 1, pp. 79–95.
- Rotkirch A., Tkach O., Zdravomyslova E. (2012) Making and Managing Class: Employment of Paid Domestic Workers in Russia. *Rethinking Class in Russia* (ed. S. Salmenniemi), Farnham: Ashgate, pp. 129–148.
- Savage M., Cunningham N., Devine F., Friedman S., Laurison D., McKenzie L., Miles A., Snee A., Wakeling P. (2015) *Social Class in the 21st Century*, London: Pelican.
- Savage M., Fiona D., Cunningham N., Taylor M., Li Y., Hjellbrekke J., Le Roux B., Friedman S., Miles A. (2013) A New Model of Social Class? Findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment. *Sociology*, vol. 47, no 2, pp. 219–250.
- Semenova V. (2016) Sub'ektivnaia sotsial'naia mobil'nost': vozmozhnosti kachestvennogo podkhoda [Subjective Social Mobility: Perspective of Qualitative Analysis]. *Sociological Studies*, no 6, p. 84–93.
- Sorensen A. (2000) Toward a Sounder Basis for Class Analysis. *American Journal of Sociology*, vol. 105, no 6, pp. 21–29.
- Tartakovskaya I. (2015) Vospriyvodstvo genderного poriadka cherez kar'ernye strategii: popytka interseksional'nogo analiza [Reproduction of Gender Order through the Career Strategies: An Attempt of Intersectional Analysis]. *Sociological Studies*, no 5, pp. 84–93.
- Tkach O. (2007) Zavodskie dinastii v sovremennykh rynochnykh usloviiakh [Factory Dynasties in Contemporary Market Context]. *Chelovek i trud*, no 12, pp. 69–81.
- Trubina E. (2012) Class Differences and Social Mobility Amongst College-Educated Young People in Russia. *Rethinking Class in Russia* (ed. S. Salmenniemi), Farnham: Ashgate, pp. 203–218.
- Vanke A. (2013) Muzhskoi gabitus i telesnye praktiki ofisnykh sluzhaschikh [Masculine Habitus and Body Practices of Office Clerks]. *Sposoby byt' muzhchinoi: transformatsii maskulinnosti v XXI veke* [The Ways to Be a Man: Transformations of Masculinity in the 21st Century] (ed. I. Tartakovskaya), Moscow: Zven'ia, pp. 192–203.
- Vanke A. (2014) Telesnost' muzhchin rabochikh professii v rezhimakh truda i privatnoi sfery [Corporality of Working-Class Men Labour Regimes and the Private Sphere]. *Laboratorium*, no 1, pp. 60–83.
- Vinogradova E., Kozina I. (2011) Otnosheniiia sotrudnichestva i konflikta v predstavleniakh rossiiskikh rabotnikov [Relations of Cooperation and Conflict in the Representations of Russian Workers]. *Sociological Studies*, no 9, pp. 30–41.
- Walker C. (2010) Classed and Gendered "Learning Careers": Transitions from Vocational to Higher Education in Russia. *Politics, Modernisation and Educational Reform in Russia from Past to Present* (ed. D. Johnson), Oxford: Symposium Books, pp. 122–143.
- Walker C. (2011) *Learning to Labour in Post-Soviet Russia: Vocational Youth in Transition*, London: Routledge.
- Walker C. (2012) Klass, gender i sub'ektivnoe blagopoluchie na novom rossiiskom rynke truda: zhizennyi opyt molodezhi v Ul'ianovske i Sankt-Peterburge [Class, Gender and Subjective Well-Being in Russia's New Labour Market: Experiences of Young People in Ulianovsk and Saint Petersburg]. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 10, no 4, pp. 521–538.
- Walker C. (2012) Re-Inventing Themselves? Gender, Employment and Subjective Well-Being Amongst Young Working Class Russians. *Rethinking Class in Russia* (ed. S. Salmenniemi), Farnham: Ashgate, pp. 221–240.
- Walker C. (2015) "I Don't Really Like Tedious, Monotonous Work": Working-Class Young Women, Service Sector Employment and Social Mobility in Contemporary Russia. *Sociology*, vol. 49, no 1, pp. 106–122.
- Walker C. (2015) Stability and Precarity in the Lives and Narratives of Working-class Men's in Putin Russia. *Social Alternatives*, vol. 34, no 4, pp. 59–58.
- Walkerline V. (2003) Reclassifying Upward Mobility: Femininity and the Neo-liberal Subject. *Gender and Education*, vol 15, no 3, pp. 237–248.

- Willis P. (1977) *Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs*, New York: Columbia University Press.
- Willis P., Dolby N., Dimitriadis G. (eds.) (2004) *Learning to Labour in New Times*, London: Routledge.
- Wright E. O. (2000) Class, Exploitation, and Economic Rents: Reflections on Sorensen's "Sounder Basis". *American Journal of Sociology*, vol. 105, no 6, pp. 1559–1571.
- Yadov V., Zdravomyslov A. (2003) *Chelovek i ego rabota v SSSR i posle* [Man and His Work in the USSR and after], Moscow: Aspekt-Press.
- Yaroshenko S. (2002) Zhenskaia zaniatost' v usloviakh gendernogo i sotsial'nogo isklucheniia [Women's Employment under Conditions of Social and Gender Exclusion]. *Journal of Sociology*, no 3, pp. 137–150.

Лейтмотивы властной риторики в отношении российской молодёжи^{*}

Искэндер Ясавеев

Доктор социологических наук, старший научный сотрудник

Центра молодёжных исследований

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Союза Печатников, д. 16, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 190008

E-mail: yasaveev@gmail.com

В статье представлены результаты исследования риторики российских властей в отношении молодёжи в течение последних четырех лет. В основе анализа находится конструкционистская исследовательская программа Питера Ибарры и Джона Китсьюза, высвечивающая четыре измерения дискурса социальных проблем: риторические идиомы, лейтмотивы, стили конструирования проблем, контрриторические стратегии. Автор сосредоточивается на выявлении лейтмотивов властной риторики в отношении молодёжи: повторяющихся конструкций, выраждающих главные аспекты проблематизируемых ситуаций и реакции на них. Анализ риторики подтверждает предположение о pragматичном отношении российской властной элиты к молодёжи. Власти проблематизируется предполагаемое внешнее воздействие на молодых людей, тогда как ряд ситуаций: ограниченность жизненных шансов молодёжи, распространение ВИЧ/СПИДа, репрессивность уголовной политики и пр. статуса проблемы не имеет. Изучение выступлений президента, государственных программ, докладов и отчётов правительства России показывает, что лейтмотивами властной риторики в отношении молодёжи являются «угроза», «защита» и «традиционные ценности». Власти активно используют конструкцию «традиционные ценности», способствующую конформизму и сохранению «стабильности», без определения того, какие именно традиции российских культур кладутся в их основание. Эти ценности объявляются «истинными» и противопоставляются «квазиценностям» без прояснения принципов такого деления. Выявлены сдвиги во властной трактовке «национальной идеи» — от конкурентоспособности страны к патриотизму, а также патриотизма — от «любви к Отечеству», к готовности защищать государство военными средствами.

Ключевые слова: власть, молодёжь, молодёжная политика, риторика, дискурс, конструкционизм, патриотизм, традиционализм

О том, что молодёжь находится в фокусе внимания российских властей, свидетельствуют специальные государственные программы, проводятся молодёжные форумы, встречи и другие мероприятия, в том числе с участием Президента России. Такое внимание имеет, скорее всего, pragматический характер, связанный с тем, что участниками революций в Грузии и Украине и протестных акций в России

© Ясавеев И. Г., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-3-49-67

* Статья подготовлена по материалам исследования, которое проводится за счет гранта Российского научного фонда (проект «Созидательные поля межэтнического взаимодействия и молодёжные культурные сцены российских городов» № 15-18-00078) в Центре молодёжных исследований Высшей школы экономики.

в 2011–2012 гг. были в основном молодые люди. Российские власти обеспокоены потенциалом протестных действий молодёжи и пытаются нейтрализовать его посредством политики.

Хронологические рамки нашего исследования — с мая 2012 по май 2016 г. — определялись третьим президентским сроком Владимира Путина. Протестные акции в России конца 2011 — начала 2012 г. и события в Украине, включая аннексию Крыма, привели к изменению «повестки дня» властей, переопределению рисков и соответствующим изменениям во внутренней политике. Молодёжной проблематике посвящен ряд выступлений Владимира Путина, правительством России утверждены «Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 2025 года», определены основные направления деятельности Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), само агентство с 2015 г. выпускает ежегодные доклады о положении молодёжи в России и реализации государственной молодёжной политики. В конце 2015 г. правительством России утверждена очередная пятилетняя программа «патриотического воспитания граждан Российской Федерации» на 2016–2020 гг., ориентированная прежде всего на молодёжь.

Измерения риторики: идиомы и лейтмотивы

Настоящая работа выполнена в рамках конструкционистского подхода к социальным проблемам, сосредоточивающегося на проблематизирующей и депроблематизирующей риторике, в результате которой некая предполагаемая ситуация наделяется статусом социальной проблемы или лишается его (Spector, Kitsuse, 1977; Schneider, 1985; Best, 1995; Holstein, Miller, 2003; Loseke, 2003; Holstein, Gubrium, 2008; Ясавеев, 2007; Полач, 2010). Социальные проблемы с этой точки зрения — выдвижение требований изменить ситуацию. Строгий конструкционистский анализ фокусируется исключительно на риторике, отказываясь от каких-либо предположений о характере, масштабе, последствиях и даже о самом существовании ситуаций, в отношении которых разворачивается риторика. Конструкционизм позволяет выявлять цели, формы и стратегии конструирования социальных проблем и депроблематизации ситуаций, риторические ходы, которые используют участники, обосновывающие необходимость каких-либо действий или отказ от них.

Конструкционистские рамки исследования означают, что мы не выдвигаем предположений о том, соответствует ли риторика властей «реальности» и предпринимаемым ими действиям. Строгие конструкционисты отказываются от утверждений о самих ситуациях, применительно к которым разворачивается проблематизирующая или депроблематизирующая риторика. Такого рода утверждения сами по себе являются формой конструирования социальных проблем или «непроблем», т. е. неявно переводят социолога из позиции аналитика в позицию участника.

Теоретическим основанием работы является исследовательская программа П. Ибарры и Дж. Китсьюза (Ибарра, Китсьюз, 2007), высвечивающая четыре измерения конструирования социальных проблем: 1) риторические идиомы — дефиниционные комплексы, посредством которых вырабатывается проблематичный статус ситуаций; 2) лейтмотивы — фигуры речи, выражющие главный аспект социальной проблемы или её динамику; 3) стили конструирования проблем: научный, комический, театральный, гражданский, правовой или субкультурный; 4) контрриторика — дискурсивные стратегии противодействия конструированию проблемы. Наше исследование сосредоточено на идиомах и лейтмотивах властной риторики в отношении молодёжи.

Ибарра и Китсьюз указывают, что одна из задач социального конструкционизма состоит в объяснении применения риторических идиом — способов проблематизации ситуаций. Риторические идиомы обеспечивают участников дискурсивными материалами, позволяющими структурировать и придавать безотлагательный характер их требованиям (Ибарра, Китсьюз, 2007: 73). Каждая риторическая идиома предполагает или задействует группу образов и обладает соответствующим словарем. Конструкционисты описывают такие идиомы, как риторика утраты, риторика наделения правом, риторика опасности, риторика неразумности и риторика бедствия.

Ключевыми для риторики утраты являются термины «красота», «природа», «наследие», «культура», «загрязнение», «упадок», «защита». Словарь риторики наделения правом состоит из таких терминов, как «нетерпимость», «угнетение», «сексизм», «расизм», «дискриминация по возрасту», «жизненный стиль», «различия», «выбор», «терпимость», «предоставление возможностей», «мультикультурный» и др. Риторика опасности включает в себя слова «болезнь», «патология», «эпидемия», «риск», «заражение», «угроза здоровью», «профилактика». При проблематизации эксплуатации, манипулирования, «промывания мозгов» обычно используется риторика неразумности с ключевыми терминами «наивность», «доверчивость», «необразованность», «уязвимость», «легкая добыча». Как отмечают Ибарра и Китсьюз, риторика неразумности задействует образы манипуляции и заговора. В свою очередь, риторика бедствия состоит из метафор и практик аргументации, актуализирующих образ полной катастрофы (Ибарра, Китсьюз, 2007: 74–84).

Помимо специфического словаря, характерного для той или иной идиомы, существует общий кроссидиоматический словарь, используемый при конструировании проблемы или депроблематизации ситуации. Это измерение конструирования социальных проблем обозначается в качестве лейтмотивов. Примерами лейтмотивов являются «чума XXI века», «кризис», «трагедия», «бомба с заведенным часовым механизмом», «угроза», «верхушка айсберга» (Ибарра, Китсьюз, 2007: 93–94).

Исследование, основанное на понятии лейтмотивов, отмечают Ибарра и Китсьюз, позволяет сосредоточиться на том, каким образом развиваются и обретают

«точную настройку» термины дискурса социальных проблем и как определяется их символический подтекст. «Эти факторы в большей степени касаются политики, эпистемики и поэтики описания, т. е. артикуляции, нежели „онтологии описывающего“» (Ибарра, Китсюз, 2007: 96). Изучение лейтмотивов, по мнению конструкционистов, даёт возможность понять действия участников, когда они выдвигают требования или противодействуют им.

Исследовательская программа Ибарры и Китсюза использовалась при анализе таких проблем, как стокгольмский синдром, эвтаназия, гламур, насилие в полиции, потребление наркотиков (Adorjan et al., 2012; Богомягкова, 2010; Ним, 2010; Кольцова, Ясавеев, 2013; Ясавеев, 2016).

Риторика властей, в частности Владимира Путина в течение его первого срока президентства, изучалась М. Горхэмом (Gorham, 2005), который выделил ряд лингвистических профилей этого российского президента: «технократ», «деловой», «силовик», «мужик» и «патриот», отмечая также возможность возникновения нового речевого жанра молчания. Можно предположить, что в отношении молодёжи со стороны Путина задействуется профиль «патриота».

Риторика патриотического воспитания молодёжи исследовалась Е. Омельченко, указавшей на характерные для этой риторики заимствования из советского/позднесоветского подхода, а именно объективацию и унификацию молодёжи как группы, которая нуждается в контроле, регулировании и моральном исправлении (Омельченко, 2012: 275). Значимые выводы о «спуске» ценностей традиции и конформизма на уровень российских учебников для старшеклассников, прежде всего учебников истории и обществознания, и использовании в них образа государства-защитника получены Лидией Окольской в её исследовании ценностного содержания российской программы среднего образования (Окольская, 2012).

В рамках нашего исследования в качестве участников процессов конструирования проблем и депроплематизации ситуаций рассматриваются представители исполнительной власти в России. Вопросы, сформулированные нами по поводу властной риторики в отношении молодёжи, заключаются в следующем: каким образом типизируется молодёжь; какие риторические ходы используются властями; что проблематизируется, а что остается за рамками проблематизации; что обозначается как вызовы, риски и угрозы и предлагается в качестве ответов на эти угрозы и вызовы; каковы лейтмотивы властного «молодёжного» дискурса, какие риторические идиомы используются при этом российскими властями, какие образы задействуются данными лейтмотивами.

Были проанализированы тексты выступлений Владимира Путина в течение его третьего президентского срока, отобранные по наличию ключевых слов «молодёжь», «молодёжный», «молодые», стенографические отчёты заседаний советов при Президенте России, касавшихся молодёжи, государственные программы, доклады и отчёты правительства России и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которые размещены на официальных сайтах (kremlin.ru, government.ru, fadm.gov.ru).

К лейтмотивам властной риторики мы относили регулярно встречающиеся конструкции, используемые в одном контексте с темами, касающимися молодёжи, сопоставляя эти конструкции со словарями риторических идиом, разработанными Ибаррой и Китсюзом, и пытаясь определить таким образом ключевые аспекты создаваемых властями смыслов в отношении молодёжи. Основным критерием выделения лейтмотивов служила их повторяемость. В ходе анализа выявлялись также устойчивые связи лейтмотивов, такие, например, как «защита» и «традиционные ценности».

«Проблемный фактор», трудные жизненные ситуации и неконструируемые проблемы

Важный аспект риторики в отношении молодёжи — проблематизация тех или иных явлений. В данном случае важно выяснить, какие феномены определяются властными структурами в качестве проблем. В одном из ключевых документов, утвержденных правительством в 2014 году — «Основах государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года», наряду с размытыми формулировками¹ встречаются прямые указания на «проблемный фактор». Это понятие используется в единственном числе, причём проблематизируется не положение молодёжи, её жизненные шансы, а «воздействие» на неё: «Проблемным фактором является деструктивное информационное воздействие на молодёжь, следствием которого в условиях социального расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в молодёжной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе» (Правительство РФ, 2014). Не обозначаются субъекты, то есть не конкретизируется, кто воздействует и каким образом.

Конструирование проблемы «воздействия» сопровождается репрезентацией «успешных зарубежных практик». Очевидно, что выбор практик, которые определяются как заслуживающие внимания, свидетельствует о предпочтаемых действиях. В правительственные документах акцент делается, в частности, на «японском» опыте «ограничения доступа молодёжи к небезопасным и нежелательным интернет-сайтам» (Росмолодёжь, 2015а).

В ежегодном докладе Росмолодёжи используется понятие трудной жизненной ситуации, определяемой как «ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть самостоятельно». К таким ситуациям Федеральное агентство относит следующее. Во-первых, положение молодых людей, оказавшихся в местах заключения или вышедших из них. Во-вторых, потребление наркотиков: «Согласно данным ООН, процент российского населения, вовлечённого в злоупотребление опиатами, в 5–8 раз превышает показатель стран

1. Примером может быть следующее предложение: «Существует тенденция нарастания негативного влияния целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риски роста угроз ценностного, общественного и социально-экономического характера» (Правительство РФ, 2014).

ЕС. Ежегодно в России появляется не менее 80 тыс. новых наркоманов» (Росмолодёжь, 2015а). В-третьих, участие в группах и движениях «антиобщественного и экстремистского характера». В-четвёртых, совершение различного рода правонарушений.

Все обозначенные «трудные жизненные ситуации» связаны исключительно с нарушением норм. Кроме того, Федеральное агентство по делам молодёжи использует в отношении потребления наркотиков ту же стратегию конструирования широко распространённой проблемы, что и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (Ясавеев, 2016: 13), включаясь, таким образом, в «войну с наркотиками».

Не менее значим, на наш взгляд, вопрос о том, что не проблематизируется во властном дискурсе в отношении молодёжи. Анализ «неконструируемых проблем» и понимание того, почему ряд ситуаций не определяется в качестве социальных проблем, предлагается некоторыми исследователями в качестве одного из возможных направлений развития конструкционизма (Бест, 2007: 49–50). Существует множество вопросов, касающихся молодёжи, которые могли бы проблематизироваться, но отсутствуют во властной «повестке дня». Возможность такой проблематизации связана с наличием экспертовых, медийных и статистических конструкций ситуаций. Например, в рассмотренных правительственные документах, выступлениях Президента России, в программах и докладах Росмолодёжи и региональных программах молодёжной политики нет каких-либо утверждений и даже упоминаний о распространении ВИЧ/СПИДа. Между тем, согласно статистическим данным, число зарегистрированных россиян, живущих с ВИЧ, превышает миллион человек, а распространность ВИЧ в возрастной группы 25–29 лет составляет более 1% (Федеральный центр СПИД, 2015: 49).

Внешняя угроза и милитаризация риторики

Одним из лейтмотивов властного дискурса является *внешняя угроза*. Он представлен такими конструкциями, как «борьба за умы», «манипуляция сознанием», «навязывание норм и ценностей», «провоцирование конфликтов», «информационное противоборство», «срежиссированная пропагандистская атака», «геополитическое соперничество». При этом, как и в случае с проблематизацией «информационного воздействия», субъект внешней угрозы в официальной риторике не конкретизируется.

Как показывает в том числе и наш собственный исторический опыт, культурное самосознание, духовные, нравственные ценности, ценностные коды — это сфера жёсткой конкуренции, порой объект открытого информационного противоборства, не хочется говорить агрессии, но противоборства — это точно, и уж точно хорошо срежиссированной пропагандистской атаки. И это никакие не фобии, ничего я здесь не придумываю, так оно и есть на самом деле. Это как минимум одна из форм конкурентной борьбы. Попытки вли-

ять на мировоззрение целых народов, стремление подчинить их своей воле, навязать свою систему ценностей и понятий — это абсолютная реальность, так же как борьба за минеральные ресурсы, с которой сталкиваются многие страны, в том числе и наша страна. (Путин, 2012)

В одном контексте с лейтмотивом внешней угрозы используется лейтмотив *защиты*. Молодёжь понимается, с одной стороны, как объект защиты от различного рода «внешних» воздействий в связи с её уязвимостью, а с другой — на неё возлагаются надежды по защите страны. Официальная риторика эти варианты определения объекта защиты, как правило, сочетает. Наряду с необходимостью защиты молодёжи подчеркиваются приоритеты «защиты страны», «защиты интересов Отечества», «обеспечения суверенитета родной державы», «сильной и независимой Российской Федерации».

В мире, к сожалению, — собственно говоря, так было практически всегда — идёт жёсткая борьба за умы, за идеологическое и информационное влияние. С целью ослабить те или другие страны, создать для себя более выгодные конкурентные преимущества и в политике, и в экономике искусственно провоцируются конфликты, так или иначе связанные с национальными проблемами. Нам нужна постоянная, системная работа, которая защитила бы страну, нашу молодёжь от этих рисков, служила укреплению гражданской солидарности и межнационального согласия. (Путин, 2014а)

Необходимость подготовки молодых людей, готовых защищать страну, сформулирована в качестве одного из приоритетов государственной молодёжной политики (Правительство РФ, 2014). Это же акцентируется в официальной Стратегии развития воспитания в России на период до 2025 года, ориентированной на детей: «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» (Правительство РФ, 2015б).

Идея защиты доминирует в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» (Правительство РФ, 2015а). Её сравнение с предыдущими пятилетними программами позволяет сделать вывод о *милитаризации патриотизма* в его интерпретации властями.

Один из основных предполагаемых результатов программы 2016–2020 гг. сформулирован следующим образом: «Обеспечение формирования у молодёжи моральной, психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности». Выражение «в условиях мирного и военного времени», дважды встречающееся в программе, использовано в описаниях патриотического воспитания впервые.

В отличие от предыдущих пятилетних программ (см.: Омельченко, 2012: 274–280), прилагательные «военный» и «войинский» в разных сочетаниях — «военно-патриотический», «военная служба», «военное время» и пр. — используются в концептуальной части программы патриотического воспитания 2016–2020 гг. несколько десятков раз. Предлагается, например, такое новшество, как «развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями». Характерно, что в предыдущих программах предусматривалось лишь «шефство» над воинскими частями, речь в них шла об «участии учреждений культуры, общественных организаций (объединений), представителей творческой интеллигенции в военно-шефской работе, направленной на приобщение военнослужащих к богатствам российской и мировой культуры» (Правительство РФ, 2005).

В программе патриотического воспитания 2016–2020 гг. встречается новое направление — развитие волонтёрского движения, но вместе с тем отсутствует внимание к трудовой деятельности. Слова «труд» и «трудовой» используются лишь несколько раз — в конструкциях «готов к труду и обороне» и «шефство трудовых коллективов над воинскими частями». В отличие от действующей программы, в предыдущих программах патриотического воспитания говорилось о сохранении и развитии «славных боевых и трудовых традиций» (Правительство РФ, 2001), привлечении трудовых коллективов к участию в патриотическом воспитании (Правительство РФ, 2005), «возрастании социальной и трудовой активности граждан, особенно молодёжи», «развитии системы патриотического воспитания в трудовых коллективах» (Правительство РФ, 2010). Иными словами, из программы патриотического воспитания исключена сфера труда, патриотизм понимается как ориентированный преимущественно на военную службу.

Если исходить из того, что смыслы и контексты, приписываемые патриотизму, могут быть деконструированы через те качества молодёжи, на усиление которых ориентирована система патриотического воспитания (Омельченко, 2012: 275), то можно утверждать, что значение патриотизма сдвигается властями от «любви к Отечеству» к готовности защищать государство военными средствами от внешних и внутренних врагов. При этом российской властной риторике свойственно представление патриотизма как естественной универсальной черты российской молодёжи: «уверен, что в одном мы все едины, мы все — патриоты России» (Путин, 2013б).

В течение своего третьего президентского срока Владимир Путин несколько раз называл патриотизм национальной идеей: «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма» (Путин, 2016). Между тем на вопросы о национальной идеи в России в первой половине 2000-х гг. он отвечал по-другому: «Самая главная идея — обеспечение темпов роста экономики. От этого зависит будущее страны в прямом смысле этого слова. Обеспечение конкурентоспособности страны во всех сферах, во всех областях» (Путин, 2003). Таким образом, милитаризация патриотизма сопровождается представлением его

в качестве национальной идеи и отказом в этом статусе идеи конкурентоспособности страны.

Бессодержательный традиционализм

Наряду с милитаризацией риторики, использованием лейтмотивов угрозы и защиты, ещё одной чертой современного властного дискурса в отношении молодёжи является лейтмотив «*традиционные ценности*», что позволяет утверждать следующее: ключевой чертой риторической реакции властей на «угрозы» является традиционализм.

Власти констатируют столкновение российского общества «с глобальными тенденциями и вызовами». Одним из существенных вызовов называется конфликт традиционных и современных ценностей, при этом выбор немедленно, без какого-либо обоснования делается в пользу первых:

В социокультурной сфере существенным вызовом является столкновение традиционных и современных ценностей, что усиливает необходимость сохранения значимости основ российской культуры, знания и уважения к истории, духовным ценностям многонационального народа России, уникального опыта ответственности российских граждан за свою страну, её будущее и будущее всего мира. В информационной сфере тревожная тенденция проявляется в нарастании угроз манипуляции массовым сознанием, навязывании знаний и представлений, норм и ценностей, чуждых российскому менталитету. Важнейшим условием противодействия этим угрозам является формирование у российской молодёжи подлинных духовно-нравственных ориентиров на основе тысячелетней российской культуры и традиций. (Росмолодёжь, 2015а)

Формирование у молодёжи «традиционных семейных ценностей» обозначено в качестве одного из основных направлений деятельности Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь, 2015б). При этом указывается на необходимость внедрения системного подхода для «укрепления традиционных ценностных основ российского общества» (Росмолодёжь, 2015в).

Опираться на «традиционную для России систему ценностей» при воспитании детей призывают и «Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Одна из государственных задач формулируется следующим образом: «Формирование образа благополучной молодой российской семьи, живущей в зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, занимающейся их воспитанием и развитием на основе традиционной для России системы ценностей» (Правительство РФ, 2014).

Традиционализм в сочетании с лейтмотивами угрозы и защиты задан Владимиром Путиным, который использовал выражение «традиционные ценности» в одном и том же контексте несколько десятков раз за последние четыре года:

Ганди сказал в своё время: «Я не желаю, чтобы мой дом был обнесён высокой стеной и чтобы мои окна были наглухо заколочены. Я хочу, чтобы волна культуры всех стран свободно проникала в мой дом, но я не желаю, чтобы она захлестнула и сбила меня с ног». Именно такой и должна быть государственная культурная политика нашей страны, приветствующая всё свежее, новое, здоровое и талантливое, но при этом твёрдо стоящая на страже тех ценностей и основ, на которых испокон веков зиждется Россия. (Путин, 2013в)

Сегодня во многих странах пересматриваются нормы морали и нравственности, стираются национальные традиции и различия наций и культур. От общества теперь требуют не только здравого признания права каждого на свободу совести, политических взглядов и частной жизни, но и обязательно признания равнозначности, как это ни покажется странным, добра и зла, противоположных по смыслу понятий. Подобное разрушение традиционных ценностей «сверху» не только ведёт за собой негативные последствия для общества, но и в корне антидемократично, поскольку проводится в жизнь исходя из абстрактных, отвлечённых идей, вопреки воле народного большинства, которое не принимает происходящей перемены и предлагаемой ревизии. И мы знаем, что в мире всё больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации, каждого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира. (Путин, 2013г)

Здоровая семья и здоровая нация, переданные нам предками традиционные ценности в сочетании с устремлённостью в будущее, стабильность как условие развития и прогресса, уважение к другим народам и государствам при гарантированном обеспечении безопасности России и отстаивание её законных интересов — вот наши приоритеты. (Путин, 2014б)

Национальные интересы, свою историю, традиции, наши ценности нужно защищать. (Путин, 2015в)

Однако в выступлениях президента, стратегиях и государственных программах не уточняется, какие традиции имеются в виду. Не уточняется и то, в чём заключается «российский менталитет» или «особенности ментальности народа России». Что означают «подлинные духовно-нравственные ориентиры на основе тысячелетней российской культуры и традиций»?

История российских культур включает в себя множество различных традиций, включая традиции иерархичности, репрессивности, насилия, смертной казни, гендерного неравенства, потребления алкоголя. Если традиции, лежащие в основании «духовно-нравственных ориентиров», не определяются, то возникает

возможность отнесения к ним, в частности, традиций подчинения жён мужьям и телесных наказаний по отношению к детям².

На вопрос о том, на основе каких традиций президент, правительство и Росмолодёжь призывают строить семью и «воспитывать» детей и молодёжь, ответа во властной риторике нет.

В течение изучаемого периода Президент России неоднократно использовал конструкцию «истинные ценности» («настоящие ценности», «подлинные ценности»), которые «необходимо защищать». Например, в 2013 году он заявил, что настоящими, истинными ценностями после распада СССР «могли быть только ценности религиозного характера» (Путин, 2013а). Наряду с этим использовался и термин «квазиценности»: «Для меня важно защитить наше население от некоторых квазиценностей, которые очень сложно воспринимаются нашими гражданами, нашим населением» (Путин, 2013д). Деление на «истинные ценности» и ложные представляется как нечто самоочевидное, не требующее разъяснений. При этом в свойственном ему речевом стиле «мужика» (см.: Gorham, 2005) Путин противопоставляет «истинную культуру» и «субкультуру»:

Мне всё время хочется сказать не «субкультуры», а «суп культуры», суповой набор такой... По поводу проникновения каких-то культурных ценностей к нам из-за границы. Я ничего здесь страшного не вижу, если это истинные культурные ценности. Обмен — это абсолютно нормальный элемент развития. Мы не должны, не можем и не будем замыкаться в каком-то коконе. Но нам нужно научиться отделять истинную культуру от субкультуры, которая не представляет ценности и, наоборот, уводит куда-то в сторону (Путин, 2015б).

Перечислены «истинные ценности» президентом были лишь однажды — в сентябре 2015 года на встрече с воспитанниками и педагогами образовательного центра для одарённых детей «Сириус»: «Сейчас жизнь, безусловно, кардинально изменилась, но истинные ценности — они всегда остаются. Это честность, патриотизм, совесть, любовь, доброта, мужество, достоинство, отзывчивость, ответственность и чувство долга» (Путин, 2015а).

Сходный перечень «духовно-нравственных ценностей» встречается в Стратегии развития воспитания в России на период до 2025 года: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственно-

2. См., например: «Казни сына своего от юности его и поконит тя на старость твою и даст красоту души твоей и не ослабляя бия младенца, аще бо жезлом биеши его не умрет но здравие будет ты бо бия его по телу, а душу его избавляши от смерти» (Домострой, 1994: 96). «Подобает поучити мужем жён своих, с любовию и благоразумным наказанием, жены мужей своих вопрошают о всяком благочинии како душа спаси Богу, и мужу угодити, и дом свои добре строити и во всем ему покарятися, и что муж накажет то с любовию приемати и творити по его наказанию» (Там же: 104).

го долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством» (Правительство РФ, 2015б).

Характерно, что среди «истинных ценностей» доминируют ценности ответственности и долга. С другой стороны, в их числе не называется свобода. За рамками обсуждения всякий раз остаются вопросы о том, что служит основанием для объявления одних ценностей истинными, а других — «квазиценностями»? Что даёт основания утверждать, что фундаментом перечисляемых «истинных ценностей» является «тысячелетняя российская культура и традиции»?

Подобным образом конструкции «прогрессивные реформы», «негативные тенденции», «позитивные действия», «созидательное мировоззрение», «культура созидательных межэтнических отношений», «позитивный потенциал молодёжных неформальных объединений», используемые в официальной риторике в отношении молодёжи, остаются без уточнения, что позитивно, а что негативно, на чём основываются эти оценки, в чём заключаются прогрессивность и созидательность.

Заключение: сочетание лейтмотивов и риторических идиом

Анализ государственных программ, выступлений Президента России, стенограмм заседаний президентских советов и докладов Росмолодёжи обнаруживает, что в них сочетаются лейтмотивы угрозы, защиты и традиционных ценностей, которые определяют такие черты властного дискурса, как милитаризация и традиционализм без уточнения содержания традиций. Поскольку лейтмотивы являются кросс-сициоматическим словарём, который может использоваться в рамках различных риторических идиом, соединение лейтмотивов угрозы, защиты и традиционных ценностей позволяет предположить, что российские власти используют в отношении молодёжи риторические идиомы *опасности и неразумности*. Внешняя угроза, конструируемая официальной риторикой, соответствует образам заговора и манипуляции, центральным для риторики неразумности. Молодёжь типизируется как объект защиты в связи с её уязвимостью и вместе с тем как субъект защиты страны. При этом источник угрозы по отношению как к молодёжи, так и к стране не конкретизируется, за исключением его внешнего характера.

Несмотря на различный формат властной риторики в отношении молодёжи — выступления президента, государственные программы, стратегии и доклады, — постоянно используются одни и те же лейтмотивы. Иными словами, риторика отличается повторяемостью, внутренней согласованностью и отсутствием противоречий.

Анализ властной риторики подтверждает предположение о прагматичном отношении властной элиты к молодёжи. Проблематизируется прежде всего предполагаемое внешнее воздействие на молодёжь. «Трудными жизненными ситуациями» молодёжи объявляется ограниченный круг явлений, связанных исключительно с нарушением норм (правонарушения, «экстремизм», потребление наркотиков), а статистические и экспертные конструкции таких проблем, как рас-

пространение ВИЧ/СПИДа, ограниченность жизненных шансов, репрессивность уголовной политики, лидерство России по уровню подростковых самоубийств и пр., не влияют на приоритеты молодёжной политики.

Властная риторика делает акцент на «традиционных ценностях», способствующих не изменениям, а конформизму и «стабильности», за которыми прочитывается стремление к сохранению властной элитой своих позиций. Эти ценности объявляются «истинными» и противопоставляются «квазиценностям» без прояснения оснований такого деления. Об этом же свидетельствует изменение конструкции «национальная идея» — от конкурентоспособности страны во всех сферах к патриотизму, понимаемому как готовность защищать государство военными средствами от внешних и внутренних врагов.

На наш взгляд, результаты исследования свидетельствуют, что властная риторика в значительной степени является дискурсом проблематизации и депроблематизации, осуществляемых в интересах самих властей. При этом для конструкционистов риторика властей не имеет привилегированного статуса. Это не более чем риторика одних из многочисленных участников «языковых игр в социальные проблемы».

Выражения благодарности

Автор выражает признательность Елене Омельченко и Гюзель Сабировой, благодаря сотрудничеству с которыми возник замысел статьи, а также Яне Крупец, Эльвире Ариф, Галине Негодиной, Святославу Полякову, Елене Тыкановой и анонимному рецензенту данной статьи за ценные замечания, которые были учтены в ходе работы над текстом.

Литература

- Бест Дж. (2007). Социальные проблемы // Ясавеев И. Г. (сост.). Социальные проблемы: конструкционистское прочтение / Пер. с англ. И. Г. Ясавеева. Казань: Изд-во Казанского ун-та. С. 49–50.
- Богомягкова Е. С. (2010). Эвтаназия как социальная проблема: стратегии проблематизации и депроблематизации // Журнал исследований социальной политики. Т. 8. № 1. С. 33–52.
- Домострой. (1994). СПб.: Наука.
- Ибарра П., Китсьюз Дж. (2007). Дискурс выдвижения утверждений-требований и просторечные ресурсы // Ясавеев И. Г. (сост.). Социальные проблемы: конструкционистское прочтение / Пер. с англ. И. Г. Ясавеева. Казань: Изд-во Казанского ун-та. С. 55–114.
- Кольцова О. Ю., Ясавеев И. Г. (2013). Конструирование проблемы полицейского насилия в российской блогосфере: риторика, лейтмотивы и стили // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 16. № 3. С. 81–100.

- Ним Е. Г. (2010). О социологах, телеведущих, рыцарях и чучелах: деконструкция медиадискурса социальных проблем // Журнал исследований социальной политики. Т. 8. № 1. С. 13–32.
- Окольская Л. А. (2012) Жизненные ценности в учебниках для старшей школы // Вопросы образования. № 1. С. 93–125.
- Омельченко Е. Л. (2012). Как научить любить Родину? Дискурсивные практики патриотического воспитания молодёжи // Омельченко Е., Пилкингтон Х. (ред.). С чего начинается Родина: молодёжь в лабиринтах патриотизма. Ульяновск: Ульяновский государственный университет. С. 261–310.
- Полач Д. (2010). Социальные проблемы с конструкционистской точки зрения // Журнал исследований социальной политики. Т. 8. № 1. С. 7–12.
- Правительство РФ. (2001). Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 гг. URL: <http://base.garant.ru/1584972> (дата доступа: 11.05.2016).
- Правительство РФ. (2005). Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 гг. URL: <http://base.garant.ru/188373> (дата доступа: 10.05.2016).
- Правительство РФ. (2010). Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг. URL: http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml (дата доступа: 14.05.2016).
- Правительство РФ. (2014). Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года. URL: <http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf> (дата доступа: 05.05.2016).
- Правительство РФ. (2015а). Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы. URL: <http://government.ru/docs/21341> (дата доступа: 10.05.2016).
- Правительство РФ. (2015б). Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Российская газета. 8 июня. URL: <http://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (дата доступа: 10.05.2016).
- Путин В. В. (2003). Беседа с финалистами конкурса «Мой дом, мой город, моя страна» 5 июня 2003 года. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22021> (дата доступа: 11.05.2016).
- Путин В. В. (2012). Встреча с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания молодёжи 12 сентября 2012 года. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/16470> (дата доступа: 10.05.2016).
- Путин В. В. (2013а). Интервью к фильму «Второе крещение Руси» 23 июля 2013 года. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/18872> (дата доступа: 10.05.2016).
- Путин В. В. (2013б). Встреча с участниками Молодёжного форума «Селигер» 2 августа 2013 года. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/18993> (дата доступа: 10.05.2016).
- Путин В. В. (2013в). Выступление на заседании Совета по культуре и искусству 2 октября 2013 года. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/19353> (дата доступа: 13.05.2016).

- Путин В. В. (2013г). Послание Президента Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/19825> (дата доступа: 13.05.2016).
- Путин В. В. (2013д). Пресс-конференция 19 декабря 2013 года. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/19859> (дата доступа: 10.05.2016).
- Путин В. В. (2014а). Выступление на заседании Совета при Президенте России по межнациональным отношениям 3 июля 2014 года. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/46144> (дата доступа: 10.05.2016).
- Путин В. В. (2014б). Послание Президента Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/47173> (дата доступа: 13.05.2016).
- Путин В. В. (2015а). Выступление на праздновании Дня знаний с воспитанниками и педагогами образовательного центра для одарённых детей «Сириус» 1 сентября 2015 года. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/50216> (дата доступа: 10.05.2016).
- Путин В. В. (2015б). Встреча с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года России» 8 октября 2015 года. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/50466> (дата доступа: 10.05.2016).
- Путин В. В. (2015в). Послание Президента Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/50864> (дата доступа: 13.05.2016).
- Путин В. В. (2016). Встреча с активом Клуба лидеров 3 февраля 2016 года. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/51263> (дата доступа: 11.05.2016).
- Росмолодёжь. (2015а). Молодёжь и молодёжная политика в России в контексте глобальных тенденций: доклад о положении молодёжи и реализации государственной молодёжной политики в Российской Федерации». URL: <https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/154e46dc7d4ba9b7105ef8a9ef7b453d.docx> (дата доступа: 05.05.2016).
- Росмолодёжь. (2015б). Приказ Росмолодёжи № 42 от 2 апреля 2015 г. URL: <https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/c8f851bb292e99d253f6833ea623accb.pdf> (дата доступа: 10.05.2016).
- Росмолодёжь. (2015в). Отчёт об итогах деятельности Федерального агентства по делам молодёжи за 2014 год и планах на 2015 год. URL: <http://rosmetod.ru/files/pdf/2015/03/31/18-18-43-otchet-rosmolodezh-.pdf> (дата доступа: 15.05.2016).
- Федеральный центр СПИД. (2015). ВИЧ-инфекция: информационный бюллетень. № 40. URL: http://hivrussia.ru/files/bul_40.pdf (дата доступа: 10.05.2016).
- Ясавеев И. Г. (сост.). (2007). Социальные проблемы: конструкционистское прочтение / Пер. с англ. И. Г. Ясавеева. Казань: Изд-во Казанского ун-та.
- Ясавеев И. Г. (2016). Риторика контролируемого бедствия: специфика конструирования ФСКН проблемы потребления наркотиков // Журнал исследований социальной политики. Т. 14. № 1. С. 7–22.

- Adorjan M., Christensen T., Kelly B., Pawluch D.* (2012) Stockholm Syndrome as Vernacular Resource // *Sociological Quarterly*. Vol. 53. № 3. P. 454–474.
- Best J.* (ed.). (1995). *Images of Issues: Typifying Contemporary Social Problems*. Hawthorne: Aldine de Gruyter.
- Gorham M. S.* (2005). Putin's Language // *Ab Imperio*. № 4. P. 381–401.
- Holstein J. A., Gubrium J. F.* (eds.). (2008). *Handbook of Constructionist Research*. New York: Guilford.
- Holstein J. A., Miller G.* (eds.). (2003). *Challenges and Choices: Constructionist Perspectives on Social Problems*. Hawthorne: Aldine de Gruyter.
- Loseke D. R.* (2003). *Thinking about Social Problems: An Introduction to Constructionist Perspectives*. New Brunswick: Transaction.
- Schneider J. W.* (1985). Social Problems Theory: The Constructionist View // *Annual Review of Sociology*. 1985. Vol. 11. P. 209–229.
- Spector M., Kitsuse J. I.* (1977). *Constructing Social Problems*. Menlo Park: Cummings.

Motifs of Government Rhetoric on Youth in Russia

Iskender Yasaveev

Senior Research Fellow, Centre for Youth Studies, National Research University Higher School of Economics

Address: Sedova str., 55, corp. 2, Saint-Petersburg, Russia 192148

E-mail: yasaveyev@gmail.com

The article deals with the rhetoric of Russian authorities in relation to youth from May, 2012, the beginning of Vladimir Putin's third presidential term, to May, 2016. The study is based on a constructionist research program of four dimensions of social problems discourse developed by Peter Ibarra and John Kitsuse, rhetorical idioms, motifs, claims-making styles, and counter-rhetorics. The analysis focuses on the identification of the motifs of the power rhetoric in relation to young people, that is, recurrent speech constructions highlighting a central dimension of the problematized situation and the responses to it. The analysis of the rhetoric confirms the assumption about the pragmatic attitude of the Russian ruling elite concerning youth. Authorities problematize an alleged external influence on young people, while a number of situations that could be defined as a problem such as the limited life chances of young people, HIV/AIDS, or repressive criminal policy, etc., do not have the status of the problem. The study of speeches of the president, government programs, and Russian government reports shows that the specific motifs of the authorities' rhetoric in relation to youth are "threat," "protection," and "traditional values" while the permanent features of the power discourse are militarization and traditionalism. The authorities emphasize "traditional values" without specifying what these values are. These values are declared as "true" and opposed to "quasi-values," without clarifying the principles of such division. The shifts in the interpretation of the "national idea" from the competitiveness of the country to patriotism, and in the interpretation of patriotism from the "love for Motherland" to the readiness to defend the state by military means, are revealed.

Keywords: power, authorities, youth, youth policy, rhetoric, discourse, constructionism, patriotism, traditionalism

References

- (1994) *Domostroi* [Domostroy], Saint Petersburg: Nauka.
- Adorjan M., Christensen T., Kelly B., Pawluch D. (2012) Stockholm Syndrome as Vernacular Resource. *Sociological Quarterly*, vol. 53, no. 3, pp. 454–474.
- Best J. (ed.) (1995) *Images of Issues: Typifying Contemporary Social Problems*, Hawthorne: Aldine de Gruyter.
- Best J. (2007) Sotsial'nye problemy [Social Problems]. *Sotsial'nye problemy: konstruktionskoe prochtenie* [Social Problems: Constructionist Reading] (ed. I. Yasaveev), Kazan: Kazan University Press, pp. 26–54.
- Bogomyagkova E. (2010) Evtanaziya kak sotsial'naya problema: strategii problematizatsii i deproblematisatsii [Euthanasia as a Social Problem: Strategies of Problematization and Deproblematization]. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 8, no. 1, pp. 33–52.
- Federal AIDS Center (2015) VICH-infektsiya: informatsionnyy byulleten'. № 40 [HIV-Infection: Informational Bulletin, no 40]. Available at: http://hivrussia.ru/files/bul_40.pdf (accessed 10 May 2016).
- Gorham M. S. (2005) Putin's Language. *Ab Imperio*, no. 4, pp. 381–401.
- Holstein J. A., Gubrium J. F. (eds.) (2008) *Handbook of Constructionist Research*, New York: Guilford.
- Holstein J. A., Miller G. (eds.) (2003) *Challenges and Choices: Constructionist Perspectives on Social Problems*, Hawthorne: Aldine de Gruyter.
- Ibarra P. R., Kitsuse J. I. (2007) Diskurs vydvizheniya utverzhdeniy-trebovaniy i prostorechnye resursy [Claims-Making Discourse and Vernacular Resources]. *Sotsial'nye problemy: konstruktionskoe prochtenie* [Social Problems: Constructionist Reading] (ed. I. Yasaveev), Kazan: Kazan University Press, pp. 55–114.
- Koltsova O., Yasaveev I. (2013) Konstruirovaniye problemy politseyskogo nasiliya v rossiyskoy blogosfere: ritorika, leytmotivy i stili [Constructing the Police Violence Problem in the Russian Blogosphere: Rhetoric, Motifs and Claim-Making Styles]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 16, no. 3, pp. 81–100.
- Loseke D. R. (2003) *Thinking About Social Problems: An Introduction to Constructionist Perspectives*, New Brunswick: Transaction.
- Nim E. (2010) O sotsiologakh, televedushchikh, rytsaryakh i chuchelakh: dekonstruktsiya mediadiskursa sotsial'nykh problem [About Sociologists, TV Presenters, Knights and Scarecrows: Deconstruction of Social Problems by Media Discourse]. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 8, no. 1, pp. 13–32.
- Okolskaya L. (2012) Zhiznennye tsennosti v uchebnikakh dlya starshey shkoly [Life Values in Textbooks for High School]. *Educational Studies*, no. 1, pp. 93–125.
- Omelchenko E. (2012) Kak nauchit' lyubit' Rodinu? Diskursivnye praktiki patrioticheskogo vospitaniya molodezhi [How to Learn to Love Homeland?: Discursive Practices of Patriotic Raising of Youth]. *S chego nachinaetsya Rodina: molodezh' v labirintakh patriotizma* [Where Homeland Begins: Youth in the Labyrinths of Patriotism] (eds. E. Omelchenko, H. Pilkington), Ulianovsk: Ulianovsk State University, pp. 261–310.
- Pawluch D. (2010) Sotsial'nye problemy s konstruktionskoi tochki zreniya [Social Problems from the Constructionist Point of View]. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 8, no. 1, pp. 7–12.
- Putin V. (2003) Beseda s finalistami konkursa "Moy dom, moy gorod, moy strana" 5 iyunya 2003 goda [Meeting with the Finalists of the Student Essay Competition "My Home, My City, My Country", June 5, 2003]. Available at: <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/22021> (accessed 11 May 2016).
- Putin V. (2012) Vstrecha s predstaviteleyami obshchestvennosti po voprosam patrioticheskogo vospitaniya molodezhi 12 sentyabrya 2012 goda [Meeting with public representatives on patriotic education for young people, September 12, 2012]. Available at: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/16470> (accessed 10 May 2016).
- Putin V. (2013a) Interv'yu k fil'mu "Vtoroe kreshchenie Rusi" 23 iyulya 2013 goda [Interview for the Documentary Film "The Second Baptism of Rus", July 23, 2013]. Available at: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/18872> (accessed 10 May 2016).

- Putin V. (2013b) Vstrecha s uchastnikami Molodezhnogo foruma "Seliger" 2 avgusta 2013 goda [Meeting with Seliger 2013 National Youth Education Forum Participants, August 2, 2013]. Available at: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/18993> (accessed 10 May 2016).
- Putin V. (2013c) Vystuplenie na zasedanii Soveta po kul'ture i iskusstvu 2 oktyabrya 2013 goda [Meeting of the Council for Culture and Art, October 2, 2013]. Available at: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/19353> (accessed 13 May 2016).
- Putin V. (2013d) Poslanie Prezidenta Federal'nому Sobraniyu 12 dekabrya 2013 goda [Presidential Address to the Federal Assembly, December 12, 2013]. Available at: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/19825> (accessed 13 May 2016).
- Putin V. (2013e) Press-konferentsiya 19 dekabrya 2013 goda [News Conference of Vladimir Putin, December 19, 2013]. Available at: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/19859> (accessed 10 May 2016).
- Putin V. (2014a) Vystuplenie na zasedanii Soveta pri Prezidente Rossii po mezhnatsional'nym otnosheniyam 3 iyulya 2014 goda [Address at the Meeting of the Council for Interethnic Relations, July 3, 2014]. Available at: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/46144> (accessed 10 May 2016).
- Putin V. (2014b) Poslanie Prezidenta Federal'nому Sobraniyu 4 dekabrya 2014 goda [Presidential Address to the Federal Assembly, December 4, 2014]. Available at: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/47173> (accessed 13 May 2016).
- Putin V. (2015a) Vystuplenie na prazdnovaniy Dnya znaniy s vospitannikami i pedagogami obrazovatel'nogo tsentra dlya odarennykh detey "Sirius" 1 sentyabrya 2015 goda [Address at Knowledge Day Celebrations with Teachers and Students of Sirius Educational Centre, September 1, 2015]. Available at: <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/50216> (accessed: 10 May 2016).
- Putin V. (2015b) Vstrecha s laureatami vserossiyskogo konkursa "Uchitel' goda Rossii" 8 oktyabrya 2015 goda [Meeting with Winners of Teacher of the Year National Competition, October 8, 2015]. Available at: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/50466> (accessed 10 May 2016).
- Putin V. (2015c) Poslanie Prezidenta Federal'nому Sobraniyu 3 dekabrya 2015 goda [Presidential Address to the Federal Assembly, December 3, 2015]. Available at: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/50864> (accessed 13 May 2016).
- Putin V. (2016) Vstrecha s aktivom Kluba liderov 3 fevralya 2016 goda [Meeting with the Core Group of the Leaders Club, February 3, 2016]. Available at: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/51263> (accessed 11 May 2016).
- Rosmolodezh (2015) Molodezh'i molodezhnaya politika v Rossii v kontekste global'nykh tendentsiy: doklad Federal'nogo agentstva po delam molodezhi o polozhenii molodezhi i realizatsii gosudarstvennoy molodezhnoy politiki v Rossiyskoy Federatsii [Youth and Youth Policy in Russia in the Context of Global Tendencies: Report of Federal Agency for Youth Affairs about the Situation of Youth and the Realization of Youth Policy in Russian Federation]. Available at: <https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/154e46dc7d4ba9b7105ef8a9ef7b453d.docx> (accessed 5 May 2016).
- Rosmolodezh (2015) Prikaz Rosmolodezhi №42 ot 2 aprelya 2015 goda [Decree of Rosmolodezh №42 from April 2, 2015]. Available at: <https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/c8f851bb292e99d253f6833ea623accd.pdf> (accessed 10 May 2016).
- Rosmolodezh (2015) Otchet ob itogakh deyatel'nosti Federal'nogo agentstva po delam molodezhi za 2014 god i planakh na 2015 god [A Report on the Results of the Federal Agency for Youth Affairs in 2014 and Plans for 2015]. Available at: <http://rosmetod.ru/files/pdf/2015/03/31/18-18-43-otchet-rosmolodezh-.pdf> (accessed 15 May 2016).
- Russian Goverment (2001) Gosudarstvennaya programma "Patrioticheskoe vospitanie grazhdan Rossiyskoy Federatsii na 2001–2005 gody" [The State Program "Patriotic Education of Russian Citizens 2001–2005"]. Available at: <http://base.garant.ru/1584972/> (accessed 11 May 2016).
- Russian Goverment (2005) Gosudarstvennaya programma "Patrioticheskoe vospitanie grazhdan Rossiyskoy Federatsii na 2006–2010 gody" [The State Program "Patriotic Education of Russian Citizens 2006–2010"]. Available at: <http://base.garant.ru/188373> (accessed 10 May 2016).

- Russian Goverment (2010) Gosudarstvennaya programma "Patrioticheskoe vospitanie grazhdan Rossiyskoy Federatsii na 2011–2015 gody" [The State Program "Patriotic Education of Russian Citizens 2011–2015"]. Available at: http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml (accessed 14 May 2016).
- Russian Goverment (2014) Osnovy gosudarstvennoy molodezhnoy politiki Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 goda [The Foundations of State Youth Policy for the Period to 2025]. Available at: <http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf> (accessed 5 May 2016).
- Russian Goverment (2015) Gosudarstvennaya programma "Patrioticheskoe vospitanie grazhdan Rossiyskoy Federatsii na 2016–2020 gody" [The State Program "Patriotic Education of Russian Citizens 2016–2020"]. Available at: <http://government.ru/docs/21341/> (accessed 10 May 2016).
- Russian Goverment (2015) Strategiya razvitiya vospitaniya v Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 goda [The Strategy of the Development of Education in Russian Federation for the period to 2025]. *Rossiyskaya gazeta* [Russian Newspaper], no 6693. Available at: <http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (accessed 10 May 2016).
- Schneider J. W. (1985) Social Problems Theory: The Constructionist View. *Annual Review of Sociology*, vol. 11, pp. 209–229.
- Spector M., Kitsuse J. I. (1977) *Constructing Social Problems*, Menlo Park: Cummings.
- Yasaveev I. (ed.) (2007) *Sotsial'nye problemy: konstruktionskoe prochtenie* [Social Problems: Constructionist Reading], Kazan: Kazan University Press.
- Yasaveev I. (2016). Ritorika kontroliruemogo bedstviya: spetsifika konstruirovaniya FSKN problemy potrebleniya narkotikov [The Rhetoric of Controlled Calamity: The Constructing of Drug Use Problem by Russian Federal Drug Control Service]. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 14, no. 1, pp. 7–22.

Роль «толстых» журналов в современном русском литературном процессе

Анна Вичкитова

Магистр филологии, магистр социологии, независимый исследователь
Адрес: ул. Ткачей, д. 42, кв. 23, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 192029
E-mail: annabudda@gmail.com

В статье представлены данные качественного полевого исследования, посвященно-го роли, которую играют в современном литературном процессе «толстый» литера-турный журнал. Исследование проводилось в четырех российских городах, взято 21 полуструктурированное интервью, осуществлены наблюдения, для триангуляции данных использовался ряд дополнительных материалов. В работе рассматриваются литературные премии, литературный конкурс, начинающие писатели, региональные библиотеки, раскрывается жанровая подоплека востребованности журнала в начале писательской карьеры. Предпринимается попытка рассмотреть институт литературы как динамическое социальное образование, которое (во)производится участниками литературного процесса. Статья построена как поочередное рассмотрение взаимо-действия «толстого» литературного журнала с другими участниками литературно-го процесса. Автор приходит к выводу о том, что «толстый» литературный журнал играет значимую роль, поскольку выполняет целый ряд функций, необходимых для «нормального» функционирования литературного процесса. Не последнюю роль в этом играет жанровая иерархия современной отечественной литературы, которая имеет pragmaticальные причины. Например, есть жанры, которые могут сегодня суще-ствовать только в журнальном варианте из-за их коммерческой «нерентабельности». Итак, сегодня положение журнала двояко: с одной стороны, он финансово уяз-вим и недостаточно известен вне профессионального сообщества, с другой — будучи признанным экспертом, влияет на развитие современной литературы посредством одобрения или неодобрения тех или иных текстов. Таким образом, «толстый» лите-ратурный журнал сохранил за собой ряд функций, которые выполнял и в прежние исторические периоды.

Ключевые слова: социология литературы, «толстый» литературный журнал, лите-ратурный процесс, писательская карьера, литературная премия, литературный конкурс

Литература представляет собой социальный институт. Как и любой другой соци-альный институт, она имеет свои функции в общественном целом, удовлетворяет определенные потребности социума. Как социальный институт литература имеет свою структуру, цели и задачи, а также участников, которые играют в нем опреде-ленные роли. Функционирование института литературы определенной культуры в определенный временной промежуток называется *литературным процессом*.

История литературы России тесно связана с «толстым» литературным журна-лом. Он сыграл ключевую роль в становлении и расцвете русской литературы XIX

века и в формировании советской литературы. Обозначим функции, выполняемые журналом в эти периоды: селекция (включающая в себя экспертную оценку), то есть отбор текстов из общего потока и формирование (производство и воспроизведение) синхронного компендиума современных текстов; презентация современного литературного процесса в большом разнообразии (но в рамках «высокой литературы»); ретрансляция, поддержание культурной связи между столицей и провинцией; патронаж наиболее достойных текстов или авторов, выдвижение на премии, рекомендация к отдельной публикации и пр.; помощь в профессионализации начинающего писателя.

Первые постсоветские годы были тяжелыми для литературы, которая вместе с остальным обществом старалась поскорее избавиться от советского прошлого, однако к новым условиям не была готова. Литературоцентризм, спровоцированный государством в подпольной литературе и навязанный — в официальной, принял литературу быть несамостоятельной. В результате в 1990-х годах, столкнувшись с рыночными условиями, она значительно деградировала как культурное образование. Журналы — вчерашние флагманы литературного процесса — остались без финансирования и впали в глубокий кризис. Большинство региональных журналов закрылись, московские и петербургские приобрели статус закрытых акционерных обществ и перешли на самообеспечение, которое стало практически невозможным. Единственными ресурсами оставались здания редакций, налаженные отношения с типографиями и «символический» капитал — авторитет, наработанный в советское и перестроенное время. Новые издательства шли за рынком и покупательским спросом, издание «высокой литературы» свелось к минимуму. Рынок заполнили романы-боевики и «женские» романы (детективный или эротический). Кризис коснулся и профессии литератора, она потеряла прежний статус и престиж, были разрушены институты, которые раньше обеспечивали ряд привилегий этой профессии (Гудков, Дубин, 2003: 34–66). И хотя союзы писателей еще существуют, но уже по инерции: при распаде налаженного механизма функционирования они стали бесполезными.

Журналы понесли потери как среди читательской публики, так и среди авторов. Без поддержки государства в 1990-е годы они не прекратили свою деятельность только благодаря иностранным благотворительным фондам, в частности Фонду Дж. Сороса. После прекращения деятельности Фонда в России в 2003 году журналы стали получать поддержку от Министерства печати РФ в виде грантов, но эта помощь незначительна. Главным источником средств является почтовая подписка, которая неуклонно падает, в связи с чем падает тираж. Тиражи даже ведущих московских журналов не превышают две-три тысячи экземпляров. Розничная торговля литературными журналами практически сведена к нулю, поскольку рыночное место для представления печатной продукции очень дорогое и в большие и популярные книжные магазины им не попасть. Хорошо работавшая в советские годы сеть киосков периодической печати сегодня не берет на реализацию «толстые» журналы.

С другой стороны, с начала 2000-х годов многие авторы «высокой литературы» были «открыты» толстыми журналами; к тому же у журналов сегодня большой «самотек»¹ и очередь на публикацию — что свидетельствует об их востребованности. Наконец, заслуживают внимания высокие рейтинги посещаемости электронных версий журналов, а также отсутствие альтернативного актора в литературном процессе, который аккумулировал бы вокруг себя такое количество профессиональных литераторов и плотно работал с текстовым потоком «высокой литературы». Отметим, что журналы, находящиеся в нашем фокусе, позиционируют себя как издания, специализирующиеся на «высокой литературе», которая противостоит по своим эстетическим и функциональным качествам литературе «массовой»².

Объектом нашего исследования стали члены редколлегий и главные редакторы «толстых» литературных журналов, современные писатели и поэты, критики, представители жюри литературных премий и конкурсов; предметом — функция, которую журналы выполняют в современном литературном процессе. Временные рамки исследования охватывают период с середины 2000-х годов, когда литературный процесс «оживился» после затянувшегося кризиса и в литературу пришла когорта молодых писателей, появились новые литературные премии и конкурсы, по 2014 год. Работа построена как рассмотрение взаимосвязи «толстого» журнала с другими участниками литературного процесса с целью выяснить, какие функции из присущих в прежние периоды «толстому» журналу сохранились за ним, а какие оказались утеряны. Эмпирическое исследование выполнено в рамках методологии расширенного монографического исследования (*extended case-study*) (Burawoy, 1998). Объект рассматривался в его локальной и временной обусловленности, ограничение метода состоит в том, что он не способен включить в себя читателя.

Эмпирическую базу составляют следующие группы данных: 21 полуструктурированное интервью (Kvale, Brinkmann, 2009: 61–79, 123–141) с сотрудниками «тол-

1. Все тексты, которые присыпаются в редакцию литературного журнала по инициативе авторов, называются журнальными сотрудниками «самотеком».

2. Словосочетание «высокая литература» используется в данном тексте как термин. Это определение с точки зрения филологии и культурологии наиболее точно дано в статье Ю. М. Лотмана «О содержании и структуре понятия „художественная литература“» (Лотман, 1992: 203–216), в которой автор рассматривает литературу как своеобразный макротекст, «механизм», включающий в себя напряжение между двумя полюсами («высокой» и «массовой» литературой): «В рамках единой литературы всегда ощущается разграничение литературы, состоящей из уникальных произведений, лишь с известным трудом поддающихся классификационной унификации, и компактной, однородной массы текстов». В социологии данный термин приобретает более функциональное описание, так, например, Б. Дубин и Л. Гудков в своей статье «Литература как социальный институт» объясняют, что появление определения «массовой литературы» связано с потребностями литературной элиты, которая нуждается в проведении границ для поддержания своего статуса. В частности, рассматривается ситуация рутинизации европейской романтической традиции, которая и положила начало «массовой» литературе (Гудков, Дубин, 1994: 34–36). В работах, посвященных постсоветской литературе, социологи используют термины «массовая» и «коммерческая» литература, употребляя их как равноценные. Таким образом, делается акцент уже на pragматической черте «массовой литературы», которая служит массовым развлечением (читивом) и прежде всего является рыночным продуктом (Гудков, Дубин, 2003: 56–68). Нам импонируют данные подходы, которые берут начало в работах формальной школы XX века), поэтому мы используем оба термина в своем тексте.

стых» литературных журналов (главными редакторами, редакторами прозы, ответственными секретарями), писателями, поэтами, членами жюри литературных конкурсов и премий, библиотекарями, среди них одно экспертное, два глубинных биографических (с перспективой профессиональной социализации) (Берто, 1992; Семенова, 1998; Докторов, 2012), остальные тематические; материалы, собранные в результате включенных наблюдений с презентаций журналов, журнальных премий; наблюдения за работой редакции журнала. Среди вторичных данных: 1) социологические исследования о «толстом» журнале (Дубин, 1993, 1994, 2005; Гудков, Дубин, 2002); 2) интернет-сайты, где представлены «толстые» журналы; 3) переписка и устные беседы с писателями и литературными критиками; 4) контент журналов; 5) отчеты Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; 6) радио- и газетные интервью с сотрудниками толстых журналов и издательств, писателями; 7) уставы литературных премий и конкурсов. В качестве метода работы с транскриптами полуструктурированных интервью было выбрано тематическое кодирование (Flick, 2006: 307–312). При анализе, помимо исследовательских кодов, учитывались коды *«in vivo»*, т. е. самоопределения и самоназвания, которые используют респонденты для характеристики и оценки себя, своей деятельности, коллег (Страусс, Корбин, 2001). Материалы полевого дневника включенных наблюдений применялись для триангуляции данных. Названия журналов закодированы, чтобы никто не заподозрил автора в рекламе.

Специфика «толстых» литературных журналов

Одной из ключевых характеристик, выстраивающих иерархию «толстых» журналов, является географическое расположение редакции: от этого зависят круг авторов, финансовое положение, инфраструктурные возможности. Ведущими являются «столичные» издания, в которые мы условно объединяем московские и петербургские журналы, хотя между ними есть большая разница. Затем идут региональные издания и русскоязычные журналы в республиках РФ. Мы обнаружили всего один такой журнал, но все же этот исключительный случай достоин внимания³.

Традиционно «толстый» журнал специализируется прежде всего на прозаических текстах, совсем не публикует драматургию, стихи издает в «подборках»⁴. Выяснилось, что московские журналы теснее взаимодействуют с региональными, чем с петербургскими журналами, поскольку последние обладают определенной автономией. В провинции про петербургские журналы знают мало (даже редакто-

3. В центре нашего внимания находятся журналы, в которых главную роль играет проза, поэтические журналы, не входят в исследовательский фокус.

4. Здесь и далее мы употребляем слова, которые используют наши информанты. В одном случае это профессиональный жargon, равнозначного аналога которому мы не нашли в официальном стиле, в другом — это слово или словосочетание, которое несет дополнительные коннотации и интересно с исследовательской точки зрения. Если значение слова не выясняется из контекста, то мы будем давать к нему дополнительные сноски-пояснения.

ры провинциальных литературных изданий не могли вспомнить их названий), а о работе московских журналов знают хорошо во многом в связи с тем, что их сотрудники посещают регионы во время конкурсов для молодых авторов. Но главное — они аккумулируют вокруг себя известных писателей, поэтому печататься для начинающего литератора там престижно.

Между провинциальными и московскими журналами идет постоянный обмен авторами, многие стремятся после публикаций в региональном журнале перейти в столичный. И сами «москвичи» присматриваются к новым именам, следя за их появлением в провинциальных журналах. Московские журналы имеют гораздо больший «символический» ресурс (историю, известность, престиж), чем региональные. Они являются негосударственными ЗАО, тогда как почти все региональные издания находятся на дотации местных властей. Журналы, спонсируемые государством, могут рассчитывать на небольшое, но стабильное финансирование, негосударственные должны заботиться о самоокупаемости и гонорарном фонде. При этом экономическая независимость обеспечивает свободу в осуществлении редакционной политики. По словам сотрудников региональных журналов, дотации налагают определенные ограничения на редакцию: иногда они получают административные предупреждения от областного или республиканского начальства. Вмешательство государства проявляется в праве назначать или снимать главного редактора.

Столичные журналы условно можно разделить на три группы. В одну входят те, у которых есть изначально определенная ниша, например «Иностранная литература» или «Дружба народов», их миссия — знакомить российскую публику с литературой ближнего и дальнего зарубежья. Другая включает журналы, занявшие в постсоветское время консервативную идеологическую позицию, например «Москва». В этом случае журнал используется как рупор определенных взглядов и предполагает идеологическую цензуру. Третья группа — журналы, которые позиционируют себя как профессиональные литературные издания, их авторитет признается литературным сообществом. Внутри этой группы есть своя иерархия, так, у московских журналов ранг выше, чем у петербургских.

...есть такие флагманы литературного процесса: «Новый мир», «Знамя» и «Октябрь» — их три. Есть журналы поменьше — второго плана. Это «Дружба народов», «Звезда» и «Нева». Ну они считаются менее значимыми, но все равно как бы известные. Но с Питером связан какой-то свой круг авторов, тем и так далее... (Респондент № 4)

Именно журналы из этой группы были в нашем исследовательском фокусе, им удалось, пережив кризис 1990-х годов, вернуть себе некоторые важные функции. Региональные журналы функционально примыкают к третьей группе, столичные и региональные журналы сотрудничают друг с другом.

Жанровая подоплека журнальной востребованности

Жанровая система помогает «толстому» журналу играть важную роль в литературном процессе: во-первых, он служит площадкой для актуализации ряда литературных и публицистических жанров, во-вторых, отечественная литературная система выстроена иерархично с точки зрения жанра: роман занимает в ней привилегированное положение, ему отдает предпочтение книгоиздание, тогда как рассказы и повести, с которых обычно начинается творческий путь прозаика, находят место для публикации прежде всего в журнале.

«Толстые» журналы способствовали развитию таких литературных и публицистических жанров, как очерк, критическая статья, новелла, литературный анекдот, юмореска, рассказ, повесть и, в конце концов, роман. Если публицистические статьи «ушли» в общественно-политические журналы, а краткие рецензии нашли место в приложениях крупных газет, то некоторые жанры продолжают оставаться сугубо журнальными:

...они [журналы] играют важную роль, во-первых, они являются источником существования, местом существования целого ряда жанров: рассказы, повести, подборки стихов и весь блок, связанный с литературной критикой, — это все существует только в форме толстых журналов, потому что все это не издается в книжном виде. (Респондент № 4)

Для литературной критики это нормальная ситуация, зарубежные литературные журналы — тоже прежде всего литературная критика и теория. Специфически российской является ситуация, касающаяся повести и рассказа: отечественная литература имеет жанровую иерархию, в которой привилегированный жанр — это роман, ему отдают почти безоговорочное предпочтение издательства. Роман — ведущий жанр европейской литературы Нового времени, отодвигающий в сторону не только лирику и драму, но и эпические жанры — повесть, рассказ, новеллу (Гудков, Дубин, Страна, 1998). Правда, сегодня в Европе на первые позиции вышли повести и сборники рассказов. Яркий пример — работы последних лауреатов Нобелевской премии, получивших награды за сборники рассказов, что было редким исключением в XX веке.

Но в российском литературном процессе повесть и рассказ по-прежнему носят печать вторичности, причем такая иерархия закреплена и поддерживается и прагматическим фактором. Российские книжные издательства зачастую готовы принимать к публикации только романы. Между тем авторы редко начинают с большой прозы.

...писатели обычно, если это молодые писатели, они начинают обычно с малой формы, и, в конце концов, они оказываются в журналах, а не где-то. Мало кто начинает литературную биографию сразу с книги. (Респондент № 4)

Итак, отдельный рассказ — сугубо журнальный жанр, что же касается сборников, то они могли бы выходить отдельной книгой. Но риск для издательства заключается в том, что публикация сборника рассказов совершается впервые: в журнале рассказ публикуется один, его дополняет контекст журнала, тогда как нельзя предугадать реакции публики на несколько рассказов под одной обложкой.

Повесть — крупный прозаический жанр, который также находит себе место в журнале:

...маленьку повесть у нас в России не издают. То есть за рубежом бы издали, а у нас надо обязательно целый томище. Там сразу десять авторских листов... (Респондент № 10)

Объясняется ситуация тем, что сборники повестей, как и рассказов, сложно продать. Нам удалось застать на презентации журнала «М» писателя, впервые опубликовавшего свой текст. На наш вопрос, почему им был выбран именно «толстый» журнал, он ответил: «Так это же рассказ! Его больше никуда не возьмут». А вот фрагмент из интервью с другим писателем, который начинал карьеру в литературном журнале:

Почему ты решил, что когда напишешь рассказ, то нужно пойти в литературный журнал? — А потому что рассказы... Это касалось рассказов, которые уже были больше. Во-первых, газеты не очень активно их печатали, прозу. И к тому же все, что они печатали, были какие-то небольшие совершенно вещи маленького формата. <...> Ну и в итоге оказалось, что толстый журнал — это такой единственный вообще формат до сих пор так и есть. Единственная площадка для публикации текстов, которые не имеют достаточный объем для издания в виде отдельной книги. К тому же у нас издательства ориентированы на романы именно... — А ты это говоришь из опыта? Ты пробовал издательствам предлагать сборники рассказов? — Нет, я просто... Я не пробовал, но я как бы знаю, потому что многие авторы с этим сталкиваются. (Респондент № 7)

Обратим внимание на то определение, которое дается автору, пытающемуся обойти «толстый» журнал как первую ступень писательской карьеры: «автор с улицы» — данная номинация частотна в нарративах наших информантов. Литературное сообщество взаимодействует на основании неписанных, неформальных правил, в предложенном фрагменте такие конвенции выражаются безличной синтаксической конструкцией: «считается». Со сложившимися правилами все по умолчанию знакомы и согласны, поэтому отступление от них маркируется как поведение аутсайдера, «автора с улицы»: только новичок в сообществе может прийти в издательство со сборником рассказов. Журнал обеспечивает себе надежную нишу, оставаясь площадкой для публикации рассказов, повестей и подборок стихов, то есть коммерчески невостребованных форматов текста, с которых начинает большинство авторов.

Гегемонию романа поддерживают и отечественные литературные премии, которые вручаются в большинстве случаев автору романа, тогда как премии за повесть и рассказ можно получить только от редакций «толстых» журналов: премия им. Белкина за лучшую повесть («Знамя»), премия им. Юрия Казакова за лучший рассказ («Новый мир»). Таким образом, важная функция журнала заключается в том, чтобы предоставлять публикационную площадку сугубо журнальным жанрам и малой прозе. Поскольку последние часто связаны с литературным дебютом, то журнал начинает играть инициирующую роль в литературном процессе. Кроме того, он продолжает оставаться нишей для писателей, которые постоянно работают в данных жанрах. Оговоримся, что наши выводы касаются конкретного периода в развитии литературы и ситуация может измениться. Например, если интернет-публикации приобретут профессиональный вес или если изменится издательская политика.

Журнальная публикация как условие книжного издания

Издательства, зависимые от рыночного спроса, с опасением публикуют современную «высокую литературу». Несмотря на то, что на нее все же есть спрос, о чем свидетельствуют рейтинги продаж, издательства не готовы рисковать и публиковать текст без предварительной аprobации, с которой хорошо справляются литературные журналы. Работа с текущим потоком литературы — тяжелый и трудоемкий процесс, некоторые редакторы признавались, что они читают каждый день без выходных, в период подготовки номера иногда по 10 часов подряд. В журнал поступает большое количество текстов, среди них редакторы выбирают то, что маркируют как художественную литературу:

Вот что такое современная литература? Мы с Вами приходим в уборную и включаем кран. И оттуда льется вода. Совершенно различная: бывает чистая, бывает грязная. Текущая современная литература — это такой поток. Совершенно разнородный, разнообразный: бывает удивительные попадаются вещи, бывает — просто отчаянный мусор. И в этом смысле роль литературных журналов заключается в первую очередь, конечно же, в качественном, профессиональном отборе материала из этого потока. Потому что в наш журнал ежедневно приходит около 60 писем: поэзия, проза, драматургия, публицистика. Этим не занимаются издательства! Издательства занимаются... ну не будем говорить коммерцией, но скорее отдельными проектами... А мы занимаемся всеми! В этом смысле мы сито, которое отбирает тексты... Это такая фиксация текущего реального литературного процесса... Журналы обречены заниматься новыми именами. (Респондент № 18)

Журнал обеспечивает сочинению несколько типов проверок: на реакцию публики, на эстетическую ценность посредством контекста, сопоставления с другими текстами, но главное — что работы отбираются опытными экспертами: стаж многих редакторов составляет десятки лет. При этом, одобряя или игнорируя

текст, редактор каждый раз принимает субъективное решение. Поскольку четких критериев «художественности» текста не существует, каждое решение редактора — это одновременное (вос)производство нормы художественности. Сами редакторы на вопрос о том, что главное при одобрении или неодобрении текста, отвечают обычно уклончиво. Остается без ответа и вопрос о том, почему именно «толстые» журналы обладают знанием о подлинно «высокой литературе», иногда такой вопрос вызывает возмущение: статус эксперта внутри журнального сообщества неоспорим.

Свою роль редакторы обычно оценивают патетически, они уверены, что их работа имеет важное значение для всей современной литературы и что больше ее никто не делает.

Соотношение работы издательств и журналов — это, знаете, соотношение... Вот там, сидят в шахте — это журналы. А наверху, на-гора выдают и продают — это издательства. Вот. То есть издательства ждут, когда журналы найдут по-настоящему талантливого автора или талантливый текст, проверят, какая реакция на этот текст у читателя, и так далее. И посчитают: насколько они рискуют, издавая эту книжку. Или наоборот, насколько они рискуют, не издавая эту книжку. А эту книжку возьмут конкуренты и так далее... Я не хочу сказать, что журналы — это такие безумные бессребреники и так далее, а издательства — это такие жмоты. Просто сами условия существования издательства, они как бы требуют определенного поведения. Они не могут себе позволить издавать без надежды (гарантий им, конечно, никто не даст), но вероятность того, что это будет продано. И они... это их условия работы они вынуждены, слава богу, и поэтому журналы — это единственная, ну как сказать, инстанция, где главным критерием публикации и непубликации является художественный интеллектуальный уровень текста, а не вопрос его реализуемости и там, не знаю, на рынке. (Респондент № 14)

Публикация в журнале важна и для самого писателя, поскольку служит показателем признания в профессиональной среде: во-первых, это оценка высокого авторитетного сообщества, во-вторых, проверка текста посредством сопоставления его с другими текстами, опубликованными в журнале. По мнению сотрудников редакций:

...это очень важно [опубликоваться в «толстом» журнале], потому что это... Это как бы ну такая... ну такая проверка, инициация. Вот — держится текст. Потому что контекст в хороших журналах, ну я имею в виду определенного качества, с моей точки зрения, это контекст очень агрессивный для любого текста... Но если текст выдерживает эту конкуренцию... это значит свидетельство определенного уровня. (Респондент № 14)

Другой редактор по поводу взаимодействия работы журнала и издательства сообщил, ссылаясь на свой опыт: «...существует симбиоз журналов и издательств. Издательства следят за публикациями и забирают себе интересное». А на вопрос,

почему издательства не создают у себя экспертные сообщества, которые бы не ориентировались на журнал в области некоммерческой прозы, ответил: «Зачем? У них ведь есть готовое сообщество ТЖ [„толстые“ журналы]» (материал из личной переписки). Информант расценивает взаимодействие «толстых» журналов и издательств как «наложенное взаимодействие», по его мнению, нельзя сказать, что издательства «полностью доверяют», но «доверяют — да». Поясняет, что под «наложенным взаимодействием» информант понимает «неформальное, негласное» взаимодействие, которое сложилось в ходе практики литературного процесса. Сами журналы мало что получают от такого взаимодействия: слава открытия нового имени достается издателям. Нельзя сказать, что журналы не понимают этого, но они все равно готовы делать свою работу:

Авторов должны же узнавать: это как пленка проявляется. Проявляется-проявляется — ага! Вот он, силуэт автора! Теперь он уже может напечатать книгу. И издательства уже ищут его. Они же очень снобистски относятся... Но на самом деле вот эта связка, журнал-издательство, она работает не впрямую, но она очень хорошо работает. В этом смысле мы работаем на них в первую очередь, потому что они на нас не работают! (Респондент № 18)

В рассказах начинающих и состоявшихся писателей подчеркивается момент взаимодействия со «своим» редактором, они признаются, что редактор помогает научиться, критикует, «ставит руку».

Книгоиздание в России устроено по монополистическому принципу: несмотря на номинальное множество издательств, многие из них являются «однодневками» или обслуживают сугубо корпоративные нужды. Основную прибыль издательства получают от продажи массовой литературы, литературы нон-фикшн, а также учебников, но публикуют и «высокую литературу» (Гудков, Дубин, 2003; Ропечать, 2007, 2011), в том числе научную и философскую. Однако чтобы добиться успеха на рынке, чтобы «продаваться», писатель должен опубликоваться в известных издательствах с наложенной системой дистрибуции и рекламы:

...книга должна выйти в крупном издательстве, чтобы как-то прозвучать, потому что если это маленькое издательство, то твою книгу просто никто не увидит. (Респондент № 4)

Рынок книжной печати устроен сегодня таким образом, что продвижение автору могут обеспечить только монополисты. Самы редакции журналов оценивают деятельность издательства как «рынок» и «делание денег», свою же миссию видят в продолжении традиции русской литературы.

Большинство издательств признают экспертную состоятельность литературных журналов, полагаются на их компетенцию и согласны оставить себе коммерческую функцию. Одним из косвенных признаков такого отношения является тот факт, что с 2010 года издательство «Эксмо» ставит на книгах авторов «высокой ли-

тературы» лейбл «толстого» журнала, в котором текст дебютировал. По рейтингу продаж и оценкам критиков из «10 главных русских книг 2013 года» (Попова, 2013) шесть авторов публиковались в «толстых» журналах. В списке самых известных писателей за текущее десятилетие практически нет тех, кто пришел в литературу не из журнала.

Другое доказательство того, что издательства признают авторитет журналов, состоит в публикации журнальной версии романов. Редактирование текстов — трудоемкий процесс, который требует большого профессионализма. Создание журнальной версии романа — сложная работа, направленная изначально на сокращение объема, но при этом и на сохранение эстетической ценности. Поскольку сегодня нет идеологического и эстетического противостояния среди ведущих столичных журналов, некоторые авторы выбирают журнал именно по редактору прозы.

Итак, складывается ситуация, когда журналы отвечают за эстетическое качество интеллектуального продукта, а издательства добавляют к этому коммерческий расчет и берутся за продвижение того или иного текста. Гонорары в издательстве даже для начинающего писателя в 4–5 раз выше, чем в журнале, который по этой причине постоянно рискует потерять своих авторов. Некоторые издательства стремятся заключить с автором контракт на несколько лет вперед на еще не написанные тексты — в таком случае писатель из круга журнальных авторов переходит в разряд писателей, «принадлежащих» одному издательству, а журналу приходится искать новых авторов. Получается, что, с одной стороны, журналы выполнили важную, только им присущую роль: «открыли» нового автора, достойного с их точки зрения для продолжения традиций русской литературы, но с другой — они потеряли автора, который мог бы в будущем принести популярность журналу. Однако финансовая несостоятельность журналов мешает сохранить такого автора. Внешнему же наблюдателю может показаться, что это издательства открывают новых авторов и создают литературные тенденции.

Литературные премии как выражитель мнения журнальных редакций

С «толстыми» литературными журналами тесно связаны литературные премии. Во-первых, в отборочные комиссии премий входят сотрудники редакций, во-вторых, журналы обладают правом номинировать на премии. В России премии не являются альтернативным способом оценки⁵, скорее, они распространяют мнение «толстого» журнала как самого авторитетного эксперта. Сегодня автору «высокой литературы» практически невозможно зарабатывать на жизнь писательским трудом, и премии призваны восполнить эту лакуну⁶.

5. Исключение — премия им. Андрея Белого (1978). Она создавалась среди диссидентов и сегодня играет роль альтернативной оценки по отношению к мейнстриму в «высокой литературе».

6. В нашем фокусе находятся несколько самых престижных премий, и выводы не распространяются на другие уровни премиального процесса.

Премии выступают признанием со стороны профессионального сообщества и играют роль модератора издательского рынка, который старается публиковать тексты, получившие положительную экспертную оценку, известные премии оказывают влияние на читательский вкус. Например, присуждение французской премии им. братьев Гонкур (ее призовой фонд символический и составляет 10 евро) сразу делает писателя успешным, обеспечивает высокие тиражи и внимание публики. И хотя, скажем, Национальная премия США имеет приз 10 тыс. долларов, а Нобелевская премия — около миллиона долларов, это не меняет сути дела: главное — не награда, а сам факт присуждения, обеспечивающий коммерческий успех за счет внимания со стороны издателя и читателя. Получение и даже номинация на престижную премию — серьезный карт-бланш в писательской карьере, «наиболее известные, престижные национальные и международные премии во многом определяют круг чтения современников, а тем самым и политику книгоиздания, перевода, тенденции национального и мирового литературного развития» (Рейтблат, Дубин, 2006).

Исторически функция литературной премии — попытка модерирования книжного рынка художественной литературы, согласно представлениям литературных экспертов, посредством поощрения произведений, выдающихся с точки зрения эстетических достоинств, но проигрывающих в спросе (Рейтблат, 2009: 331). Грифы известных премий стоят на книгах, а некоторые имеют свои собственные книжные серии.

Премии, существовавшие в России в XVIII–XIX веках, скорее, выполняли задачи финансовой поддержки нуждающимся литераторам или были направлены на поощрение драматургических произведений, которые могли бы оказать воспитательный эффект на крестьянство (Рейтблат, 2009: 330–343). Первой литературной премией можно считать «Пушкинскую премию», которая была создана на деньги, оставшиеся от открытия памятника А. С. Пушкину в 1882 году, и вручалась за выдающиеся литературные произведения, в ее жюри входили члены Академии наук и литературные критики. Из русских классиков ее получили только А. П. Чехов и И. А. Бунин.

В СССР литературная премия функционировала особым образом: роль главного эксперта выполняла культурная элита, транслирующая ценности официальной идеологии. Во-первых, в стране не существовало книжного рынка, который нуждался бы в стимулировании, во-вторых, все премии были государственными, поэтому не осуществляли функции общественного признания литературы. Премия, поощряя тех или иных писателей, помогала властному аппарату регулировать литературный процесс, который и без того был под жестким контролем цензуры. Функция, которая роднила премию в СССР с премиями в демократических странах, — финансовая поддержка лауреата, но «по сути дела, это были уже не премии, а формы государственной материальной поддержки писателей, причем дело было не только в получении самой премии — она автоматически увеличивала число изданий книг премированного автора, их тираж, его гонорарную ставку и

т.д., что существенно повышало его гонорары в течение многих лет» (Рейтблат, 2009: 343). Речь идет не о повышении тиражей и гонораров как реакции рынка и читателей на получение премии, а о предусмотренном премией «пакете привилегий».

После распада СССР новообразованные престижные российские литературные премии являются общественными, а не государственными. Как и когда-то в Европе на заре формирования института литературных премий, их призовой фонд учреждает богатый меценат, но присуждает премию не сам, напрямую, полагаясь на свой вкус, как это делалось ранее, а с помощью экспертов, специалистов: критиков, литературоведов, известных писателей, «звезд» культуры» (Рейтблат, Дубин, 2006). Так, фонды самых авторитетных и престижных премий («Большая книга», «Русский Букер», «Нацбест», «Триумф», премия для молодых писателей «Дебют») учреждены бизнесменами или крупными компаниями. Их финансовое вознаграждение составляет от 150 тыс. до 3 млн рублей. Эти премии считаются самыми престижными в России (Морозова, 2013; Шелудько, 2009). Механизм работы премий может отличаться в деталях, но общий принцип у них одинаковый, все они имеют три основных этапа: формирование длинного списка (лонг-лист), короткого списка (шорт-лист) и выбор лауреата.

Рассмотрим первую ступень премии, которая предшествует формированию лонг-листа. Устав премии «Русский Букер» гласит, что правом номинации обладают издательства, редакции литературных журналов, а также «крупные библиотеки и университеты, список которых ежегодно утверждается Комитетом»⁷. Из семи членов комитета двое — редакторы «толстых» литературных журналов, еще двое в журналах работали, один — редактор издательства, один — лауреат премий сразу четырех журналов. Жюри конкурса формируется Комитетом премии. В список членов жюри премии 2013 года входили: Владимир Кантор — автор журналов «Новый мир», «Октябрь», «Вопросы литературы»; Елена Погорелая — литературный критик, редактор отдела современной литературы в журнале «Вопросы литературы», автор журналов «Знамя», «Литературная учеба», «Новый мир», «Октябрь», «Вопросы литературы»; Сергей Беляков — заместитель главного редактора журнала «Урал», постоянный автор «Нового мира»; Андрей Дмитриев — лауреат этой же премии в 2012 году, журнальный автор с 1983 года. Как видим, доля людей, которые связаны с «толстым» литературным журналом, значительна.

Длинный и короткий списки премии «Большая книга» формируются экспертизой комиссии, в которую также входят члены редколлегий «толстых» журналов (с некоторыми из них нам удалось побеседовать). По мнению сотрудников редакций, роль премии в России иная, чем на Западе, потому что лауреат в них — «не главное». Приведем цитату из интервью с редактором столичного журнала.

Каким премиям, на Ваш взгляд, можно доверять? — Доверять? Смотря в чем доверять... Скажем так: чьим коротким спискам можно доверять. Потому

⁷ <http://www.russianbooker.org/about/4/>

что самое интересное всегда — это короткий список. Это «Большая книга», это «Букер», не лауреат только ни в коем случае, а именно вот финалисты короткого списка... Кто лауреат — это абсолютно не важно! Они всегда про-махиваются. Вообще, в премиях не смотрите, кто лауреаты, смотрите, кто шорт-лист. Понятно, что лауреат будет из них, но... с точки зрения того, что происходит, важен шорт-лист. (Респондент № 12)

А вот фрагмент из беседы с писателем, иллюстрирующий, что взаимосвязь журналов и премий очевидна инсайдерам литературы:

С премиями они [журналы] связаны достаточно плотно, потому что люди, которые работают на премиях, эксперты или жюри, — это представители «толстых» журналов. Многие премии связаны с журналами даже организационно. <...> Допустим, премия за лучшую повесть года. Она вручается и существует на базе журнала «Знамя». Премия за лучший рассказ года — премия имени Юрия Казакова существует на базе «Нового мира»... «Букер», там тоже члены комиссии, члены жюри — редактора «толстых» журналов, «Большая книга» — тоже. (Респондент № 4)

Некоторые премии интересны для журналов тем, что принимают на конкурс рукописи, которые можно опубликовать, этот вопрос часто упоминается в интервью:

Почему редакторы и прочие рвутся в экспертные [комиссии] всяких литературных премий и так далее, особенно когда речь идет о рукописях? Это постоянный поиск! (Респондент № 14)

В особую категорию стоит выделить премии самих «толстых» журналов за лучшую публикацию года. Они есть практически у каждого журнала, не являются дежняными, но становятся стартом для участия в остальных (призовых) премиях года. Как правило, после присуждения своей премии журнал выдвигает произведение на важные премии года. Часто именно так романы привлекают внимание издателей, которые ориентируются на мнение журналов, а не на премию. Когда мы были в одном из журналов, редакция уже вручила премию года за роман своему автору, а затем номинировала его от журнала на все престижные премии в этом году. Когда мы заканчивали работу, автор уже стал лауреатом и финалистом нескольких престижных российских премий:

Это такая практика журналов... Они сначала дают ему свою премию, а потом продвигают по всем другим. (Респондент № 21)

«По-прежнему — достаточно взглянуть на нынешние и прошлогодние длинные и короткие списки „Русского Букера“ или „Большой книги“ — толстые журналы, публикации в них — лидируют» (Заславский, 2010).

Таким образом, несмотря на то, что премии кажутся сегодня независимыми от литературной политики «толстых» журналов, на самом деле они являются трансляторами редакционных вкусов. Поэтому не важен победитель премии (финалиста выбирают приглашенные «звезды»), «в премиях не смотрите, кто лауреаты, смотрите, кто шорт-лист» (респондент № 12). За постсоветский период в литературной жизни России не появилось другого такого же авторитетного эксперта в области литературы, как редколлегии «толстых» журналов, роль гегемона авторитетного мнения по-прежнему принадлежит им. Потеряв различные преференции, приобретенные в советское время, журналы не утратили самой главной своей функции — литературного эксперта, который контролирует «вход» в официальный литературный процесс. Здесь мы наблюдаем то, как на практике охраняется, производится и воспроизводится литературный канон. Издатели обращают внимание на премиальный процесс, читатель ориентируется на премию, и в результате читатель «высокой литературы» получает текст, отобранный «толстым» журналом и одобренный им как достойный.

Конкурсы для начинающих писателей и «толстый» литературный журнал

В середине 2000-х годов в литературу пришло новое поколение писателей. Одним из важных факторов, который помог ему войти в профессиональный мир, стали литературные конкурсы. Особо выделяются «Форум молодых писателей России» и «Дебют». Они привлекают большое количество авторов из России, дальнего и ближнего зарубежья. На конкурс представляются рукописи, что очень важно для журналов, которые публикуют сочинение впервые. Как и в случае премий, сотрудники журналов осуществляют здесь функцию экспертов: они входят в комиссию, которая формирует длинный и короткий списки конкурсантов.

Премия «Дебют» существует с 2000 года, ее учредитель — частный фонд, возраст участников — до 35 лет, присуждается в пяти номинациях. Право выдвижения имеют как официальные институции, так и сами авторы, на практике большинство — самовыдвиженцы. На первом этапе комиссия формирует из отобранных текстов шорт-лист, который затем с рекомендацией эксперта поступает к жюри, состоящему из известных писателей. Они и определяют победителя в ходе совещания. Главный приз — издательский контракт. Но здесь, как и в премиях, важна не столько победа, сколько включение в шорт-лист. Если рукопись туда попадает, то, как правило, ее автор сразу получает предложение на публикацию от «толстого» журнала.

Так произошло с Ф., который сейчас имеет контракт с престижным издательством и даже переводится на другие языки, хотя еще недавно был малоизвестным журнальным автором. Его первая публикация в «толстом» столичном журнале состоялась благодаря премии «Дебют». Еще до участия в конкурсе Ф. написал повесть, которую отправил в несколько журналов, но положительного ответа не получил. Ф. отоспал рукопись на конкурс. На этапе отбора она попала в руки со-

труднику журнала, тот связался с Ф. и попросил разрешить передать рукопись с рекомендацией в один из журналов. Ф. согласился, после чего позвонил в редакцию регионального журнала, который все еще откладывал рукопись. Ф. прошел в шорт-лист конкурса, но не победил. Однако участие в конкурсе, а точнее, контакт с «толстым» журналом стал для него началом писательской карьеры. После публикации его повести в журнале она удостоилась положительных отзывов, Ф. попросили приносить и другие сочинения. Так он попал в круг авторов журнала. Со временем Ф. стал публиковаться во многих «толстых» журналах, здесь же опубликовал первый роман. Затем ему поступило предложение от издательства выпустить роман отдельной книгой. Благодаря успешной реализации издательство предложило автору контракт на несколько романов вперед, и Ф. стал профессиональным писателем. Не так важно, опубликуют ли произведение сначала в журнале или сразу издадут книгой, — важно, что отбор во многом зависит от редакционных сотрудников, которые работают в комиссиях конкурсов для молодых авторов.

«Форум молодых писателей России» существует с 2000 года, учрежден благотворительным фондом, мероприятие связано с «толстыми» литературными журналами официально. Конкурс проходит в два этапа: «Центр — в провинцию» и «Провинция — в центр». На первом этапе комиссия от фонда и главные редакторы журналов выбирают регионы, которые, на их взгляд, отличаются развитой литературной жизнью. Преимущественно это региональные центры, где есть свои «толстые» журналы, а значит, сложились основы литературный среды. Затем конкурсная комиссия выезжает в регион и проводит там мастер-классы, общается с местными литераторами и отбирает работы, поданные на конкурс. Формируется лонг-лист, с которым комиссия отправляется обратно. На втором этапе конкурс проводится в Подмосковье, где приглашенные авторы участвуют в мастер-классах, круглых столах и семинарах. В течение работы форума конкурсанты получают возможность профессионального разбора своих сочинений. Как отмечают участники, такие семинары, проведенные писателями и сотрудниками журнальных редакций, очень помогают им в профессиональном росте. Наша информантка Ж. стала победителем «Форума молодых писателей» в жанре большой прозы. Она послала на конкурс свою дебютную повесть, которую уже отправляла в московский журнал, но ей не ответили. После первого отбора текстов Ж. позвонили и попросили разрешения порекомендовать повесть к публикации в журнале. Так, повесть была опубликована в журнале, который прежде отказал ей в публикации. Затем автора «заметило» известное издательство и предложило выпустить книгу, но с условием дополнить том. Вскоре она подписала контракт на роман. Сегодня Ж. известный автор нескольких романов.

Как видим, в обоих случаях авторы участвовали в конкурсах, но не участие или даже победа сыграли роль в их писательской карьере. Если с точки зрения внешнего наблюдателя, писателя «открывают» конкурсы, то при ближайшем рассмотре-

нии оказывается, что решающую роль здесь играют «толстые» журналы, которые целенаправленно идут в жюри для поиска молодых талантов.

Функция ретранслятора в литературном процессе

Как показывают исследования, практически все 1990-е и большую часть 2000-х основным медианосителем в России было телевидение (Дубин, 2005). В настоящее время в стране отсутствует централизованное распространение литературной продукции, книжная дистрибуция не имеет систематического характера. В библиотеки поступают в первую очередь «дефицитные» книги (учебная и образовательная литература, словари и энциклопедии, сочинения классиков), и очень немногие библиотеки могут себе позволить покупать современные произведения. Такая ситуация сложилась даже в крупных столичных библиотеках, в провинциальных она еще тяжелее. Книжный рынок функционирует плохо и не справляется с обеспечением даже таких элементарных запросов общества, как учебники (Дубин, Зоркая, 2008). В 2003 году в стране существовало всего пять крупных книготорговых сетей, «но общероссийской среди них, и то очень условно, может считаться только одна» (Гудков, Дубин, 2003: 32). Другой фактор, проблематизирующий доступ литературы к читателю, — высокая стоимость книг.

Какими каналами современная литература доходит до провинциального читателя? Важнейшей функцией литературного журнала в XIX и XX вв. было культурное сообщение между столицей и провинцией. С опорой на наше исследование можно предположить, что и сегодня одним из регулярных трансляторов современной литературы в регионы является «толстый» литературный журнал. Это ему удается благодаря взаимодействию с региональными библиотеками и самоорганизации в сети Интернет. Согласно исследованию, сделанному по заказу «толстых» журналов, читательские аудитории в библиотеках, по подписке и в Интернете — разные аудитории: «...публика, которая читает бумажные издания, и та публика, которая читает публикации в Интернете, — это два совершенно разных общества, практически не пересекающихся... Деньги даются библиотекам, чтобы эти библиотеки подписывали «толстые» журналы. И поэтому та глубинка, которая забирает бумажные варианты, вряд ли читает „толстые“ журналы по Интернету» (Тихонова и др., 2005). Во-первых, остается часть прежней аудитории, которая не пользуется Интернетом, во-вторых, часть аудитории является ценителем «толстого» журнала как феномена, т. е. собрания текстов под одной обложкой. В-третьих, Россия до сих пор испытывает трудности с обеспечением доступа к глобальной сети на всей территории страны. В 2009 году покрытие выросло на 20 % и составило 42 %, а к 2013 году страна достигла условного уровня в 50 % покрытия территории сетью Интернет (TAdviser, 2014), соответственно, ранее ситуация была еще сложнее. В-четвертых, даже если бы журналы распространялись равномерно по территории страны, то все равно не пользовались бы спросом из-за слишком большой наценки: «Цена за „вход на рынок“ настолько велика, что обессмысливает саму за-

тей. Но бывает, что распространитель готов и без „входных денег“ взять журналы; зато он и продает их с дикой наценкой. Внутренняя цена журнала — 200 рублей, в книжном магазине „Москва“, „Новый мир“ и „Знамя“ продавали по 400–450 рублей. За такие деньги их точно не купят. Причем эта 100–200 %-ная надбавка в конечном итоге достается даже не распространителю, а арендовладельцу» (Геросин, 2011).

При проблемах с дистрибуцией литературы в провинции регулярные поступления книг остаются за библиотекой. А поскольку финансирование библиотек весьма ограничено, современная книжная литературная продукция покупается в последнюю очередь и нерегулярно. Регулярным же механизмом знакомства с современной художественной литературой являются именно «толстые» журналы, поступление которых проводится регулярно за счет государственной поддержки. Такие выводы подтверждают наши беседы с посетителями и библиотекарями нестоличных библиотек. Вторым средством распространения журналов служит Интернет, благодаря ресурсу «Журнальный зал» доступ к современной литературе имеют все пользователи Сети. Ведущие «толстые» журналы выкладываются в Сеть регулярно с момента основания данного сайта, который имеет высокий процент посещения (Костырко, 2011), «на сайте „Журнальный зал“ (где собраны электронные версии „толстяков“) их читают в месяц около 250 тысяч человек» (Геросин, 2011). Помимо того что данный ресурс помогает знакомиться с современной литературой в России, он пользуется спросом и за ее пределами (Тихонова и др., 2005). Присутствие «толстых» журналов в Сети помогает налаживать коммуникацию между членами литературного сообщества: «Журналы позволяют мне и таким, как я, быть в курсе, знакомиться с именами, новинками, воззрениями; московские и питерские книги, не говоря уже о периферийных, они для нас, увы, практически недоступны» (Кубатьян, 2008). Наши информанты подтверждают наличие у журнала функции ретранслятора внутри сообщества. Журнал помогает саморефлексии сообщества:

Интересуются люди пишущие: а чем Митькин или Иванов лучше меня? Дай-ка я проверю! <...> Во многом журнал — это такая писательская история, внутриписательская. (Респондент № 18)

Итак, «толстый» журнал сегодня выполняет функцию трансляции «высокой литературы» между культурным центром и периферией, что при кризисе общей системы распространения литературы оказывается крайне важным. Кроме того, журналы осуществляют презентацию русской литературы для зарубежного читателя и исследователя посредством организованного присутствия в Сети. Другая важная функция журнала — поддержка связей внутри профессионального сообщества, которое утратило прежние каналы взаимодействия (союзы писателей есть, но они, скорее, не «работают», а существуют по инерции), а новые не приобрело (до сих пор нет правового оформления профессии литератора в России).

Поэтому журнальная площадка в Интернете дает возможность следить за творчеством коллег, оценивать тенденции и контекст, ощущать чувство сопричастности.

Выводы

«Толстый» журнал формирует литературный поток, отбирает из общей массы написанного то, что претендует на ранг художественного текста. Осуществлять такую функцию ему позволяют регулярность издания, налаженность механизмов отбора сочинений, сосредоточие опытного профессионального сообщества в области литературы. Альтернативой ему могли стать коллективные сборники-альманахи, однако в таком случае у автора нет гарантии, что процесс инициации пройдет успешно, так как у «толстых» журналов есть наработанная аудитория «высокой литературы», публикация в журнале обеспечивает внимание литературной критики. Ненадежен и Интернет: в нем нет сформированного экспертного сообщества, которое бы контролировало качество публикуемых текстов, во-вторых, нет четко обозначенной аудитории «высокой литературы», не сложились нормы обращения к такому виду текста, как интернет-публикация. К ней относятся с недоверием, считают ее неполноценной.

Функция презентации читателю современной «высокой литературы» выполняется «толстым» журналом благодаря уникальной форме метажанра (В. Шкловский), который под своей обложкой объединяет разные тексты и тем самым создает контекст литературы. Он способен сегодня дать читателю наиболее разностороннее и полноценное представление о современном литературном потоке, выполнить функцию культурного ретранслятора, его позиция не лидирующая, но значимая.

Мы обнаружили и дополнительные разновидности функции ретранслятора. Это связь современного литературного процесса посредством журнала с зарубежным читателем, писателем и исследователем, а также коммуникация внутри писательского профессионального сообщества.

«Толстыми» журналами прямо и опосредованно осуществляется функция патронажа. Именно они лидируют по дебютным публикациям начинающих авторов и через свою компетенцию и оценку текста позволяют им профессионализироваться. Кроме того, журналы реализуют свой инициирующий потенциал посредством конкурсов молодых писателей, поскольку в отборочные комиссии конкурсов входят работники журнальных редакций. Таким образом, «толстые» литературные журналы являются единственным модератором-экспертом в сфере «высокой литературы» и оказывают влияние на вкусы читающей эту литературу публики.

Сегодня ведущую роль в литературном процессе журнал играет потому, что ему удалось выстроить такое взаимодействие с другими участниками, при котором его профессиональные компетенции обмениваются на признание журнала главным экспертом в области литературы. Важно отметить, что, проводя количе-

ственное исследование, мы не пришли бы к таким результатам: на уровне цифр ничего не изменилось, литературные журналы по-прежнему находятся в тяжелом финансовом положении, а издательства зарабатывают на больших тиражах и выглядят «распорядителями» в этой сфере. Однако все это вызывает вопросы, когда мы начинаем переосмысливать институт литературы, понимать его не как совокупность количественных данных (тиражная динамика журналов и книг, доходы и рейтинги узнаваемости), а как динамическое социальное образование.

Литература

- Геросин В. (2011). Толстые души // Новая газета. № 06-07. URL: <http://www.novayagazeta.ru/arts/7458.html> (дата доступа: 20.05.2016).
- Гудков Л., Дубин Б. (1994). Литература как социальный институт. М.: Новое литературное обозрение.
- Гудков Л. Д., Дубин Б. В. (2002). Институциональные изменения в литературной культуре России (1990–2001 гг.) // Мониторинг общественного мнения. № 6. С. 43–55.
- Гудков Л., Дубин Б. (2003). Издательское дело, литературная культура и печатные коммуникации в сегодняшней России // Драгунский Д. В. (ред.). Либеральные реформы и культура. М.: ОГИ. С. 13–90.
- Гудков Л., Дубин Б., Страда В. (1998). Литература и общество: введение в социологию литературы. М.: РГГУ.
- Докторов Б. З. (2012). Современная российская социология: историко-биографические поиски. М.: ЦСПиМ.
- Дубин Б. (1993). Журнальная культура постсоветской эпохи // Новое литературное обозрение. № 4. С. 304–311.
- Дубин Б. (1994). Литературные журналы в отсутствие литературного процесса // Новое литературное обозрение. № 9. С. 288–292.
- Дубин Б. В. (2005). Медиа постсоветской эпохи: изменение установок, функций, оценок // Вестник общественного мнения. № 2. С. 22–29.
- Дубин Б. В., Зоркая Н. А. (2008). Чтение и общество в России 2000-х годов // Вестник общественного мнения. № 6. С. 30–52.
- Заславский Г. (2014). «Толстые журналы» у разбитого корыта // РИА Новости. URL: <http://ria.ru/authors/20100503/229711888.html> (дата доступа: 20.05.2016).
- Ильницкий А. (2002). Книгоиздание в современной России. URL: http://www.lib.ru/COMPULIB/il_izdat.txt (дата доступа: 20.05.2016).
- Качалкина Ю. (2012). Есть книги, ценность которых накапливается с годами (интервью) // Московский книжный журнал. URL: <http://morebo.ru/tema/segodnja/item/1351164791584> (дата доступа: 20.05.2016).
- Костырко С. (2011). Толстые журналы в сети // Знамя. № 8. URL: <http://magazines.russ.ru/znamia/2011/8/sk29.html> (дата доступа: 20.05.2016).
- Лотман Ю. М. (1992). Избранные статьи. Т. 1. Таллинн: Александра.

- Попова Н. (2013). 10 главных русских книг 2013 года // РИА Новости. URL: http://ria.ru/weekend_books/20131220/984692769.html (дата доступа: 20.05.2016).
- Ребель А. (2006). Читающая публика — это инвалиды. URL: http://www.gazeta.ru/2006/07/21/oa_208953.shtml (дата доступа: 20.05.2016).
- Рейтблат А. И. (2009). Литературные премии в дореволюционной России // Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М.: Новое литературное обозрение. С. 330–343.
- Рейтблат А. И., Дубин Б. В. (2006). Литературные премии как социальный институт: пример дореволюционной России // Критическая масса. № 6. URL: http://www.artpragmatica.ru/km_content/?auid=63 (дата доступа: 20.05.2016).
- Тихонова Т., Шенкер Л., Адамович М., Грицман А. (2005). Материалы круглого стола на тему «Роль русскоязычных журналов в едином литературном пространстве русской культуры — в России и за рубежом» // Слово. № 48–49. URL: <http://magazines.russ.ru/slovo/2005/48/gr28-pr.html> (дата доступа: 20.05.2016).
- Роспечать. (2007). Российский рынок периодической печати, 2007 год: состояние, тенденции и перспективы развития. URL: <http://www.fapmc.ru/slabovid/activities/reports/2007/item71/main/custom/oo/o/file.pdf> (дата доступа: 20.05.2016).
- Роспечать. (2011). Российская полиграфия: состояние, тенденции и перспективы развития. URL: <http://www.fapmc.ru/dms-static/47304ff4-4c31-4f35-9512-bdc27ffac415.pdf> (дата доступа: 20.05.2016).
- TAdviser. (2016). Интернет-доступ (рынок России и СНГ). URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интернет-доступ_%28рынок_России%29 (дата доступа: 20.05.2016).
- Burawoy M. (1998). The Extended Case Method // Sociological Theory. Vol. 16. № 1. P. 63–92.

The Role of Literary Magazines in the Russian Contemporary Literary Process

Anna Vichkitova

Master of Philology, Master of Sociology, Independent Researcher

Address: Tkachei str., 42, app. 23, Saint Petersburg, Rusian Federation 192029

E-mail: annabudda9@gmail.com

This article presents a result of qualitative research aimed to determine and identify the role and functions of literary magazines in the contemporary Russian literary process. The study was conducted in four Russian cities. It included 21 semi-structured interviews with different participants of the literary process, and magazines' staff. It also involves participant observations of the magazines' working routine. An optional range of materials is used to triangulate data. This paper examines the interaction of literary magazines with different actors of the literary process, i.e., literary awards, literary contests, writers, aspiring authors, and regional libraries. The paper explains why an aspiring author needs to be published in such magazines at the beginning of

his/her writing career. Overall, the researcher comes to the conclusion that literary magazines play a significant role in the literary process, as they perform a number of functions necessary for its normal functioning. However, the position of the magazines is ambivalent, because, on the one hand, they are financially unstable and not well-known outside the professional community, while on the other hand, the magazines have the expert function that gives the right to influence the development of modern literature process by approving, or not approving, certain texts.

Keywords: sociology of literature, literary magazines, literary process, writer's career, literary awards, literature contests

References

- Burawoy M. (1998) The Extended Case Method. *Sociological Theory*, vol. 16, no 1, pp. 63–92.
- Doktorov B. (2012) *Sovremennaja rossijskaja sociologija: istoriko-biograficheskie poiski* [Modern Russian Sociology: Historical and Biographical Searches], Moscow: CSPiM.
- Dubin B. (1993) *Zhurnal'naja kul'tura postsovetskoy jepohi* [Magazines' Culture in the Post-Soviet Era]. *New Literary Observer*, no 4, pp. 304–311.
- Dubin B. (1994) Literaturnye zhurnaly v otsutstvии literaturnogo processa [Literary Magazines in the Absence of Literary Process]. *New Literary Observer*, no 9, pp. 288–292.
- Dubin B. (2005) Media postsovetskoy jepohi: izmenenie ustanovok, funkciy, ocenok [Media in the Post-Soviet Era: Changing Attitudes, Functions, Assessments]. *Russian Public Opinion Herald*, no 2, pp. 22–29.
- Dubin B., Zorkaya N. (2008) Chtenie i obshhestvo v Rossii 2000-h godov [Reading and Society in Russia of 2000s]. *Russian Public Opinion Herald*, no 6, pp. 30–52.
- Gerosin V. (2011) Tolstye dushi [Thick Souls]. *Novaja gazeta*, no 6–7. Available at: <http://www.novayagazeta.ru/arts/7458.html> (accessed: 20 May 2016).
- Gudkov L., Dubin B. (1994) *Literatura kak social'nyj institut* [Literature as a Social Institution], Moscow: New Literary Observer.
- Gudkov L., Dubin B. (2002) Institucional'nye izmenenija v literaturnoj kul'ture Rossii (1990–2001 gg.) [Institutional Changes in the Literary Culture of Russia (1990 to 2001)]. *Monitoring of Public Opinion*, no 6, pp. 43–55.
- Gudkov L., Dubin B. (2003) Izdatel'skoe delo, literaturnaja kul'tura i pechatnye kommunikacii v segodnjashnej Rossii [The Publishing Industry, Literary Culture and Print Communications in Today's Russia]. *Liberal'nye reformy i kul'tura* [Liberal Reforms and Culture] (ed. D. Dragunsky), Moscow: OGI, pp. 13–90.
- Gudkov L., Dubin B., Strada V. (1998) *Literatura i obshhestvo: vvedenie v sociologiju literatury* [Literature and Society: Introduction to Sociology of Literature], Moscow: RSHU.
- Il'itsky A. (2002) Knigoizdanie v sovremennoj Rossii [Publishing in Modern Russia]. Available at: http://www.lib.ru/COMPULIB/il_izdat.txt (accessed 20 May 2016).
- Kachalkina Y. (2012) Est' knigi, cennost' kotoryh nakaplivaetsja s godami [There are Books Whose Value is Accumulated over the Years]. *Moscow Book Journal*. Available at: <http://morebo.ru/tema/segodnjia/item/1351164791584> (accessed 20 May 2016).
- Kostyrko S. (2011) Tolstye zhurnaly v seti [Literary Magazines on the Web]. *Znamia*, no 8. Available at: <http://magazines.russ.ru/znamia/2011/8/sk29.html> (accessed 20 May 2016).
- Lotman Y. (1992) *Izbrannye stat'i* [Selected Papers], Tallinn: Alexandra.
- Popova N. (2013) 10 glavnih russkih knig 2013 goda [10 Main Russian Books of 2013]. *RIA Novosti*. Available at: http://ria.ru/weekend_books/20131220/984692769.html (accessed 20 May 2016).
- Rebel A. (2006) Chitatjushchaja publika — jeto invalidy [The Reading Public is Disabled]. Available at: http://www.gazeta.ru/2006/07/21/oa_208953.shtml (accessed 20 May 2016).
- Reitblat A. (2009) Literaturnye premii v dorevolucionnoj Rossii [Literary Awards in Pre-revolutionary Russia]. *Ot Bovy k Bal'montu i drugie raboty po istoricheskoj sociologii russkoj literatury* [From Bova to Balmont and Other Works in the Historical Sociology of Russian Literature], Moscow: New Literary Observer, pp. 330–343.
- Reitblat A., Dubin B. (2006) Literaturnye premii kak social'nyj institut: primer dorevolucionnoj Rossii [Literary Awards as a Social Institution: The Example of Pre-revolutionary Russia].

- Kriticheskaya massa*, no. 6. Available at: http://www.artpragmatica.ru/km_content/?aid=63 (accessed 20 May 2016).
- Rospechat (2007) Rossijskij rynok periodicheskoye pechati, 2007: sostojanie, tendencii i perspektivy razvitiya [Russian Periodical Press Market, 2007: Situation, Trends and Prospects]. URL: <http://www.fapmc.ru/slavorid/activities/reports/2007/item71/main/custom/oo/o/file.pdf> (accessed 20 May 2016).
- Rospechat (2011) Rossijskaja poligrafija: sostojanie, tendencii i perspektivy razvitiya [Russian Polygraphy: Situation, Trends, and Prospects of Development]. Available at: <http://www.fapmc.ru/dms-static/47304ff4-4c31-4f35-9512-bdc27ffac415.pdf> (accessed 20 May 2016).
- TAdviser (2014) Internet-dostup (rynek Rossii i SNG) [Internet Access (Russian and CIS Market)]. Available at: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интернет-доступ_%28рынок_России%29 (accessed 20 May 2016).
- Tikhonova T., Shenker L., Adamovich M., Gritsman A. (2005) Materialy kruglogo stola na temu "Rol' russkojazychnyh zhurnalov v edinom literaturnom prostranstve russkoj kul'tury — v Rossii i za rubezhom" [The Materials of the Round Table Discussion "The Role of Russian Magazines in a Unitary Literary Space of Russian Culture — in Russia and Abroad"]. *Slovo*, no 48–49. Available at: <http://magazines.russ.ru:81/slovo/2005/48/gr28-pr.html> (accessed 20 May 2016).
- Zaslavsky G. (2014) "Tolstye zhurnaly" u razbitogo koryta [Literary Magazines with Nothing]. *RIA Novosti*. Available at: <http://ria.ru/authors/20100503/229711888.html> (accessed 20 May 2016).

Использование видео для изучения социального взаимодействия

Алиса Максимова

Аспирант Аспирантской школы по социологии

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: alice.mcxi@move@gmail.com

В статье рассматривается методология видеоанализа и перспективы его использования для изучения порядка социального взаимодействия. Проводится граница между традиционным представлением о визуальной социологии и интеракционистским взглядом на применение технологий видеозаписи в социологическом исследовании. Описаны история развития видеоанализа и области, где применяется данная методология. В статье обсуждаются характерные черты видео как исследовательского инструмента для изучения повседневного взаимодействия, выделяются преимущества метода: натуралистическая установка, внимание к мультимодальности и организации взаимодействия, рассмотрение роли объектов и материальной среды. Мы описываем специфические черты работы с видео, такие как возможность повторного воспроизведения, различия и сходства исследовательского и «профессионального» (или «бытового») анализа видео, рефлексивность процесса производства, обработки и обсуждения данных. Использование видео в социологических исследованиях в статье показано как пространство методологических альтернатив и решений: где установить камеру, какое программное обеспечение использовать для хранения и редактирования записей, как транскрибировать и представлять данные, анализировать ли фрагменты в формате дата-сессий — это набор выборов, имеющих значительные последствия. Выбор делается исследователем исходя из его вопросов и установок, но отчасти — диктуется особенностями объекта и инструментария. Перспективы видеоанализа показаны на примере исследований посетителей музеев: производится обзор недавних проектов, применяющих данный подход, а также демонстрируется, каким образом социолог может создать, транскрибировать и проанализировать видеофрагмент.

Ключевые слова: видеоанализ, взаимодействие, видеография, этнометодология, аудиовизуальные данные, мультимодальность

От анализа кино к обыденному социальному порядку

Сегодня камеры можно обнаружить повсеместно: в магазинах, офисах, метро, на улицах; одну — встроенную в смартфон — мы всегда носим с собой. Всего за десятилетие технологии видеозаписи стали гораздо более удобными, дешевыми и незаметными. Упростились не только создание и распространение видео, но и его обработка: минимальный монтаж уже не требует особых навыков и знаний, а анализ изображений автоматизируется. Видео — важная часть рабочих занятий пред-

ставителей самых разных профессий и повседневной жизни. Ежедневно тысячи часов любительских видеороликов выкладываются в Сеть, большой популярностью пользуются приложения для записи и распространения видео, в том числе ведения прямой трансляции событий.

Технологии видео активно используются в социальных науках (см., например: Романов, Ярская-Смирнова, 2009; Запорожец, 2007; Emmison, Smith, 2000; Pink, 2006, 2012). Документальные антропологические фильмы являются принятой формой исследования и одновременно способом демонстрировать его результаты публике. Для визуальной социологии наиболее привычен, пожалуй, анализ видеоматериалов как презентации. В роли данных выступают фильмы, телепередачи, реклама или любительские видео, предметом анализа становятся политика и способы презентации, символы и конструируемые образы.

В отличие от этого обсуждаемый нами метод характеризуется интересом к использованию видео для натуралистического изучения взаимодействия, а не интересом к «визуальному» как объекту исследования. Таким образом, вместо того чтобы видеть и объяснять презентации, видеоанализ занимается рассмотрением *естественно происходящего взаимодействия в повседневных ситуациях*. Действие не является постановочным; кадры не выбираются в соответствии с их художественной ценностью, убедительной силой или политическим значением.

Мы будем говорить об интерпретативном видеоанализе¹, который предполагает этнографическую методологическую установку и не ориентируется на стандартизацию, кодификацию, количественный анализ, машинную обработку данных (Knoblauch, Schnettler, Raab, 2006: 13). Видеоанализ, основывающийся на этнometодологии, также предписывает тщательно разбирать *организацию взаимодействия*, а не фокусироваться на содержании, то есть на том, что сказано или сделано (Knoblauch, Schnettler, 2012). Теоретические основания для использования видео с целью изучения порядка взаимодействия включают, помимо этнometодологии и конверсационного анализа (Garfinkel, 1967; Sacks, 1992; Сакс, Щеглофф, Джейферсон, 2015), социальную феноменологию Альфреда Шюца (Шюц, 2004а), а также работы Ирвинга Гофмана о взаимодействии лицом-к-лицу (Goffman, 1963; Гофман, 2000, 2009).

Видео применяется для изучения социального взаимодействия в различных ситуациях и обстоятельствах. Этот метод распространен для исследования того, как происходит обучение и производство знания (Macbeth, 1990; Rendle-Short, 2006; Lindwall, Ekström, 2012; Knoblauch, 2013; Mondada, 2011), как организуется рабочая деятельность и как в работе участвуют технологии (Luff, Hindmarsh, Heath, 2000; Heath, Luff, 2000). Видео позволяет анализировать повседневные ситуации

1. Среди исследователей не наблюдается единогласия по поводу названия метода. Некоторые и вовсе не считают нужным давать ему специальное наименование, кто-то называет это «видеоанализом», кто-то предпочитает термин «видеография», в котором отражается этнографическая установка, в отличие от формализованных способов работы с видео; употребляется также громоздкое «анализ качественных аудиовизуальных данных». В статье мы будем придерживаться названия «видеоанализ» как краткого и нейтрального.

(разговоры за столом и дома, детские игры, прогулку с собакой (Eriksson, 2009; Goodwin, 2000, 2007; Laurier, Maze, Lundin, 2006)), коммуникацию покупателей и продавцов (Llewellyn, 2015; vom Lehn, 2014), поведение в публичных местах, на улице, в музее или кафе (Laurier 2013; vom Lehn, Heath, Hindmarsh, 2001; Meisner et al., 2007; Llewellyn, Burrow, 2008) и даже религиозный опыт (Knoblauch, Schnettler, 2015).

Несмотря на общий интерес к визуальной социологии, в российских источниках специфика видеоанализа затрагивается редко. В недавней статье Светланы Баньковской осуществлен концептуальный разбор видеометодов в социологии в целом (Баньковская, 2016); автор предлагает сочетать в работе с видео элементы методологии нарративного анализа и эксперимента с теоретическими интуициями этнографии, однако меньшее внимание уделяет практическим проблемам использования аудиовизуальных данных и не затрагивает историю обоснования видеоанализа повседневного взаимодействия. Елена Рождественская в своих текстах о визуальной социологии упоминает видеоанализ, но нивелирует различия видео и изображения, совмещающая тезисы, относящиеся к аудиовизуальным данным и интересу к взаимодействию здесь-и-сейчас, с теми, что относятся к изображению как репрезентации и характеристикам визуального (Рождественская, 2008; Рождественская, 2012: 184–201). Таким образом, в тематических статьях недостает четких различий и доступного описания способов работы с данными.

Случаи применения видео для изучения взаимодействия в отечественной социологии (и социальной антропологии) немногочисленны (Вахштайн, 2011: 225–254²; Клепикова, Утехин, 2010, 2012; Корбут, 2015). Причина невнимания к методу — отчасти — слабая распространенность исследований, выполненных в рамках соответствующих традиций, недостаток информации о том, как собирать и анализировать видеоматериалы, и в целом неосведомленность о существовании такого подхода к данным и о том, какие задачи он может решать.

Задача данной статьи — показать возможности использования видеоанализа для исследования порядка социального взаимодействия.

Для этого вначале будет описана история развития анализа аудиовизуальных данных с целью изучения взаимодействия, поведения и коммуникации. Затем мы обсудим основные преимущества видеоанализа: во-первых, доступ к естественно разворачивающимся повседневным ситуациям, во-вторых, возможность исследования мультимодальности взаимодействия без ограничения только вербальной коммуникацией, а также внимание к материальной среде и участию объектов, и, в-третьих, демонстрация практических способов организации социального порядка за счет секвенциальности взаимодействия. Далее будут проанализированы некоторые методологические особенности видео: его чрезвычайно насыщенный характер и связанные с этим проблемы создания транскрипта, воспроизводи-

2. Исследование режимов вовлеченности телеаудитории, описанное Виктором Вахштайном, хотя и сохраняет интерес к пониманию повседневных контекстов действия, кодифицирует практики телезрителей и формализует их, в итоге выявляя типы и закономерности вовлеченности.

мость, открывающая перспективы коллективной работы по анализу, соотношение видео и других этнографических методов как ресурсов для интерпретации. На примере микросоциологических исследований посетителей музеев мы рассмотрим, как видео может использоваться в эмпирическом проекте, какие решения требуется принимать социальному ученому, как происходит работа с видеозаписями и какие результаты можно получить.

История использования аудиовизуальных данных

Визуальные данные использовались для натуралистических исследований уже во второй половине XIX века: так, фотографиями иллюстрировал свою работу о выражении эмоций Чарльз Дарвин, Эдвард Майбридж при помощи фотографических снимков продемонстрировал последовательные элементы движения животных и человека.

В работе антропологов видеосъемка стала фигурировать почти одновременно с тем, как появились первые фильмы. В начале XX века к камере обращались Франц Боас, Альфред Хэддон, Болдуин Спенсер с Фрэнсисом Гилленом и другие (Heath, Hindmarsh, Luff, 2010). В ранний период антропологии не записывали на кинопленку материалы для документального фильма — они собирали данные для последующего анализа (Henley, 2000: 211). Считалось, что это способ наилучше точно и объективно фиксировать информацию. Хенли указывает на отношение к съемке как к качественному инструменту, подходящему с точки зрения требований научного метода: камера представлялась антропологическим аналогом телескопа или микроскопа, направленного на изучаемое общество. На смену натуралистической съемке сначала приходит «реалистическое» этнографическое кино, которое конструирует нейтральность и невидимость камеры, но полностью управляет взглядом и интерпретацией зрителя, а затем появляется построенная на критике реалистических стандартов рефлексивная визуальная антропология (Горных, 2007: 43–47). Использование съемки как инструмента доступа к естественно протекающим событиям отходит на второй план.

Иключение составляют Маргарет Мид и Грегори Бейтсон, которые внесли большой вклад в развитие метода и способствовали его концептуальному обоснованию в социальной науке. В 1930-е гг. они использовали кинопленку для записи и каталогизации практик изучаемых ими сообществ. Бейтсон и Мид проводили различия между документальной съемкой и их способом съемки: в полевой работе они стремились фиксировать на камеру спонтанные, естественно происходящие повседневные эпизоды, а не просили информантов воспроизвести специально отобранные нормативные образцы поведения (Bateson, Mead, 1942: 49; Heath, Hindmarsh, Luff, 2010).

В 1955 году психиатром Фридой Фромм-Рейхман был инициирован междисциплинарный проект «Естественная история интервью» (*The Natural History of an Interview*) (McQuown, 1971). Проект проводился Центром передовых исследований

в области поведенческих наук в Пало-Альто. Исследовательская группа помимо психологов включала антропологов и лингвистов; среди ее членов был Бейтсон. Изначальным объектом анализа служили записи психотерапевтических сеансов, но также обыденного поведения людей (Erickson, 2011; Heath, Hindmarsh, Luff, 2010: 9; Mondada, 2008: 5).

Важным итогом исследования была демонстрация того, как плотно связаны телесные действия и речь; участники пришли к опровержению концептуальной установки, предписывающей изучать эти уровни обособленно и независимо друг от друга. Проект стал началом для дальнейших разработок его участников и повлиял на взгляды многих социальных ученых. Рэй Бердвестел развивал кинесику (изучение процессов коммуникации через движения тела) (Birdwhistell, 1970), а Альберт Шеффлен (Schefflen, 1972) и затем Адам Кендон (Kendon, 1990) — подход, который был назван «контекст-анализом» (Context Analysis) («контекстуальность») указывает на то, что наблюдаемые жесты и действия необходимо рассматривать в связи друг с другом). Исследователи изучают движение как упорядоченную культурную форму (Birdwhistell, 1970: xi), структуры коммуникации на микроуровне и организацию взаимодействия лицом-к-лицу (Kendon, 1990: 15–16). Хуберт Кноблаух замечает, однако, что тщательный и подробный анализ визуальной деятельности (visual conduct), итогом которого становится разложение на последовательные элементы (кинемы или жесты), не приводит к созданию какой-то единой картины (Knoblauch, 2006: 70).

Одновременно к видео стали обращаться ученые, работавшие в области конверсационного анализа. Вследствие интереса к способам организации разговора изначально они фокусировались на аудиозаписях, однако уже в 1973 году материалом для работ Харви Сакса, Эммануэля Щеглоффа и Гейл Джейферсон послужили созданные несколькими годами ранее Чарльзом и Марджори Гудвин видеозаписи обыденных социальных ситуаций. Чарльз Гудвин защитил диссертацию, основанную на анализе видео, в 1977 году (Goodwin, 1981). Одним из первых исследований по систематическому описанию положений тела во взаимодействии стала работа о «начальной позиции» (home position), созданная Щеглоффом и Саксом и впервые презентованная в 1975 году уже после смерти Сакса (Sacks, Schegloff, 2002; Mondada, 2008: 4).

Несмотря на слабый интерес к использованию видео в качестве исследовательского инструмента в социологии в послевоенные годы, в последние десятилетия наблюдается рост числа работ, фокусирующихся на аудиовизуальных данных. В 1980-е и 1990-е годы были опубликованы ставшие классическими для подхода книги и статьи по итогам эмпирических исследований, такие как «Планы и ситуативные действия» Люси Сачмен (Suchman, 1987), «Движение тела и речь в медицинском взаимодействии» Кристиана Хита (Heath, 1986) и «Профессиональное зрение» Чарльза Гудвина (Goodwin, 1994).

Сегодня в социологии основными областями, где используется видеоанализ, являются исследования рабочих мест (Workplace Studies) (Luff, Hindmarsh, Heath,

2000) и исследования науки и технологий (Science and Technology Studies) (Heath, Luff, 2000). Исследователей интересуют ситуации как внутри «рабочих мест» — включенные в повседневную рабочую деятельность представителей самых разных профессий — так и ситуации обучения определенным навыкам, практикам и техникам. Исследования рабочих мест при помощи анализа видео стремятся описать собственно работу, производимую участниками: практики, внимание объекта к которым может быть ослаблено из-за их микроскопического и рутинного характера, так, что они не окажутся упомянутыми в интервью и их легко упустить в наблюдении. В ситуациях обучения за счет проблематизации привычных практик, проговаривания подробностей и указания на значимые детали, становится виден порядок их социальной организации.

Методология анализа аудиовизуальных данных, обогащенная этнографическими и интеракционистскими ресурсами, также заимствуется смежными дисциплинами, такими как исследования образования, исследования медицины, организационная этнография и культурная география.

В антропологии и культурной географии натуралистическая установка является способом преодолеть кризис презентации, освоить иные формы данных и иные отношения с объектом: «Техники видео обладают большим потенциалом для того, чтобы быть мощным дополнением к существующему набору репрезентационных методологий — в качестве важного компонента расширяющейся коллекции более-чем-репрезентационных техник» (Lorimer, 2005: 251). Прослеживание истории развития натуралистического изучения повседневного взаимодействия тем не менее позволяет заключить, что изначально обращение к съемке не было вызвано желанием преодолеть логоцентричность социальной науки, добиться аутентичности, недостигаемой наблюдением, заменить субъективный взгляд исследователя объективной камерой. В этом плане оформление данного подхода можно поместить несколько в стороне от дискуссий о рефлексивности и позиции исследователя. Это скорее было последовательным продолжением техники подробной записи разговора, возможность которой предоставила пленка и которой умело воспользовались представители конверсационного анализа.

Особенности видеоанализа

Социальных ученых, использующих в своей работе видео, интересуют «аудиовизуальные аспекты действующих людей» (Knoblauch, Schnettler, Raab, 2006: 11). Как правило, рассматривается взаимодействие (в частности — фокусированное) двух и более участников ситуации (Knoblauch, Schnettler, 2012). Чем больше участников, тем ситуация сложнее: одновременно происходит множество действий и реакций. Видеоанализ делает видимыми организацию и работу по достижению определенных практических действий, схватывает индексичный и эмерджентный характер социального действия.

Доступ к естественно разворачивающимся ситуациям и рутинным практикам

Видео позволяет проводить *натуралистические* исследования, фиксировать естественный порядок. Интервьюируемый человек находится вне обстоятельств его обыденной жизни, которая является предметом интервью (ten Have, 2004: 84), и то, что удается получить в этом случае, — специально сконструированное описание, спровоцированное исследователем и оторванное от практик. Для того чтобы понять обстоятельства обыденной жизни, нужно наблюдать естественно происходящие ситуации.

Такую же возможность предоставляет и метод наблюдения. Тем не менее наблюдение не позволяет проверять гипотезы, отсылая к деталям события, и смотреть на микроскопический уровень взаимодействия, воспроизводя заново и замедляя запись. Десятисекундное видео может содержать сотни практик. Человек, у которого спрашивают о его привычках и действиях, не сможет воспроизвести и части из них, поскольку не обращает внимания на это.

Видео позволяет говорить об иначе труднодоступных для анализа *рутинных* способах действия. Способы организации социального порядка трудно заметить в тот момент, когда происходит взаимодействие. Видео является инструментом для рассмотрения иначе невидимых практик, действий и феноменов порядка. Анализ того, как и на что ориентируются люди во взаимодействии, позволяет обнаружить ситуативные структуры релевантности — практические, а не предложенные участниками ситуации постфактум.

Мультимодальность и участие объектов во взаимодействии

Вideoанализ схватывает *мультимодальность* действия (Stivers, Sidnell, 2005; Турчик, 2011; Streeck, Goodwin, LeBaron, 2014). Он дает возможность реконструировать «оркестровку» взаимодействия: речи, взглядов, движений, рассматривать, как изменяются выражения лица, координируются положения тел в пространстве, замечаются и демонстрируются те или иные жесты, как говорящие ориентируются на невербальные реакции слушателей. Съемка позволяет увидеть, что во взаимодействии участвуют не просто «говорящие» и «слушающие», периодически сменяющие друг друга. Люди чувствительны к разнообразным реакциям; в согласование поведения вовлечены и визуальные, и телесные сигналы.

В videoанализе любое высказывание должно рассматриваться в сочетании с тем, что в этот момент происходит: например, куда смотрят или на что указывают рукой участники ситуации. Эриксон, однако, с сожалением замечает, что вербальное поведение зачастую воспринимается исследователями как обладающее приоритетом (Erickson, 2011). Даже в областях, где запись происходящего на видео стала популярным способом сбора данных, взгляд камеры следует за говорящим, а на последующих стадиях исследования транскрипт часто сводится к тому, что сказано, и игнорирует или ставит на второй план действия.

Аудиовизуальные данные открывают доступ к тому, как во взаимодействии участвует *обстановка, материальные объекты и технологии* (Heath, Hindmarsh, Luff, 2010: 87–97; Hindmarsh, Heath, 2000; Nevile et al., 2014a). Они дают возможность не игнорировать физическую среду, в которой происходит взаимодействие, но и не понимать ее как определяющую события, а отслеживать и описывать, на какие характеристики обстановки ориентируются участники ситуации, какие ее детали или свойства становятся релевантными. Анализ позволяет описывать роль объектов как ситуативных ресурсов и интеракционную организацию объектов как практических достижений (Nevile et al., 2014b: 4).

Секвенциальность как ключ к анализу

Видео подходит для того, чтобы подробно изучать темпоральный аспект разворачивающегося действия. Временной порядок важен, так как последовательность — одна из основополагающих черт взаимодействия. Вслед за представителями конверсационного анализа исследователи применяют «имманентный критерий секвенциальности», гласящий, что всякий жест, высказывание, взгляд является частью последовательности (Knoblauch, 2009: 30). Каждое действие рассматривается как определенное предшествующим и последующим действием.

Кроме способов анализа, диктуемых этнometодологическим подходом, существуют и другие возможности обращения с видео. Кроме секвенциального анализа, в интерпретативной видеографии может применяться жанровый анализ, герменевтика, обоснованная теория (Knoblauch, Schnettler, Raab, 2006: 13; Raab, Tänzler, 2006). Чарльз Гудвин предлагает говорить о разных семиотических полях, на которые ориентируются люди в ситуации взаимодействия (Goodwin, 2000). Хотя этнometодологи рассматривают видеофрагменты обособленно, как случаи, исследователи также могут составлять каталоги практик и феноменов, выявлять наиболее распространенные паттерны, сравнивать ситуации.

В итоге анализ видео дает возможность описать и каталогизировать методы и практики, которые люди используют в повседневной жизни для того, чтобы сделать свои действия различими и понятными для других и придать им смысл. Результат исследований не сводится к доказательству того, что социальный порядок на уровне повседневных ситуаций складывается из взаимосвязанных и скоординированных действий: помимо этого, всякий раз исследователи демонстрируют, что это за порядок, описывают, как организовано взаимодействие, как именно в нем участвуют речь, тело, взгляды, жесты, материальная среда. Изучение взаимодействия посредством видео позволяет перейти от утверждений на уровне обобщения к тому, как практики и методы работают в конкретной социальной ситуации. Благодаря результатам исследований можно репрезентировать концептуальные схемы (Laurier, 2014a), уточнить и проблематизировать социологические понятия, описать, как именно те или иные фигурирующие в теории феномены «делаются» людьми на уровне обыденного социального порядка.

Свойства и методологические проблемы видео

Роль технологий

История того, как постепенно снимаются технические и материальные ограничения, в разное время бывшие проблемой и поводом для дискуссий о съемке, — это отдельная тема, которую формат данной статьи не позволяет обсудить подробно, но которая стоит упоминания. Развитие использования кино- и видеозаписи происходит совместно с развитием технологий (которые и сегодня не совершенны и вызывают новые сложности). Появилась возможность синхронной записи звука, аппаратура стала более доступной, камеры стали мобильными.

Для обработки видео, каталогизации и кодирования файлов, подготовки фрагментов для презентации могут использоваться и базовые программы вроде iMovie, но часто задействуется специальное программное обеспечение, созданное для исследовательских целей: Noldus³, Transana⁴, ELAN⁵ и др.

Разумеется, технологии не нейтральны. Камера не обеспечивает беспристрастность взгляда и не очищает наблюдение от субъективности: она видит то, что видит исследователь. Нужно помнить, что и в программном обеспечении, которое используется для монтажа видео, заложена определенная идеология. Мы сталкиваемся с ней в форме определенных интерфейсов и доступных пользователю функций, таких как возможность установления синхронности и разделения «дорожек», замедление, раскадровка, добавление графических символов (интеграция транскрипта в видео) или кадра-в-кадре (например, совмещение съемки с несколькими ракурсами в одном окне).

Насыщенность и способы представления данных

Видео фиксирует происходящее чрезвычайно полно и подробно. Это, с одной стороны, представляет большое преимущество метода, но с другой — вызывает затруднения при анализе (Knoblauch, Schnettler, Raab, 2006: 14). Исследователю необходимо определять границы ситуации, выбирать, с какого момента действия начать анализ, какие аспекты стоит включать в рассмотрение, а какие нет. Многообразие действий, комплексность изменений, насыщенность деталями сопротивляются интерпретации. «Но, пожалуй, наиболее значимая проблема заключается в том, что аудиовизуальные записи повседневной деятельности — как данные — не всегда перекликаются с теориями, понятиями и темами, формирующими основные подходы к исследованиям в социальной науке» (Heath, Hindmarsh, Luff, 2010: 10).

Со сложностью производимых данных связана проблема транскрипции видео (Mondada, 2007). В конверсационном анализе есть принятая система транскриби-

3. <http://www.noldus.com/human-behavior-research>

4. <https://www.transana.com/>

5. <https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/>

рования: помимо произнесенных слов, записывается смех и особенности произнесения конкретных слов (растянутые слоги, громкость, скорость речи), фиксируется продолжительность пауз, графически отображаются реплики собеседников, накладывающиеся друг на друга (Сакс, Щеглофф, Джейферсон, 2015). Но конверсационный анализ сам по себе учитывает только аудиальные данные. Когда речь идет об аудиовизуальных данных, деталях, требующих записи, становится существенно больше. Появляется необходимость особым образом организовать транскрипт, учитывая не только темпоральность действия, но также взаимное расположение и перемещение тел и предметов, направление взглядов, характер жестов.

Учитывая, что транскрибирование является разновидностью — или, по крайней мере, частью — анализа, и, соответственно, его способы связаны с конкретными исследовательскими задачами, единая система транскрипции не только невозможна, но и не нужна. Для разных вопросов и задач будут релевантны разные аспекты и актуальны разные наборы категорий. Исследователи адаптируют существующие образцы и находят ситуативные решения, разрабатывая техники перевода наблюдаемых действий в письменную форму для конкретного проекта и объекта. Специфическим, например, может быть то, что ученых интересует взаимодействие с компьютером, и нужно фиксировать изменения экрана и ввод определенных команд при помощи клавиатуры (Heath, Hindmarsh, Luff, 2010: 93–95).

Распространенный способ составления транскрипта фокусируется на разговоре, дополняя его деталями действия (иногда также снабжая транскрипт последовательными кадрами из видео, которые снимают необходимость в подробностях описывать обстановку, позы и расположение участников взаимодействия). Базовые принципы таковы. Над строкой разговора человека располагается линия ориентации его или ее взгляда (Goodwin, 1981), обозначающая, в какой момент взгляд фокусируется на собеседнике или отводится. Для каждого участника также есть строка, где помечаются действия и их продолжительность — в виде отрезка, фиксирующего начало или конец действия («листает страницы»), либо в виде стрелки, указывающей на единовременное событие («нажимает кнопку»). Так как темпоральный аспект разворачивания взаимодействия является важным для секвенциального анализа, существуют способы соблюдать и визуализировать хронометраж ситуации. Иногда транскрипт сначала создается на профильной чертежной бумаге — чтобы равные отрезки (обычно по одной десятой секунды) могли служить системой координат для отметки границ действий или событий (Laurier, 2014b; Heath, Hindmarsh, Luff, 2010).

В качестве альтернативы способу транскрипции, основывающемуся на разговоре, для анализа движений и жестов существуют графические системы записи. Например, предпринимались попытки адаптировать так называемую лабанотацию (по имени создателя — Рудольфа фон Лабана), изначально разработанную для записи движений в танце, для антропологических исследований (Farnell, 1994). Можно упомянуть «кинеграфы» Рэя Бердвестела (Birdwhistell, 1970), и условные обозначения выражений лица, используемые Адамом Кендоном (Kendon, 1975).

Все эти системы приспособлены для того, чтобы описывать характер действий, однако обычно не применяются для создания транскриптов повседневных взаимодействий в социологии. Подобные записи, напоминающие «пляшущих человечков», формулы и геометрические узоры, довольно сложно расшифровывать; к тому же они более удобны для индивидуального действия, но не имеют удачного способа отображения скоординированных действий людей.

Транскрипт не замещает данных, а служит помостью в анализе и средством анализа. Задача создать транскрипт — это повод многократно пересмотреть интересующий фрагмент. Его составление заставляет задавать вопросы и определять, как можно представить происходящее: какова последовательность, какие действия являются мотивированными другими действиями, в какой момент новые объекты вступают во взаимодействие, какова структура релевантностей для участников ситуации. Переописание и записывание наблюдаемых взаимодействий позволяют выявить детали координации и ориентации действий.

Использование камеры позволяет в меньшей степени опираться на вербальные описания и делать анализ более «визуальным». Раскадровка является способом указывать на видимые и исследователю, и аудитории аспекты действия. Лорье предлагает обращаться — не на этапе анализа, но на этапе презентации исследования — к различным графическим форматам: не только отредактированным кадрам из видео и зарисовкам, но и картам, схемам, комиксам (Laurier, 2014b). Исследователи взаимодействия используют в презентации и сами видеофрагменты. В последнее время это стало возможным сделать как в докладах, так и в некоторых журнальных публикациях онлайн. Кристиан Хит, Джон Хайндмарш и Пол Лафф, однако, предостерегают от того, чтобы использовать видео в качестве иллюстраций к тезисам: скорее, они должны быть частью аргумента (Heath, Hindmarsh, Luff, 2010).

Воспроизводимость записей

Фундаментальное свойство видеозаписей — их воспроизводимость. В этом их принципиальное отличие от обычного наблюдения: в отличие от заметок, сохраняющих только отобранную часть информации о событии, видео может вновь передаваться в почти неизменном виде. Для процесса исследования это означает две вещи: возможность повторения и возможность распространения данных.

За счет повторения исследователю дается возможность смены фокуса, приближения, замедления: «В отличие от других форм научных данных, здесь существует возможность взять „тайм-аут“, воспроизвести запись заново, чтобы перефразировать, пере-фокусировать и пере-оценить аналитический взгляд» (Heath, Hindmarsh, Luff, 2010: 6). Воспроизведение снова и снова делает происходящее на видео все более непонятным, обращает внимание на новые детали взаимодействия, проявляет в нем способы организации порядка, кажущегося на первый взгляд самим собой разумеющимся. Наряду с остранением через нарушение ожи-

даний (как в известных этнometодологических экспериментах) это может происходить через записывающее устройство (ten Have, 2004: 42), которое позволяет повторять фрагменты множество раз, транскрибировать мельчайшие детали и рассматривать связь между ними.

Распространение данных предоставляет возможность коллективной работы: «видеозапись предполагает минимальное участие, но потенциальную множественность наблюдателей и интерпретаторов» (Laurier, Philo, 2006: 188). Доступность видео позволяет проверять наблюдения автора исследования, отрабатывать разные гипотезы и находить все новые особенности организации социального порядка, зафиксированные камерой. За счет соотнесения своих интерпретаций действия с тем, как видеофрагмент понимают другие зрители, исследователем достигается «субъективная адекватность» (Шюц, 2004б: 43–44; Knoblauch, 2012).

Исследователи, работающие в рамках этнometодологической традиции, практикуют встречи для совместного обсуждения видеоданных — дата-сессии (data sessions). Они организуются для того, чтобы в небольшой группе просматривать короткие видеофрагменты, собранные в рамках определенного проекта — не обязательно коллективного. Тот, кто предоставляет данные, подготавливает несколько фрагментов видео, обычно не длиннее 30 секунд каждый, и черновой вариант транскрипта (что позволяет на собрании не тратить много времени на расшифровку происходящего). Правила обсуждения не заданы строго, однако важной является установка держаться как можно ближе к данным: любое наблюдение, догадка, вопрос или гипотеза должны подтверждаться конкретными деталями в зафиксированном на видео. Хотя время от времени возникает необходимость выйти за рамки короткого ролика и пояснить, что происходило до или после, вспомнить похожие случаи из других исследований и т. д., основным предметом обсуждения является именно выбранный видеофрагмент. Он служит и источником вопросов, и ресурсом для поиска ответов на них.

Обычно дата-сессии имеют слабо очерченный фокус. Автор исследования вкратце рассказывает о своей теме, и после этого участники обсуждения не обязаны придерживаться того же исследовательского вопроса: они могут указывать на любопытные, с их точки зрения, детали взаимодействия и тем самым обогащать понимание того, как организована ситуация в целом.

Работа камеры и работа с видео

Очевидная проблема, которая возникает при организации видеозаписи, — это влияние присутствия камеры на действия людей. Задача зафиксировать повседневное взаимодействие в его естественном виде оказывается невыполнимой, поскольку устройство постоянно напоминает о ситуации исследования. Все происходящее становится «постановочным», объекты наблюдения ведут себя не так, как они вели бы вне ситуации съемки, корректируют свои действия.

Многие указывают на то, что участники исследования довольно быстро перестают обращать внимание на присутствие камеры: «в то время как камера всегда присутствует в обстановке, она отнюдь не всегда релевантна» (Laurier, Philo, 2006: 184). Когда состав наблюдаемых остается неизменным и люди заняты собственными делами, первое время съемка может быть предметом внимания, шуток, причиной дискомфорта, но вскоре о ней забывают или воспринимают как нечто естественное. В публичных местах взаимодействие с камерой обычно кратковременно (взгляд в объектив, иногда шутливое приветствие), далее она перестает быть релевантной ситуации.

Как утверждают Хелен Ломакс и Нил Кейси, настаивать на том, что камера нейтральным образом воспроизводит взаимодействие и не влияет на ход событий, так же как и на том, что видеозапись должна быть исключительно скрытой или использоваться в сочетании с другими методами, обеспечивающими валидность наблюдений, ошибочно. «Мы не можем наблюдать мир, не присутствуя в нем» (Lomax, Casey, 1998: § 8.5); но полученные данные не являются непроправимо испорченными вмешательством ученого в социальные ситуации. Исследователь (один, в сочетании с камерой, или замещенный камерой) участвует в производстве порядка взаимодействия наряду с объектами наблюдения. Изучение того, как это происходит, помогает не только осуществлять методологическую рефлексию, но и дополнить ответ на содержательный вопрос исследования.

Мид и Бейтсон придерживались противоположных взглядов на выбор принципа съемки. Мид выступает за длительную съемку со штатива, аргументируя это тем, что такой способ схватывает максимально естественное действие и не приносит дополнительных — лишних — тематизаций и сюжетов. Если снимать достаточно долго, рано или поздно камера зафиксирует интересующие исследователя феномены, возникающие и протекающие естественным образом. Бейтсон же был против «мертвой» камеры, зафиксированной в одном и том же месте, и считал, что необходимо следовать за действием (Heath, Hindmarsh, Luff, 2010: 40–42).

Видео — через использование камеры — делает особенно явным то, что исследование есть результат решений, принимаемых исполнителями, но также и итог того, что предписывает обстановка, в которой собираются данные. Степень освещенности, размер и детальность используемых объектов, шум, перемещения людей определяют, как можно и как следует разместить видеокамеру, куда направить объектив, какое расстояние оставить до наблюдаемого действия. Пример приводит Кэти Бест: мемориальный музей позволял постоянно ставить камеру в одной и той же точке, так как комнаты были небольшими и экскурсовод всегда размещал группу одинаково; в Музее Виктории и Альберта всякий раз приходилось выбирать новое место, исходя из наполненности зала и местоположения экскурсионной группы (Best, 2008).

Выбор положения камеры — это аналитический и практический выбор. Исследователь должен найти компромисс между тем, чтобы записать происходящее максимально детально, и тем, чтобы минимизировать свое вмешательство во

взаимодействие (Best, 2008: 51). Либо камера расположена близко и заметна, но фиксирует все детали и позволяет анализировать едва заметные жесты, взгляды, улавливает тихие звуки, либо камера удалена и не вмешивается в ситуацию, но и не различает подробности. Другой вопрос — как следует направлять съемку, чтобы она улавливала релевантные действия? Исследователи советуют стараться обеспечить как можно более широкий угол обзора. В таком случае не придется постоянно беспокоиться о том, что запись не зафиксировала начало взаимодействия, которое могло быть инициировано посредством взгляда или жеста еще до того, как наблюдаемые приблизились друг к другу; или удастся заметить объекты в отдалении, на которые реагируют участники ситуации. Кристофер Фило и Эрик Лорье говорят о том, что бесполезно пытаться следовать камерой за действием, изменяя направление съемки по ходу, т. к. как только исследователь решил представить камеру, это значит, что действие уже началось и поэтому следить за ним поздно, момент начала упущен (Laurier, Philo, 2006: 182–183).

Одновременная съемка несколькими камерами, а затем совмещение записей — несколько экранов в одном — дает возможность направлять взгляд на действие, происходящее в разных местах и даже противоположных сторонах, а значит — отслеживать реакции. Типичный случай — ориентация одной камеры на улицу перед машиной, а второй — на сидящих в автомобиле людей (Laurier, 2014a), чтобы понять, куда направлено внимание участников ситуации, в какие моменты они смотрят друг на друга, а когда — на дорогу, части приборной доски или предметы в руках пассажира. Или общий план дискуссии, происходящей между сидящими за столом людьми, и съемка сверху движений рук, бумаг, предметов, расположенных на столе. При изучении практик взаимодействия с технологиями возникает необходимость совмещать видеозапись действий пользователя с изменениями, отображаемыми на экране, или фиксировать не только направление взгляда или головы, но и движения рук на клавиатуре. Действие, расположенное в разных местах, затем при помощи монтажа «собирается» на едином экране. Исследователь совмещает фрагменты по хронометражу, конструируя видео как запись одного и того же непрерывного события.

Другая характерная черта видео заключается в том, что оно допускает анализ второго порядка: изучение того, как создается, обсуждается, разбирается и демонстрируется видео. Это делает возможной рефлексию о статусе данных и способах производства знания, исследование практик самих ученых (Mondada, 2006; Tutt, Hindmarsh, 2011; Antaki et al., 2008). Так, например, анализируя собственные data-сессии (Knoblauch, Schnettler, 2012), Хуберт Кноблаух и Бернт Шнеттлер показывают, что видео не рассматривается как объективное свидетельство, не задает жесткий способ прочтения событий — в ходе обсуждения запись взаимодействия превращается участниками в опыт, она не просто реконструируется, а осмысляется при помощи интерсубъективных идеализаций (Шюц, 2004б). Важно, что процесс анализа не начинается только в момент, когда ученый садится за написание статьи, доклада или отчета. Он происходит и во время съемки, и при обработке

и монтаже записи или создании транскрипта, и в ходе индивидуального анализа или группового обсуждения видеофрагмента. Это феномены, интересные исследователям как обыденные практики производства научных объектов, ведения дискуссии, создания общей интерпретации и так далее.

Термин «видеоанализ» не заключает в себе указания на конкретный содержательный интерес или методологическую приверженность; так можно было бы обозначить и работу сотрудника телевидения, и наблюдение, осуществляющее службой безопасности. Рене Тума называет такие обыденные (а не исследовательские) практики обращения с видео бытовым (*vernacular*) видеоанализом (Tuma, 2012). Видео широко используется самим объектом — например, для обучения врачей или для мониторинга диспетчерами или охраной состояния транспортной системы. Эта тема обсуждается и изучается исследователями рабочих мест и взаимодействия с технологиями (см. например: Broth, Laurier, Mondada, 2014).

Практики смотрения различаются в зависимости от того, что является интересом, что ищут смотрящие; в чем состоит рабочая задача (найти сбой? указать на способ действия, которому кого-то нужно научить?); также — как просматривается видео (дата-сессия или демонстрация видео в суде существенно отличаются от мониторинга в реальном времени). Исследователи стремятся описать способы организации социального порядка, поэтому они видят обмен взглядами, взаимную ориентацию, паузы, распределение агентности, очередность действий. «Профессиональное зрение» сотрудника метрополитена разглядит в том же фрагменте нечто другое, например, отсутствие или наличие потенциально опасных ситуаций, нормальное и подозрительное поведение. Предпосылка о том, что люди ориентируются друг на друга во взаимодействии, или вопрос, как регулируются траектории при перемещении людей на станции, не будут для него релевантными.

Восстановление контекста

Достаточно ли только просмотра видео, чтобы понять происходящее? Существуют разные взгляды на роль полевой работы, и условно можно выделить приверженцев этнографического взгляда и этнometодологического, дающих разные ответы на этот вопрос.

Представители видеографии считают, что без дополнения традиционными формами этнографических данных — наблюдения, анализа документов, бесед с наблюдавшими о том, что происходит или произошло — невозможно содержательно работать с данными видео (Knoblauch, 2009). Нужно представлять, что происходит за кадром, уметь считывать локально используемые значения и символы, понимать общий контекст. Кноблаух говорит об анализе видео как о разновидности фокусированной этнографии (Knoblauch, 2005). Если в традиционной этнографической работе обязательным условием является длительное пребывание в поле, а итогом становится описание культуры определенной группы, социальных структур и смыслов, видео делает акцент на процессах коммуникации, на том, как

смыслы производятся и участвуют в ситуациях (Кноблаух, 2009: 23). Видеография сжата по времени и в пространстве, краткий срок полевой работы компенсируется интенсивностью сбора данных и их анализа.

Исследователи, работающие в рамках этнometодологического подхода, не отрицают значения полевой работы, но скорее ориентируются на анализ видеозаписей отдельно от нее. Они готовы ограничивать перспективу рассмотрением строго того, что происходит в кадре (без апелляции к некоторым разделляемым смыслам, особенностям изучаемого сообщества, локальному знанию). Видеофрагменты, которые анализируются этнometодологически настроенными исследователями, обычно чрезвычайно непродолжительны: используются короткие, 10–15-секундные отрывки. Для анализа таких фрагментов нужно довольно подробное понимание контекста, когда речь идет, например, о деятельности сотрудника службы охраны в аэропорту или даже компьютерных играх, но в случае повседневных ситуаций, как правило, контекст доступен всем участникам. «...социальная жизнь в публичной сфере организована в основном на базе визуальных проявлений и их молчаливой интерпретации, и чтобы понять эту организацию, не нужно иметь доступ к „мотивам“, вербализованным самими субъектами. Было бы достаточно... использовать свои ресурсы членства, ориентированные на визуальные проявления, чтобы проанализировать визуальную организацию повседневной жизни» (ten Have, 2003: 30). Здесь мы находим еще одну потенциальную причину невнимания социологического мейнстрима к анализу видеоматериалов. Естественным желанием социолога было бы расспросить наблюдавших об их действиях. Дело в том, что социология, по утверждению Пауль тен Хаве, опирается на общее представление, что мотивы предшествуют действию, и значит, действия доступны пониманию благодаря той информации, которую актор может дать о своих мотивах впоследствии. Но есть и альтернативный способ представить эту последовательность — слова актора как объяснение, сконструированное постфактум (ten Have, 2003: 30–31).

Фиксация социального взаимодействия при помощи видеозаписи дает ощущение, что данные сохранены во всей своей полноте. С этой иллюзией необходимо бороться, указывают исследователи (Корбут, 2012): сохранять ориентацию на полевую работу и в пределе — самостоятельно осваивать способы действия, отвечая этнometодологическому требованию уникальной адекватности. Не стоит использовать запись видео как технику, замещающую наблюдение. Хотя, действительно, в этом случае «работа по наблюдению перемещена из поля на экран компьютера или телевизора» (Laurier, Philo, 2006: 188), это не изощренный способ избежать выхода в поле.

Пример: изучение социального взаимодействия в музее

На примере одного объекта — посетителей музеев — мы рассмотрим, что привносит использование видео для анализа повседневного взаимодействия, как может

выглядеть процесс сбора и анализа данных и с какими проблемами сталкивается исследователь.

Микросоциологические исследования посетителей музеев сосредоточены на том, как происходит освоение пространства и экспонатов, как выстроено взаимодействие со спутниками и с незнакомыми людьми. Анализируя видеоматериалы, авторы этих работ показывают, как организована интерпретация классического и современного искусства (Steier, Pierroux, Krange, 2015; Farkhatdinov, 2014): как в этом участвуют тела посетителей, жесты и разговор, как можно переопределить аудиторию и восприятие искусства через ситуативные практики. Другие исследователи занимаются рассмотрением существования интерактивных объектов в музее. Обычно такие экспонаты нацелены на то, чтобы стимулировать коммуникацию, рефлексию, экспериментирование. Социологи демонстрируют, что объекты, основанные на компьютерных технологиях, за счет ограниченного представления об индивидуальном пользователе могут мешать коммуникации и исключать из нее посетителей, которые не включены во взаимодействие с технологией напрямую (Heath, vom Lehn, 2008); и с другой стороны, изучают, как посетителям удается обходить жестко предписанные сценарии освоения экспоната (Laursen, 2012). При помощи видео исследователи подвергают критике традиционное представление об опыте посетителей музея как опосредованном прежде всего визуальным восприятием: они анализируют, как организована динамика разных режимов взаимодействия, включающих телесность (Christidou, Diamantopoulou, 2016).

Большинство исследований посетителей музеев опираются на данные опросов и интервью; наблюдение традиционно использовалось для того, чтобы подсчитать и визуализировать наиболее распространенные траектории движения, популярные и пропускаемые участки экспозиции (Максимова, 2014). Но вопросы, заданные посетителям вне непосредственного опыта освоения музея, заставляют их задумываться о вещах, которые они могли пропустить или не заметить, рассказать о впечатлениях, которые далеко не всегда оформлены в слова. Видеоанализ позволяет не упустить актуальные для ситуации посещения детали взаимодействия.

Можно сосредоточиться на посещении музея как конкретном маршруте по экспозиции, и рассматривать именно движение от входа до выхода, обращая внимание на то, как происходит ориентация в пространстве, выбор направления, что привлекает внимание людей, как принимаются решения о том, куда идти дальше; тогда смысл имела бы камера, «следующая» за посетителем. Но в рамках нашего исследования мы сосредоточены на материальном измерении музея и выделяем взаимодействие с объектами как значимую единицу посещения. Несомненно, взаимодействие с экспонатами — не исключительная деятельность, в которую вовлечены посетители (кроме этого, они сидят, ждут, стоят в очередях, делают покупки, разговаривают между собой, читают схему залов, осматриваются, фотографируются и т. д.). Тем не менее демонстрация объектов людям — определяющая черта музеев. Кроме того, как было отмечено выше, именно использование видео по-

зволяет в подробностях анализировать участие материальных объектов во взаимодействии.

Исходя из этих соображений, предметом наблюдения был не маршрут, а взаимодействие у объекта/с объектом. Поэтому камера была статичной. Она устанавливалась на штативе в точках, где это безопасно для прохожих и откуда можно получить достаточно широкий угол обзора, чтобы в кадр входили несколько экспонатов или один экспонат и пространство вокруг него. Это было важно, так как взаимодействие с объектом обычно не начинается непосредственно вблизи объекта: его замечают, привлекают внимание спутников, сначала смотрят, а затем подходят.

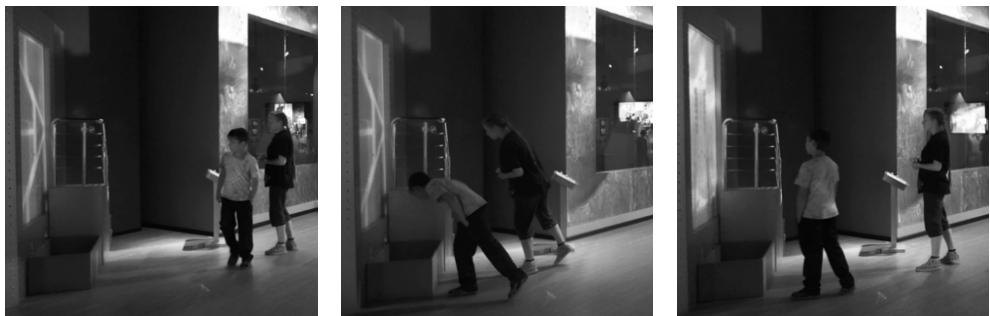
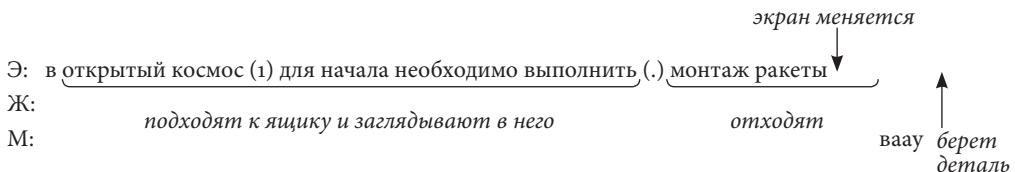
Фрагмент, рассмотренный ниже, длится 8 секунд⁶. На нем зафиксировано то, что происходило вскоре после того, как женщина и мальчик подошли к интерактивному экспонату, имитирующему запуск ракеты, и нажали кнопку, включающую экспонат. Первое впечатление наблюдателя при просмотре: «здесь ничего не произошло» (из-за этого довольно сложно отбирать фрагменты для анализа — на первый взгляд они все кажутся недостаточно интересными). Ракета не запущена, не состоялось никакого диалога, не наблюдается явных реакций, посетители только-только начинают выяснять, что они должны сделать. Таким же образом происходит неинтересно для участников взаимодействия; скорее всего, посетители описывали бы свои впечатления от экспоната, понравилось ли им, было ли познавательно, сложно, — но не практики. Вспомнить порядок и координацию действий мальчику и женщине было бы трудно, пришлось бы говорить о том, как это устроено в их представлении.

При составлении транскрипта точкой отсчета, на которую графически накладываются остальные действия, было решено сделать текст, воспроизводимый при запуске экспоната и, по сути, озвучивающий смысл и инструкции взаимодействия с объектом. Первая строка — это закадровый голос (видео начинается на середине предложения). Вторая строка — действия женщины; на протяжении фрагмента она молчит. Третья — действия и высказывания мальчика. Цифры в скобках обозначают примерное время паузы между словами (в секундах), точка в скобках (.) обозначает короткую паузу. Курсивом выделены действия. Прямоугольная скобка отделяет период, в течение которого совершается соответствующее действие (или несколько, если они совершаются одновременно, как, например, приближение к ящику с деталями и наклон/взгляд вниз).

Транскрипт позволяет отобразить порядок действий и в данном случае — их совместность и синхронность. В то же время в нем не отображается манера их выполнения: то, что женщина находится позади мальчика, то, что, отодвигаясь от экспоната, она делает несколько шагов назад, а мальчик, хотя и отходит, остается довольно близко к ящику и экрану. В какой-то момент приходится ограничить кадр и в целях анализа представлять его как отдельную ситуацию: например, в

6. Фрагмент доступен для просмотра онлайн и скачивания: <https://drive.google.com/file/d/oB-njWpcgBmriZoF1ckweW5lSzQ/view>

данном случае мы не рассматриваем то, что происходит за спиной двух посетителей⁷. Транскрипт указывает на некоторые особенности действия, но реконструировать ситуацию по нему невозможно. Он мог быть составлен иначе, получившаяся запись — только один из вариантов.



Пересмотрев видеофрагмент несколько раз, обдумав свои решения при составлении транскрипта, наблюдатель может выделить множество нюансов взаимодействия даже за такой непродолжительный период. Например, заметно, что мальчик, направляясь к экспонату, меняет траекторию движения: сначала идет влево, а затем поворачивает правее, прямо к экрану и ящику. Почему он меняет направление? Если мы обратим внимание на направление его взгляда, ответ будет: потому что замечает, что в ящике под экраном что-то находится. Этот эпизод показывает, как устроено понимание объектов. Музейные исследования часто фокусируются на том, как посетители осваивают и интерпретируют экспонаты. Представление посещения как повседневного взаимодействия дает возможность увидеть понимание не как когнитивное, скрытое от глаз, явление, а как социально организованный процесс. Ориентация на отдельные элементы экспоната, обнаружение допустимостей, которые эти элементы задают, — это часть вписанной в объект «инструкции», не запланированной заранее создателями экспозиции, а всякий раз создаваемой в конкретных ситуациях взаимодействия.

Другой вопрос, например, можно задать по поводу того, что оба посетителя сначала приближаются, а затем отдаляются от экспоната: зачем они отходят? Так

7. За их спиной проходит мужчина, который смотрит на происходящее у экспоната и приближается к нему. Ситуация показывает, что экспонат заметный: его заметность не просто в том, что он большой, яркий, громкий, движущийся, а в том, что люди обращают на него внимание, и в том, как на него обращают внимание.

же как в первом случае, это не значит, что исследователь должен знать, о чем люди думали в данный момент. Происходящее до и после действия наблюдаемым образом объясняет это действие. Отдаление от экспоната здесь не одинаково для участников ситуации: в одном случае это занятие позиции в «аудитории», поодаль, в другом (в случае мальчика) удаление от экрана служит тому, чтобы лучше разглядеть изображение на экране целиком. Это выражается в том, что, сделав шаг назад, он поднимает голову и взгляд, говорит «ваау», и затем сразу же снова включается в непосредственное освоение экспоната — наклоняется и берет из ящика первую деталь ракеты (девушка же остается смотреть и не присоединяется).

Вместо того чтобы исходить из предположения о том, что визит в музей «очевидным» образом предполагает разделение ролей между взрослыми и детьми, и взрослые наблюдают и рассказывают, в то время как дети активно включаются в освоение среды, перемещаются, смотрят и трогают экспонаты, видеоанализ взаимодействия направлен на выяснение того, как устроена динамика взаимодействия. Как распределяется участие между людьми вне зависимости от возраста и пола, родственных отношений и в целом степени знакомства? Как ситуативные роли оформляются и обсуждаются (иногда вовсе без слов, а только в действиях)?

Многократный просмотр и транскрибирование вносят в «неинтересное» взаимодействие тематизацию: распределение участия, встроенное в материальную обстановку ситуации. Анализ видеофрагмента может дать ответ на вопрос о том, как организовано участие, что такое аудитория как достижимый феномен. Даже на выделенных нами восьми секундах видно, что посетители не представляют единую, одинаково включенную либо не включенную аудиторию: скорее есть разные уровни включенности, которые ситуативно организуются и оспариваются. Переход с одного уровня включенности на другой — тщательно интеракционно скоординированное действие, в котором участвуют люди, их высказывания, тела, элементы экспоната и обстановки.

Заключение

Использование аудиовизуальных данных для изучения повседневного взаимодействия помогает проблематизировать обыденные ситуации и получать доступ к значимым микроскопическим деталям. Выполненные в данной методологии исследования выдвигают на первый план перспективу актора благодаря натуралистической установке, стремлению анализировать ситуативно релевантные условия и держаться в своей интерпретации как можно ближе к данным. Методологический прием «искусственной наивности» (Майвальд, 2011: 146–148) и «немотивированного» взгляда (Best, 2008) предписывает подходить к видеозаписи взаимодействия с открытой схемой соотнесения, стараясь не использовать в качестве объясняющего ресурса теоретические положения или знания о поле «в целом». Несмотря на то, что границы ситуации задаются исследователем, они задаются не только аналитически, но и эмпирически — всегда должна существовать

отсылка к данным. Выделяются не те действия, которые по каким-либо причинам кажутся важными исследователю, но те, которые наблюдаемо являются важными для участников записанной на видео ситуации.

Секвенциальный анализ и этнometодологическая перспектива предписывают рассматривать социальные практики как работу по достижению действий, описывать координацию действий и всегда соотносить их с контекстом — предшествующими и последующими действиями участников ситуации, физической обстановкой, объектами, участвующими во взаимодействии.

«Аффордансы» видеозаписи обеспечивают продуктивные и содержательно ценные способы работы с данными. За счет методичного анализа видео мы можем приблизиться, «наехать камерой» на порядок взаимодействия, замедлить его, чтобы разобрать его наблюдаемые локальные основания. Воспроизводимость записей также предоставляет широкие возможности для коллективной исследовательской работы, в том числе для кооперации не только с коллегами-социологами, но и с объектами изучения для совместного разбора данных, формулировки и проверки гипотез.

Поводом для критики видеоанализа служит кажущаяся очевидность находок. Легко счесть, что раз все возможные результаты исследования уже заключены в материале, и они все здесь, на виду, анализ подменяется просто указанием на детали вместо (якобы более содержательной) интерпретации или поиска скрытых структур и смыслов. Хотя признанию визуальной социологии способствует то, что «молчаливое предположение о невидимости существенного отброшено, а на его место поставлена *существенность видимого*» (Баньковская, 2016: 132), в традиционной визуальной социологии существенное видимое все равно оказывается только индикатором; этнometодологический видеоанализ же утверждает, что видимое является ответом.

Перед видеоанализом стоит ряд практических и этических проблем. Несмотря на значительное упрощение процесса работы с данными за последние десятилетия, остаются — и новые технологии привносят новые — сложности. Необходимо искать доступные и качественные устройства, позволяющие записывать видео, программное обеспечение, чтобы хранить его, обрабатывать и демонстрировать. В связи с отсутствием общего способа транскрибировать взаимодействие можно ожидать, что в будущем будет вестись разработка и обсуждение универсальных (или, по крайней мере, многофункциональных), простых и удобных систем нотации. Наконец, предстоит рассматривать и выносить решения об этических принципах использования видеосъемки социальной жизни для научных целей (Кноблаух, 2009; Пауэлс, 2009).

Вместе с тем наиболее важной является рефлексия по поводу методологии видеоанализа. Важно оставаться чувствительными к статусу производимых данных, проблематизировать камеру как эпистемический объект и как ситуативный элемент взаимодействия, исследовать практики работы с видео наравне с другими феноменами социальной жизни. Не стоит игнорировать значимость полевой ра-

боты в качестве ресурса для интерпретации. И следует помнить, что видео — это не точная копия интересного нам взаимодействия, а только удобный инструмент для его изучения.

Литература

- Баньковская С. П. (2016). Видеосоциология: теоретические и методологические основания // Социологическое обозрение. Т. 15. № 2. С. 129–166.
- Вахштайн В. С. (2011). Социология повседневности и теория фреймов. СПб.: Изд-во ЕУСПб.
- Горных А. А. (2007). Визуальная антропология: видеть себя другим // Антропологический форум. № 7. С. 32–52.
- Гофман И. (2000). Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А. Д. Ковалева. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле.
- Гофман Э. (2009). Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу / Пер. с англ. С. С. Степанова, Л. В. Трубицыной под ред. Н. Н. Богомоловой, Д. А. Леонтьева. М.: Смысл.
- Запорожец О. (2007). Визуальная социология: контуры подхода // Интер. Интеракция. Интервью. Интерпретация. № 4. С. 33–43.
- Клепикова А., Утехин И. (2010). Ребенок с «отклонениями развития»: опыт анализа фреймов // Антропологический форум. № 12 Online. С. 1–68. URL: http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/12online/klepikova_utehin/#10 (дата доступа: 01.09.2016).
- Клепикова А., Утехин И. (2012). Взрослость инвалидов, проживающих в психоневрологическом интернате // Антропологический форум. № 17. С. 3–67.
- Кноблаух Х. (2009). Видеография: фокусированная этнография и видеоанализ / Пер. с англ. А. Жуковой // Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. (ред.). Визуальная антропология: настройка оптики. М.: Вариант. С. 19–36.
- Корбут А. М. (2012). Видео социо // Социологическое обозрение. Т. 11. № 2. С. 143–152.
- Корбут А. М. (2015). Мобильность и ситуационные основания социального порядка // Пугачева М. Г., Филиппов А. Ф. (ред.). Пути России: альтернативы общественного развития. 2.о. М.: Новое литературное обозрение. С. 197–217.
- Майвальд К.-О. (2011). Секвенциальный анализ в немецкой социологии: компетенция и практика // Социология: методология, методы, математическое моделирование. № 32. С. 143–178.
- Максимова А. С. (2014). Концептуальные и методологические вопросы изучения посетителей музеев // Социология: методология, методы, математическое моделирование. № 39. С. 157–188.
- Пауэлс Л. (2009). Этика съемки людей и использования снимков: дилемма визуального исследователя / Пер. с англ. Я. Кирсанова под ред. Е. Ярской-Смирновой.

- вой // Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. (ред.). Визуальная антропология: настройка оптики. М.: Вариант. С. 126–148.
- Рождественская Е. Ю. (2008). Перспективы визуальной социологии // Социологический журнал. № 4. С. 70–83.
- Рождественская Е. Ю. (2012). Биографический метод в социологии. М.: Издательский дом ВШЭ.
- Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. (ред.). (2009). Визуальная антропология: настройка оптики. М.: Вариант.
- Сакс Х., Щеглофф Э., Джейферсон Г. (2015). Простейшая систематика организации очередности в разговоре / Пер. с англ. А. М. Корбута // Социологическое обозрение. Т. 14. № 1. С. 142–202.
- Турчик А. В. (2011). Мультимодальное взаимодействие: исследовательские возможности применения конверсационного анализа // Социологическое обозрение. Т. 10. № 1–2. С. 164–175.
- Шюц А. (2004а). Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН.
- Шюц А. (2004б). Обыденная и научная интерпретация человеческого действия / Пер. с англ. Н. М. Смирновой // Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН. С. 7–50.
- Antaki C., Biazzì M., Nissen A., Wagner J. (2008). Managing Moral Accountability in Scholarly Talk: The Case of a Conversation Analysis Data Session // Text & Talk. Vol. 28. № 1. P. 1–30.
- Bateson G., Mead M. (1942). Balinese Character: A Photographic Analysis. New York: New York Academy of Sciences.
- Best K.-A. (2008). The Interactional Organisation of the Guided Tour: The Work of Tour Guides in Museums, Galleries and Historic Houses. PhD Thesis. King's College London.
- Birdwhistell R. (1970). Kinesics and Context: Essays on Body Motion Communication. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Broth M., Laurier E., Mondada L. (eds.). (2014). Studies of Video Practices: Video at Work. London: Routledge.
- Christidou D., Diamantopoulou S. (2016). Seeing and Being Seen: The Multimodality of Museum Spectatorship // Museum & Society. Vol. 14. № 1. P. 12–32.
- Emmison M., Smith P. (2000). Researching the Visual: Images, Objects, Contexts and Interactions in Social and Cultural Inquiry. London: SAGE.
- Erickson F. (2011). Uses of Video in Social Research: A Brief History // International Journal of Social Research Methodology. Vol. 14. № 3. P. 179–189.
- Eriksson M. (2009). Referring as Interaction: On the Interplay Between Linguistic and Bodily Practices // Journal of Pragmatics. Vol. 41. № 2. P. 240–262.
- Farkhatdinov N. (2014). Beyond Decoding: Art Installations and Mediation of Audiences // Music and Arts in Action. Vol. 4. № 2. P. 52–73.
- Farnell B. (1994). Ethno-Graphics and the Moving Body // Man (New Series). Vol. 29. № 4. P. 929–974.

- Garfinkel H.* (1967). *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Goffman E.* (1963). *Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gathering*. New York: Free Press.
- Goodwin C.* (1981). *Conversational Organization: Interaction between Speakers and Hearers*. New York: Academic Press.
- Goodwin C.* (1994). Professional Vision // *American Anthropologist*. Vol. 96. № 3. P. 606–633.
- Goodwin C.* (2000). Action and Embodiment within Situated Human Interaction // *Journal of Pragmatics*. Vol. 32. № 10. P. 1489–1522.
- Goodwin C.* (2007). Participation, Stance and Affect in the Organization of Activities // *Discourse & Society*. Vol. 18. № 1. P. 53–73.
- Heath C.* (1986). *Body Movement and Speech in Medical Interaction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heath C., Luff P.* (2000). *Technology in Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heath C., vom Lehn D.* (2008). Configuring «Interactivity»: Enhancing Engagement in Science Centres and Museums // *Social Studies of Science*. Vol. 38. № 1. P. 63–91.
- Heath C., Hindmarsh J., Luff P.* (2010). *Video in Qualitative Research: Analysing Social Interaction in Everyday Life*. London: SAGE.
- Henley P.* (2000). Ethnographic Film: Technology, Practice and Anthropological Theory // *Visual Anthropology*. Vol. 13. № 2. P. 207–226.
- Hindmarsh J., Heath C.* (2000). Sharing the Tools of the Trade: The Interactional Constitution of Workplace Objects // *Journal of Contemporary Ethnography*. Vol. 29. № 5. P. 523–562.
- Kendon A.* (1975). Some Functions of the Face in a Kissing Round // *Semiotica*. Vol. 15. № 4. P. 299–334.
- Kendon A.* (1990). *Conducting Interaction: Patterns of Behavior in Focused Encounters*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Knoblauch H.* (2005). Focused Ethnography // *Forum: Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*. Vol. 6. № 44. URL: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/20/43> (дата доступа: 17.05.2016).
- Knoblauch H.* (2013). *PowerPoint, Communication, and the Knowledge Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Knoblauch H., Schnettler B.* (2012). Videography: Analyzing Video Data as a «Focused» Ethnographic and Hermeneutical Exercise // *Qualitative Research*. Vol. 12. № 3. P. 334–356.
- Knoblauch H., Schnettler B.* (2015). Video and Vision: Videography of a Marian Apparition // *Journal of Contemporary Ethnography*. Vol. 44. № 5. P. 636–656.
- Knoblauch H., Schnettler B., Raab J.* (2006). Video-Analysis: Methodological Aspects of Interpretive Audiovisual Analysis in Social Research // *Knoblauch H., Schnettler B., Raab J., Soeffner H.-G. (eds.)*. *Video-Analysis: Methodology and Methods*. Frankfurt: Peter Lang. P. 9–26.

- Laurier E. (2014a). Noticing // Lee R. et al. (eds.). *Handbook of Human Geography*. Vol. 1. London: SAGE. P. 250–272.
- Laurier E. (2014b). The Graphic Transcript: Poaching Comic Book Grammar for Inscribing the Visual, Spatial and Temporal Aspects of Action // *Geography Compass*. Vol. 8. № 4. P. 235–248.
- Laurier E., Philo C. (2006). Natural Problems of Naturalistic Video Data // Knoblauch H., Schnettler B., Raab J., Soeffner H.-G. (eds.). *Video-Analysis: Methodology and Methods*. Frankfurt: Peter Lang. P. 183–192.
- Laurier E., Maze R., Lundin J. (2006). Putting the Dog Back in the Park: Animal and Human Mind-in-Action // *Mind, Culture & Activity*. Vol. 13. № 1. P. 2–24.
- Laursen D. (2012). Co-participation among School Children around a Computer-Based Exhibit // *Social Studies of Science*. Vol. 43. № 1. P. 97–117.
- Lindwall O., Ekström A. (2012). Instruction-in-Interaction: The Teaching and Learning of a Manual Skill // *Human Studies*. Vol. 35. № 1. P. 27–49.
- Llewellyn N. (2015). «Money Talks»: Communicative and Symbolic Functions of Cash Money // *Sociology*. Vol. 50. № 4. P. 796–812.
- Llewellyn N., Burrow R. (2008). Streetwise Sales and the Social Order of City Streets // *British Journal of Sociology*. Vol. 59. № 3. P. 561–583.
- Lomax H., Casey N. (1998). Recording Social Life: Reflexivity and Video Methodology // *Sociological Research Online*. Vol. 3. № 2. URL: <http://www.socresonline.org.uk/3/2/1.html> (дата доступа: 17.05.2016).
- Lorimer H. (2005). Cultural Geography: The Busyness of Being «More-Than-Representational» // *Progress in Human Geography*. Vol. 29. № 1. P. 83–94.
- Luff P., Hindmarsh J., Heath C. (eds.). (2000). *Workplace Studies: Recovering Work Practice and Informing System Design*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Macbeth D. (1990). Classroom Order as Practical Action: The Making and Un-making of a Quiet Reproach // *British Journal of Sociology of Education*. Vol. 11. № 2. P. 189–214.
- McQuown N. (ed.) (1971). *The Natural History of an Interview*. Chicago: University of Chicago Library.
- Meisner R., vom Lehn D., Heath C., Burch A., Gammon B., Reisman M. (2007). Participation at Exhibits: Creating Engagement with New Technologies in Science Centres and Museums // *International Journal of Science Education*. Vol. 29. № 2. P. 1531–1555.
- Mondada L. (2006). Video Recording as the Reflexive Preservation and Configuration of Phenomenal Features for Analysis // Knoblauch H., Schnettler B., Raab J., Soeffner H.-G. (eds.). *Video-Analysis: Methodology and Methods*. Frankfurt: Peter Lang. P. 51–68.
- Mondada L. (2007). Transcript Variations and the Indexicality of Transcribing Practices // *Discourse Studies*. Vol. 9. № 6. P. 809–821.
- Mondada L. (2008). Using Video for a Sequential and Multimodal Analysis of Social Interaction: Videotaping Institutional Telephone Calls // *Forum: Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*. Vol. 9. № 3. URL: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1161/2566> (дата доступа: 17.05.2016).

- Mondada L.* (2011). Understanding as an Embodied, Situated and Sequential Achievement in Interaction // *Journal of Pragmatics*. Vol. 43. № 2. P. 542–552.
- Nevile M., Haddington P., Heinemann T., Rauniomaa M.* (eds.). (2014a). *Interacting with Objects: Language, Materiality, and Social Activity*. Amsterdam: John Benjamins.
- Nevile M., Haddington P., Heinemann T., Rauniomaa M.* (2014b). On the Interactional Ecology of Objects // *Nevile M., Haddington P., Heinemann T., Rauniomaa M.* (eds.). *Interacting with Objects: Language, Materiality, and Social Activity*. Amsterdam: John Benjamins. P. 3–26.
- Pink S.* (2006). *The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses*. London: Routledge.
- Pink S.* (ed.). (2012). *Advances in Visual Methodology*. London: SAGE.
- Raab J., Tänzler D.* (2006). Video Hermeneutics // *Knoblauch H., Schnettler B., Raab J., Soeffner H.-G.* (eds.). *Video-Analysis: Methodology and Methods*. Frankfurt: Peter Lang. P. 85–97.
- Rendle-Short J.* (2006). *The Academic Presentation: Situated Talk in Action*. Aldershot: Ashgate.
- Sacks H.* (1992). *Lectures on Conversation*. 2 vols. Cambridge: Blackwell.
- Sacks H., Schegloff E.* (2002). Home Position // *Gesture*. Vol. 2. № 2. P. 133–146.
- Scheflen A.* (1972). *Body Language and Social Order: Communications as Behavioral Control*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Steier R., Pierroux P., Krane I.* (2015). Embodied Interpretation: Gesture, Social Interaction, and Meaning Making in a National Art Museum // *Learning, Culture and Social Interaction*. Vol. 7. P. 28–42.
- Stivers T., Sidnell J.* (2005). Multi-modal Interaction // *Semiotica*. № 156. P. 1–20.
- Streeck J., Goodwin C., LeBaron C.* (eds.). (2014). *Embodied Interaction: Language and Body in the Material World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suchman L.* (1987). *Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ten Have P.* (2003). Teaching Students Observational Methods: Visual Studies and Visual Analysis // *Visual Studies*. Vol. 18. № 1. P. 29–35.
- Ten Have P.* (2004). *Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology*. London: SAGE.
- Tuma R.* (2012). The (Re)construction of Human Conduct: «Vernacular Video Analysis» // *Qualitative Sociology Review*. Vol. 8. № 2. P. 152–163.
- Tutt D., Hindmarsh J.* (2011). Reenactments at Work: Demonstrating Conduct in Data Sessions // *Research on Language & Social Interaction*. Vol. 44. № 3. P. 211–236.
- Vom Lehn D.* (2014). Timing is Money: Managing the Floor in Sales Interaction at Street-Market Stalls // *Journal of Marketing Management*. Vol. 30. № 13–14. P. 1448–1466.
- Vom Lehn D., Heath C., Hindmarsh J.* (2001). Exhibiting Interaction: Conduct and Collaboration in Museums and Galleries // *Symbolic Interaction*. Vol. 24. № 2. P. 189–216.
- Wagner-Willi M.* (2006). On the Multidimensional Analysis of Video-Data: Documentary Interpretation of Interaction in Schools // *Knoblauch H., Schnettler B., Raab J.*,

Soeffner H.-G. (eds.). Video-Analysis: Methodology and Methods. Frankfurt: Peter Lang. P. 143–153.

The Use of Video for Studying Social Interaction

Alisa Maximova

PhD Student in Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str, 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: alice.mcximove@gmail.com

The article discusses the methodology of video analysis and the prospects of using it in studying the social interaction order. The distinction between the traditional understanding of visual sociology and an interactionist view on the use of video technology in the sociological study is drawn. We describe the development of video analysis and the areas where this methodology is applied. The article analyses the characteristics of video as a research tool for studying everyday interactions, and emphasizes the advantages of the method such as the naturalistic approach, a focus on the multimodality and organization of interactions, and the ability to grasp the role of material objects and environment. We outline specific traits of video, such as the possibility of replaying it, the similarities and differences of the social, scientific and “professional” methods of working with video, and the reflexivity in the process of production and handling recordings. Using video for sociological research is discussed as a space of methodological choices. Issues of where to install a camera, what software to employ for archiving files, montage and editing, how to transcribe and present data, or whether to analyze fragments on data sessions have substantive consequences. These choices are made by the researcher and formed by his interests and questions, as well as by particularities of the object. The aspects and potential of video analysis are elaborated in the example of the research of museum visitors. Besides a brief review of the recent studies of visitors’ interactions, we demonstrate how a sociologist can produce, transcribe, and make sense of a video fragment.

Keywords: video analysis, interaction, videography, ethnometodology, audiovisual data, multimodality

References

- Antaki C., Biazz M., Nissen A., Wagner J. (2008) Managing Moral Accountability in Scholarly Talk: The Case of a Conversation Analysis Data Session. *Text & Talk*, vol. 28, no 1, pp. 1–30.
- Bankovskaya S. (2016) Videosociologija: teoreticheskie i metodologicheskie osnovaniya [Videosociology: Theoretical and Methodological Grounds]. *Russian Sociological Review*, vol. 15, no 2, pp. 129–166.
- Bateson G., Mead M. (1942) *Balinese Character: A Photographic Analysis*, New York: New York Academy of Sciences.
- Best K.-A. (2008) *The Interactional Organisation of the Guided Tour: the Work of Tour Guides in Museums, Galleries and Historic Houses* (PhD Thesis), Lonson: King's College London.
- Birdwhistell R. (1970) *Kinesics and Context: Essays on Body Motion Communication*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Broth M., Laurier E., Mondada L. (eds.) (2014) *Studies of Video Practices: Video at Work*, London: Routledge.
- Christidou D., Diamantopoulou S. (2016) Seeing and Being Seen: The Multimodality of Museum Spectatorship. *Museum & Society*, vol. 14, no 1, pp. 12–32.

- Emmison M., Smith pp. (2000) *Researching the Visual: Images, Objects, Contexts and Interactions in Social and Cultural Inquiry*. London: SAGE.
- Erickson F. (2011) Uses of Video in Social Research: A Brief History. *International Journal of Social Research Methodology*, vol. 14, no 3, pp. 179–189.
- Eriksson M. (2009) Referring as Interaction: On the Interplay Between Linguistic and Bodily Practices. *Journal of Pragmatics*, vol. 41, no 2, pp. 240–262.
- Farkhatdinov N. (2014) Beyond Decoding: Art Installations and Mediation of Audiences. *Music and Arts in Action*, vol. 4, no 2, pp. 52–73.
- Farnell B. (1994) Ethno-Graphics and the Moving Body. *Man (New Series)*, vol. 29, no 4, pp. 929–974.
- Garfinkel H. (1967) *Studies in Ethnomethodology*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Goffman E. (1963) *Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gathering*, New York: Free Press.
- Goffman I. (2000) *Predstavlenie sebja drugim v povsednevnoj zhizni* [The Presentation of Self in Everyday Life], Moscow: Kanon-Press-C, Kuchkovo pole.
- Goffman I. (2009) *Ritual vzaimodejstvija: ocherki povedenija licom k ligu* [Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior], Moscow: Smysl.
- Goodwin C. (1981) *Conversational Organization: Interaction between Speakers and Hearers*, New York: Academic Press.
- Goodwin C. (1994) Professional Vision. *American Anthropologist*, vol. 96, no 3, pp. 606–633.
- Goodwin C. (2000) Action and Embodiment within Situated Human Interaction. *Journal of Pragmatics*, vol. 32, no 10, pp. 1489–1522.
- Goodwin C. (2007) Participation, Stance and Affect in the Organization of Activities. *Discourse & Society*, vol. 18, no 1, pp. 53–73.
- Gornykh A. (2007) *Vizual'naja antropologija: videt' sebja drugim* [Visual Anthropology: Seeing Oneself as Other]. *Anthropological Forum*, no 7, pp. 32–52.
- Heath C. (1986) *Body Movement and Speech in Medical Interaction*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Heath C., Hindmarsh J., Luff P. (2010) *Video in Qualitative Research: Analysing Social Interaction in Everyday Life*, London: SAGE.
- Heath C., Luff P. (2000) *Technology in Action*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Heath C., vom Lehn D. (2008) Configuring “Interactivity”: Enhancing Engagement in Science Centres and Museums. *Social Studies of Science*, vol. 38, no 1, pp. 63–91.
- Henley P. (2000) Ethnographic Film: Technology, Practice and Anthropological Theory. *Visual Anthropology*, vol. 13, no 2, pp. 207–226.
- Hindmarsh J., Heath C. (2000) Sharing the Tools of the Trade: The Interactional Constitution of Workplace Objects. *Journal of Contemporary Ethnography*, vol. 29, no 5, pp. 523–562.
- Kendon A. (1975) Some Functions of the Face in a Kissing Round. *Semiotica*, no 15, no 4, pp. 299–334.
- Kendon A. (1990) *Conducting Interaction: Patterns of Behavior in Focused Encounters*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Klepikova A., Utekhin I. (2010) Rebenok s “otklonenijami razvitiya”: opyt analiza frejmov [A “Special Needs” Child: Essay in Frame Analysis]. *Anthropological Forum*, no 12 (online), pp. 1–68. Available at: http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/12online/klepikova_utehin/#10 (accessed 1 September 2016)
- Klepikova A., Utekhin I. (2012) Vzroslost’ invalidov, prozhivajuschi h v psihoneurologicheskem internate [Adulthood of the Disabled Living in Psychoneurological Facility]. *Anthropological Forum*, no 17, pp. 3–67.
- Knoblauch H. (2005) Focused Ethnography. *Forum: Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, vol. 6, no 44. Available at: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/20/43> (accessed 17 May 2016).
- Knoblauch H. (2009) Videografija: fokusirovannaja jetrografija i video analiz. [Videography: Focused Ethnography and Video Analysis]. *Vizual'naja antropologija: nastrojka optiki* [Visual Anthropology: Setting the Optics] (eds. P. Romanov, E. Iarskaia-Smirnova), Moscow: Variant, pp. 19–36.

- Knoblauch H. (2013) *PowerPoint, Communication, and the Knowledge Society*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Knoblauch H., Schnettler B. (2012) Videography: Analyzing Video Data as a "Focused" Ethnographic and Hermeneutical Exercise. *Qualitative Research*, vol. 12, no 3, pp. 334–356.
- Knoblauch H., Schnettler B. (2015) Video and Vision: Videography of a Marian Apparition. *Journal of Contemporary Ethnography*, vol. 44, no 5, pp. 636–656.
- Knoblauch H., Schnettler B., Raab J. (2006) Video-Analysis: Methodological Aspects of Interpretive Audiovisual Analysis in Social Research. *Video-Analysis: Methodology and Methods* (eds. H. Knoblauch, B. Schnettler, J. Raab, H.-G. Soeffner), Frankfurt: Peter Lang, pp. 9–26.
- Korbut A. (2012) Video socio [Video socio]. *Russian Sociological Review*, vol. 11, no 2, pp. 143–152.
- Korbut A. (2015) Mobil'nost'i situacionnye osnovaniya social'nogo porjadka [Mobility and Situational Grounds of Social Order]. *Puti Rossii: al'ternativy obshchestvennogo razvitiya. 2.0* [Paths of Russia: Alternatives of Social Development, 2.0] (eds. M. Pugacheva, A. Filippov), Moscow: New Literary Observer, pp. 197–217.
- Laurier E. (2014) Noticing. *Handbook of Human Geography*, Vol. 1 (eds. R. Lee R. et al.), London: SAGE, pp. 250–272.
- Laurier E. (2014) The Graphic Transcript: Poaching Comic Book Grammar for Inscribing the Visual, Spatial and Temporal Aspects of Action. *Geography Compass*, vol. 8, no 4, pp. 235–248.
- Laurier E., Maze R., Lundin J. (2006) Putting the Dog Back in the Park: Animal and Human Mind-in-Action. *Mind, Culture & Activity*, vol. 13, no 1, pp. 2–24.
- Laurier E., Philo C. (2006) Natural Problems of Naturalistic Video. *Video-Analysis: Methodology and Methods* (eds. H. Knoblauch, B. Schnettler, J. Raab, H.-G. Soeffner), Frankfurt: Peter Lang, pp. 183–192.
- Laursen D. (2012) Co-participation among School Children around a Computer-Based Exhibit. *Social Studies of Science*, vol. 43, no 1, pp. 97–117.
- Lindwall O., Ekström A. (2012) Instruction-in-Interaction: The Teaching and Learning of a Manual Skill. *Human Studies*, vol. 35, no 1, pp. 27–49.
- Llewellyn N. (2015) "Money Talks": Communicative and Symbolic Functions of Cash Money. *Sociology*, vol. 50, no 4, pp. 796–812.
- Llewellyn N., Burrow R. (2008) Streetwise Sales and the Social Order of City Streets. *British Journal of Sociology*, vol. 59, no 3, pp. 561–583.
- Lomax H., Casey N. (1998) Recording Social Life: Reflexivity and Video Methodology. *Sociological Research Online*, vol. 3, no 2. Available at: <http://www.socresonline.org.uk/3/2/1.html> (accessed 17 May 2016).
- Lorimer H. (2005) Cultural Geography: The Busyness of Being "More-than-Representational". *Progress in Human Geography*, vol. 29, no 1, pp. 83–94.
- Luff P., Hindmarsh J., Heath C. (eds.) (2000) *Workplace Studies: Recovering Work Practice and Informing System Design*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Macbeth D. (1990) Classroom Order as Practical Action: The Making and Un-making of a Quiet Reproach. *British Journal of Sociology of Education*, vol. 11, no 2, pp. 189–214.
- Maiwald K.-O. (2011) Sekvencial'nyj analiz v nemeckoj sociologii: kompetencija i praktika [Sequential Analysis in German Sociology: Competence and Practice]. *Sociology 4M*, no 32, pp. 143–178.
- Maximova A. (2014) Konceptual'nye i metodologicheskie voprosy izuchenija posetitelej muzeev [Conceptual and Methodological Issues of Museum Visitors Research]. *Sociology 4M*, no 39, pp. 157–188.
- McQuown N. (ed.) (1971) *The Natural History of an Interview*, Chicago: University of Chicago Library.
- Meisner R., vom Lehn D., Heath C., Burch A., Gammon B., Reisman M. (2007) Participation at Exhibits: Creating Engagement with New Technologies in Science Centres and Museums. *International Journal of Science Education*, vol. 29, no 2, pp. 1531–1555.
- Mondada L. (2006) Video Recording as the Reflexive Preservation and Configuration of Phenomenal Features for Analysis. *Video-Analysis: Methodology and Methods* (eds. H. Knoblauch, B. Schnettler, J. Raab, H.-G. Soeffner), Frankfurt: Peter Lang, pp. 51–68.

- Mondada L. (2007) Transcript Variations and the Indexicality of Transcribing Practices. *Discourse Studies*, vol. 9, no 6, pp. 809–821.
- Mondada L. (2008) Using Video for a Sequential and Multimodal Analysis of Social Interaction: Videotaping Institutional Telephone Calls. *Forum: Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, vol. 9, no 3. Available at: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/116/2566> (accessed 17 May 2016).
- Mondada L. (2011) Understanding as an Embodied, Situated and Sequential Achievement in Interaction. *Journal of Pragmatics*, vol. 43, no 2, pp. 542–552.
- Nevile M., Haddington P., Heinemann T., Rauniomaa M. (eds.) (2014) *Interacting with Objects: Language, Materiality, and Social Activity*, Amsterdam: John Benjamins.
- Nevile M., Haddington pp., Heinemann T., Rauniomaa M. (2014) On the Interactional Ecology of Objects. *Interacting with Objects: Language, Materiality, and Social Activity* (eds. M. Nevile, P. Haddington, T. Heinemann, M. Rauniomaa), Amsterdam: John Benjamins, pp. 3–26.
- Pauwels L. (2009) Etika sjemki ludej i ispolzovaniya snimkov: dilemma vizualnogo issledovatelja [The Ethics of Picturing People and Using People's Pictures: A Visual Researcher's Dilemma]. *Vizual'naja antropologija: nastrojka optiki* [Visual Anthropology: Setting the Optics] (eds. P. Romanov, E. Iarskaia-Smirnova), Moscow: Variant, pp. 126–148.
- Pink S. (2006) *The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses*, London: Routledge.
- Pink S. (ed.) (2012) *Advances in Visual Methodology*, London: SAGE.
- Raab J., Tänzler D. (2006) Video Hermeneutics. *Video-Analysis: Methodology and Methods* (eds. H. Knoblauch, B. Schnettler, J. Raab, H.-G. Soeffner), Frankfurt: Peter Lang, pp. 85–97.
- Rendle-Short J. (2006) *The Academic Presentation: Situated Talk in Action*, Aldershot: Ashgate.
- Romanov P., Iarskaia-Smirnova E. (eds.) (2009) *Vizual'naja antropologija: nastrojka optiki* [Visual Anthropology: Setting the Optics], Moscow: Variant.
- Rozhdestvenskaya E. (2008) Perspektivy vizual'noj sociologii [Prospects of Visual Sociology]. *Journal of Sociology*, no 4, pp. 70–83.
- Rozhdestvenskaya E. (2012) *Biograficheskij metod v sociologii* [Biographical Method in Sociology], Moscow: HSE.
- Sacks H. (1992) *Lectures on Conversation*, Cambridge: Blackwell.
- Sacks H., Schegloff E. (2002) Home Position. *Gesture*, vol. 2, pp. 133–146.
- Sacks H., Schegloff E., Jefferson G. (2015) Prostejshaja sistematika organizacii ocherednosti v razgovore [A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation]. *Russian Sociological Review*, vol. 14, no 1, pp. 142–202.
- Scheflen A. (1972) *Body Language and Social Order: Communications as Behavioral Control*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Schutz A. (2004) *Izbrannoe: Mir, svetjashhijsa smyslom* [Selected Works: A World Lightened with Meaning], Moscow: ROSSPEN,
- Schutz A. (2004) Obydennaja i nauchnaja interpretacija chelovecheskogo dejstvija [Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action]. *Izbrannoe: Mir, svetjashhijsa smyslom* [Selected Works: A World Lightened with Meaning], Moscow: ROSSPEN, pp. 7–50.
- Steier R., Pierroux P., Krane I. (2015) Embodied Interpretation: Gesture, Social Interaction, and Meaning Making in a National Art Museum. *Learning, Culture and Social Interaction*, vol. 7, pp. 28–42.
- Stivers T., Sidnell J. (2005) Multi-modal Interaction. *Semiotica*, no 156, pp. 1–20.
- Streeck J., Goodwin C., LeBaron C. (eds.) (2014) *Embodied Interaction: Language and Body in the Material World*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Suchman L. (1987) *Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ten Have P. (2003) Teaching Students Observational Methods: Visual Studies and Visual Analysis. *Visual Studies*, vol. 18, no 1, pp. 29–35.
- Ten Have P. (2004) *Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology*, London: SAGE.
- Tuma R. (2012) The (Re)construction of Human Conduct: "Vernacular Video Analysis". *Qualitative Sociology Review*, vol. 8, no 2, pp. 152–163.

- Turchik A. (2011) *Mul'timodal'noe vzaimodejstvie: issledovatel'skie vozmozhnosti primeneniya konversacionnogo analiza* [Multimodal Interaction: Research Opportunities of Using Conversational Analysis]. *Russian Sociological Review*, vol. 10, no 1–2, pp. 164–175.
- Tutt D., Hindmarsh J. (2011) Reenactments at Work: Demonstrating Conduct in Data Sessions. *Research on Language and Social Interaction*, vol. 44, no 3, pp. 211–236.
- Vakhshaytay V. (2011) *Sociologija povsednevnosti i teorija frejmov* [Sociology of Everyday Life and Theory of Frames], Saint Petersburg: EU Press.
- Vom Lehn D. (2014) Timing is Money: Managing the Floor in Sales Interaction at Street-Market Stalls. *Journal of Marketing Management*, vol. 30, no 13–14, pp. 1448–1466.
- Vom Lehn D., Heath C., Hindmarsh J. (2001) Exhibiting Interaction: Conduct and Collaboration in Museums and Galleries. *Symbolic Interaction*, vol. 24, no 2, pp. 189–216.
- Wagner-Willi M. (2006) On the Multidimensional Analysis of Video-Data. Documentary Interpretation of Interaction in Schools. *Video-Analysis: Methodology and Methods* (eds. H. Knoblauch, B. Schnettler, J. Raab, H.-G. Soeffner), Frankfurt: Peter Lang, pp. 143–153.
- Zaporozhets O. (2007) Vizualnaja sociologija: kontury podhoda [Visual Sociology: Outline of an Approach]. *Interaction. Interview. Interpretation*, no 4, pp. 33–43.

Проблема социального порядка (Гоббова проблема): к эвристике и прагматике конститутивного вопроса современной теории общества*

Олег Кильдюшов

Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российской Федерации 101000
E-mail: kildyushov@mail.ru

В статье рассматривается проблема социального порядка или вопрос о том, как возможно современное общество, состоящее из множества рациональных акторов, пре- следующих свои частные интересы и часто имеющих противоположные цели. Показывается, что данная проблема, вошедшая историю мысли как «Гоббова», давно находится в центре социально-научного дискурса: впервые в общем виде ее еще в 1651 году поставил Томас Гоббс в своем «Левиафане». Отмечается, что его решение проблемы порядка, заключающееся в признании необходимости учреждения до- минирующей политической инстанции, т. е. государства, способного поддерживать стабильность общественных отношений, вызвало интенсивные теоретические деба- ты, которые продолжаются до сих пор. Фиксируется, что социальными мыслителями было предложено множество вариантов ответа на Гоббсов вопрос, но ни один из них не является окончательным или исчерпывающим — именно в силу конститутивно- го характера проблемы социального порядка для самого дискурса Модерна. В работе предпринимается попытка реконструировать различные теоретические и методологи- ческие подходы к данной теме, начиная с варианта решения самого Т. Гоббса, включая формулировку Т. Парсонсом и заканчивая аналитическими концептами порядка, раз- работанными современными социальными теоретиками разных направлений. Пока- зано, что в социальных науках устойчивый интерес к Гоббовой проблеме характерен прежде всего для утилитаристской традиции, пытавшейся объяснить возникновение порядка из индивидуальной калькуляции выгоды отдельными акторами. Отдельно критически рассматривается «нормативный» вариант решения проблемы социально- го порядка, объясняющий общественную интеграцию посредством совместно разде- ляемых норм и ценностей. Делается вывод о том, что перевод старой проблемы клас- сической политической философии Нового времени на язык актуальной социальной теории позволяет еще раз проблематизировать эвристические основания дискурса политической современности путем операционализации ее центрального понятия.

Ключевые слова: социальный порядок, теория общества, регулярность социального действия, общественная интеграция, Модерн, Томас Гоббс, Талкот Парсонс, Макс Ве- бер

© Кильдюшов О. В., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-3-122-149

* Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Дружба, доверие и конфликт: основ- ные категории описания социальной жизни», реализуемого Центром фундаментальной социологии НИУ ВШЭ в 2016 году.

Проблема порядка как структурная проблема Модерна

Вопрос о причинах возникновения, стабильного существования и возможного краха социального порядка относится к базовому эвристическому репертуару человеческого мышления. При определенной аналитической оптике попытки тематизировать феномен регулярности социального действия, превращающей хаос аномии в устойчивые общественные структуры, можно обнаружить чуть ли не во всех значимых интеллектуально-духовных традициях¹. В некоторых из философских дискурсов проблема порядка — иногда в латентном виде — даже является исходным, конститутивным элементом, особенно в те исторические моменты, когда в результате политических кризисов она из чисто теоретической превращается в жизненную проблему того или иного общества². В этом смысле вся история социально-политической мысли предстает как история представлений о порядке, которые, в свою очередь, являлись дискурсивной реакцией на процессы возникновения и распада конкретно-исторических социальных и политических порядков³. При желании можно также увидеть определенный изоморфизм политической борьбы за порядок и борьбы научно-теоретической за дискурсивную гегемонию: в такой оптике история общественной мысли есть история перманентной борьбы конкурирующих концептов порядка, поскольку любой эмпирический порядок может быть относительно легко проблематизирован и делегитимирован (Anter, 2007: 1–8).

В первую очередь это касается современной социальной теории, для которой возможность поддержания стабильности политического и общественного порядка представляет основополагающую проблему дискурса Модерна, остро вставшую в Новое время в условиях исторически относительно резкого распада традиционных структур господства, сопровождаемого ужасами гражданских и религиозных войн⁴. В этом смысле столь же конститутивным, сколь и травматическим для политической Современности является опыт регулярной дестабилизации обществ в результате того, что акторы современного типа, т. е. атомизированные эгоистические индивиды, преследуя свои частные (групповые) интересы, разрушают инсти-

1. Именно этому посвящен масштабный веберовский проект сравнительной социологии мировых религий (Weber, 1988[1920–1921]).

2. Ниже еще будет сказано о том, что «проблема порядка» стала восприниматься в первую очередь как «Гоббсова проблема» под влиянием Парсонса, хотя давно написаны работы, в которых понятие «порядок» анализируется в качестве центрального вопроса всей политической философии. Например, см.: Barth, 1958. В более новых исследованиях эта топика также перестает быть исключительным доменом вольнодумца из Малмсбери, поскольку попытки его решения можно найти у Локка, Руссо, Маркса и даже Фрейда (Wrong, 1994).

3. Некоторые авторы идут еще дальше, утверждая, что «история понятия порядка столь же длительна и распространена, как и само человечество, и так же сложна, как сами науки и искусства» (Kuntz, 1968: XII).

4. В новейшей литературе топика социального порядка определяется как центральная для социальных наук (Gerecke, 1998: 1).

тициональные основы координации и регуляции социального действия, ставя под вопрос саму возможность общественного порядка в условиях Модерна⁵.

Впервые в радикальном теоретическом виде проблема порядка была поставлена задолго до возникновения современной социальной философии и теоретической социологии — еще в середине XVII века классиком политической мысли Нового времени Томасом Гоббсом в его знаменитом «Левиафане». Несмотря на такую значительную временную дистанцию, различные аспекты проблемы социального порядка, понимаемого в веберовском смысле как агрегированный результат регулярных социальных отношений (Вебер, 2006б: 473), по-прежнему сохраняют релевантность для социально-теоретического анализа процессов, протекающих в обществах современного типа. Т. Парсонс в своем первом крупном труде «Структура социального действия» назвал проблему порядка «Гоббсовой»⁶, теоретически специфицировав размышления классика в форме мысленного эксперимента на тему войны всех против всех в качестве структурной проблемы социальной теории модерна. Таким образом, строго говоря, «Гоббсова проблема» была сформулирована вовсе не английским политэмигрантом в Париже в 1651 году, а американским теоретиком структурного функционализма в Гарварде в 1937, тем не менее она заслуженно носит имя Гоббса, поскольку именно он, исходя из своего реалистического («пессимистического») взгляда на человеческую природу («негативной антропологии») впервые в столь артикулированной форме поставил вопрос об условиях возможности социальной жизни по ту сторону всякого нормативизма, характерного для предшествующих модусов описания человеческих обществ⁷.

В дальнейшем проблематика порядка исследовалась прежде всего в рамках британской ранней теории институтов и моральной философии, включая работы таких крупных мыслителей, как Джон Локк, Дэвид Юм, Адам Фергюсон и Адам Смит. Более того, созданные в XVII и XVIII веках вслед за Гоббсом теории общественного договора в версиях Джона Локка (Локк, 1988: 135–406), Жан-Жака Руссо (Руссо, 2013) и Иммануила Канта (Кант, 1994: 158–204) могут пониматься в качестве попыток обоснования в условиях краха традиционных феодальных структур господства нового общественного порядка, который опирается не на «вечные» иерархии сословного общества, а на типично модернную свободу решений рациональных акторов. Таким образом, концептуальный вызов Гоббсовой проблемы для социально-политической мысли Модерна заключается в необходимости по-

5. Ранний исследователь творчества Т. Гоббса Фердинанд Тённис отмечал среди заслуг классика точность его социального диагноза новой эпохи, зафиксированного «приближение коммерческого общества, дикой конкуренции и капиталистической эксплуатации. Его выражения „человек человеку — волк“ и „война всех против всех“ часто используются для описания этого состояния внутри современных государств» (Tönnies, 1896: 225).

6. Он маркирует *the problem of order* как *the Hobbesian problem* и констатирует, что она не только не была удовлетворительно решена, но и — «как часто бывало в истории мысли — беспечно игнорировалась и скрывалась за имплицитными допущениями» (Parsons, 1949[1937]: 94).

7. Ср.: «Гоббс почти полностью лишен нормативного мышления. Он не устанавливает идеала, которому необходимо следовать, а просто исследует предельные условия социальной жизни» (Parsons, 1949[1937]: 89).

мыслить общество индивидов, что до сих пор представляет сложно разрешимую теоретическую проблему, связанную с переходом с микро- на макроуровень анализа (генезиса) социального. Ответ классиков также связан с необходимостью концептуализации конкурентной общественно-экономической ситуации Нового времени, характерными чертами которой назывались неограниченное преследование эгоистических интересов в рамках всеобщей борьбы за власть и экономические ресурсы в обществах ранней Современности, уже освободившихся от традиционных скреп, но еще не выработавших новых институциональных оснований для упорядочивания социального действия (Münch, 1999: 26).

Кант перевел проблему порядка на язык своей критической философии, предложив собственную трактовку Гоббсова вопроса. Он также анализирует замкнутую ситуацию действия, в которой акторы независимо друг от друга пытаются преследовать свои частные цели, в результате чего достижение цели одними исключает успех действий для других. Предложенное им решение предполагает признание пределов эгоистических стремлений и введение на определенном уровне взаимодействия четкой критериальной базы в виде универсальных принципов, которые способны стать общезначимым основанием для оценки рациональности индивидуальных действий. При этом кантовское решение проблемы порядка сугубо формально и заключается в требовании всеобщего одобрения правил в соответствии с максимой категорического императива. Лишь в этом случае правила могут сохранять значимость в течение продолжительного времени и не зависеть от постоянно меняющихся целей, средств и условий. При этом остается вопрос, как от постулированной таким образом идеальной формы порядка социального взаимодействия перейти к конкретным нормам, полностью согласуемым со свободой отдельных людей. Не менее остро для кантовского идеализма встает проблема конформного поведения индивидов в отношении конкретных норм, устанавливаемых политической властью, и проблема легитимности сопротивления ей: моральные принципы и легальный порядок оказываются в конечном счете разделены⁸. Гегель пытался разрешить эту дилемму через объединяющую их идею нравственности, получающей конкретное выражение в государстве: устанавливая и поддерживая существующий порядок, оно превращает универсально значимые, но бессодержательные моральные принципы в конкретные правила поведения (Гегель, 1990).

Социально-философские, социологические и экономические теории действия XIX–XX веков, возникшие в рамках методологического индивидуализма, рассматривали порядок как социальный эффект, возникающий в поле напряжения между рамкой внешнего общественного принуждения и внутренней индивидуаль-

8. Первые представляют собой стандарт, на который законы государства и правила общественно-го взаимодействия должны ориентироваться, хотя они всегда будут отклоняться от идеала в большей или меньшей степени. Таким образом, конкретный порядок, по Канту, основан на комбинировании категорических и гипотетических норм, т. е. на комбинировании идеального и позитивного элементов (Münch, 2004: 51; Кант, 1994).

ной свободой: устойчивые структуры и регулярности социального действия суть результат рациональных решений принципиально свободных акторов, которые сами обеспечивают интеграцию общества посредством институтов, т. е. признаваемых правил взаимодействия. В этом смысле Гоббсова проблема — это «проблема социального порядка *par excellence*» (Корбут, 2013: 10). Вся следующая за «Левиафаном» интеллектуальная традиция может быть понята как попытка решения ключевой для индивидуализирующего Модерна проблемы стабильности общественного порядка. Более того, есть все основания считать, что ключевые понятия современности являются понятиями порядка: «государство», «право», «конституция», «суверенитет» и даже «политика» содержательно, на уровне семантики, и структурно, как определенный тип дискурса, несут в себе аспект упорядоченного социального действия. Поэтому начиная с Нового времени любая социально-политическая теория в том или ином виде отвечает на вопрос о порядке, несмотря на различия в том, легитимирует ли она его или проблематизирует, рассматривает ли в эмпирическом или нормативном аспектах. Ведь невозможно представить политическое сообщество или социальную группу, не имеющих никаких более или менее отчетливых структур порядка, даже если в качестве их цели заявляется их разрушение⁹. Несмотря на всю рискованность экспликации существующих отношений господства и подчинения, порядок есть телос политического¹⁰.

Проблема порядка относится к ключевым вопросам социальной онтологии, теоретическая тематизация которой стала важнейшей задачей современной социальной науки с самого момента ее институционализации в качестве отдельной области знания об обществе модерного типа. Вопрос «Как возможен социальный порядок?» приобретает особую остроту благодаря специальному для Нового времени стилю научно-аналитической рефлексии, став для той же социологии типичной формой систематической проблематизации своего основного предмета и собственной теоретической интеграции в качестве новой отрасли общественных наук (Eisenstadt, Curelaru: 1976).

Впоследствии решение Гоббсовой проблемы осуществлялось отдельными социально-научными дисциплинами на разных уровнях, с применением своей собственной специфической исследовательской оптики: и как эмпирический анализ существующих форм общественного порядка в рамках политологии, и как реконструкция представлений о порядке в рамках истории идей, и как собственно теория общества в рамках традиционной практической философии или теоретической социологии. В этом смысле социальная и политическая теория Модерна может рассматриваться как наука о порядке — в духе Эрика Фегелина, у которого

9. Здесь можно вспомнить «железный закон олигархии» Роберта Михельса, зафиксировавшего устойчивое воспроизведение структур господства даже в организациях, для самописания которых характерно идеалистическое целеполагание и эмансиаторный пафос, например, в немецкой социал-демократии начала XX века (Michels, 1970).

10. Герман Геллер выразил это обстоятельство в удачной формуле, согласно которой целью любой политики является «порядок ради порядка» (Heller, 1992: 433).

понятие «порядок» присутствовало в качестве программного в названии его *opus magnum* (Voegelin, 1988, 2001–2005, 2004).

Такой подход позволяет в несколько ином свете прочитать западную интеллектуальную традицию последних нескольких веков, из которой данное понятие никогда не исчезало полностью, несмотря на частые изменения конъюнктуры философской и социологической топики. Пик эксплицитного интереса к проблематике порядка пришелся, видимо, на 1960-е годы, когда этой теме были посвящены сразу несколько крупных научных форумов и вышел ряд публикаций ведущих социальных теоретиков. В качестве примера можно привести VI Немецкий философский конгресс 1960 года, обсуждавший тему «Проблема порядка». В сборник его материалов вошли тексты Ганса-Георга Гадамера, Ганса Блюменберга, Германа Люббе, Юргена Хабермаса и Карла-Отто Апеля (Kuhn, Wiedmann, 1962). Также можно указать на прошедший позднее в США междисциплинарный конгресс, в сборнике материалов которого были опубликованы статьи Толкотта Парсонса, Эрика Фегелина и др. (Kuntz, 1968).

Среди крупных мыслителей, эксплицитно обсуждавших вопрос «Как возможен социальный порядок?», можно назвать изобретателя термина «социология» Огюста Конта (Конт, 2011), того же Парсонса (Parsons, 1968) и Никласа Лумана (Luhmann, 1981). При этом статус Гоббсовой проблемы в систематических построениях старых и новых классиков социологии различен: в качестве конститутивного вопроса социальных наук она может относиться и к исходным моментам общей социологии, и к теории общества как таковой (Wrong, 1994: 7). Однако сама регулярная тематизация проблематики порядка в западной социально-философской и социологической литературе подтверждает ее сохраняющуюся значимость для социальной теории, что справедливо отметил Рихард Мюнх в своем обзоре ряда релевантных работ (Münch, 1996: 127–133).

В истории мысли предпринималось множество попыток синтезировать различные элементы аргументации. Например, «волюнтаризм» самого Парсонса был основан на идее синтеза идей позитивизма и идеализма при решении проблемы порядка. Также можно заметить структурную схожесть позиции кантовского идеализма с теорией коммуникативного действия Ю. Хабермаса: порядок есть результат действий, осуществляемых в пространстве между коммуникациями жизненного мира и рациональным оправданием норм в качестве результата дискурсивного процесса; рационально достигаемый консенсус является критерием значимости норм (Münch, 2004: 51).

Понятно, что подобные попытки ответа на концептуальный вызов Гоббса осуществлялись в рамках социально-философских и социологических подходов, сильно отличающихся не только используемым аналитическим инструментарием, но и самим пониманием поставленной проблемы. Не в последнюю очередь это связано со свойствами предмета исследования — его многозначностью, невозможностью строгого определения, укорененностью в различных научных и обыденных контекстах и т. д. Ведь понятие «порядок» не является эксклюзивным

предметом науки об обществе, а занимает столь же важное место в экономической науке¹¹ и праве, прежде всего учении о конституции¹².

В собственно социальных науках устойчивый интерес к Гоббсовой проблеме характерен прежде всего для утилитаристской традиции, теории действия, теории игр или теории рационального выбора и других сходных подходов. Уже во второй половине XX века корпус подобного рода «ответов Гоббсу», т. е. эксплицитных попыток теоретической проблематизации социального порядка, стал настолько объемен, что возникла потребность в их классификации (Alexander, 1982: 90–112).

При всем многообразии факторов, которые тот или иной теоретик брал за основу своей экспликации феномена порядка¹³, общим для всех подходов является рационализация лояльного поведения в духе «дилеммы заключенного», в рамках которой именно кооперативная стратегия, а не рациональный эгоизм максимизации собственной выгоды обеспечивает оптимальный результат (Kersting, 2002: 118–126). В этом смысле Гоббсова контрафактическая аргументативная рамка *bellum omnium contra omnes* открывает эвристическое пространство возможностей для типично современных стратегий экспликации и легитимации причин признания и поддержания социального порядка, использующих различные формы инструментальной и стратегической рациональности. Данное обстоятельство может служить еще одним, структурным, объяснением сохраняющейся актуальности поставленного им вопроса о возможности общества как такового, несмотря на всю неудовлетворительность его собственного ответа¹⁴.

Гоббово решение Гоббсовой проблемы: попытка реконструкции

В античности и Средневековье вопрос порядка решался трансцендентным образом, т. е. посредством нормативных понятий практической философии, отсылкой к божественному установлению или вечной традиции сословного деления. Социальный порядок чаще всего воспринимался как данность, не требующая включения самих индивидов в эвристическую рамку его осмысления и легитимации. В этом смысле интеллектуальное предприятие Томаса Гоббса представляет со-

11. Прежде всего — институциональной экономике (Leipold, 1989: 129–146; Feldmann, 1999; Leipold, Pies, 2000).

12. См. признанную классической работу Конрада Хессе, на которой выросло несколько поколений послевоенных немецких конституционалистов (Hesse, 1999).

13. Перси Коэн выделил четыре основных типа объяснения: принуждение, интересы, ценностный нормативизм и культурная инерция (Cohen, 1968: 18–33).

14. По сути, предложенное самим Гоббсом политico-институциональное решение проблемы гаранций соблюдения правил кооперации в виде монструозной конструкции «Левиафана» представляет собой отказ от разработки философии общества в пользу философии государства: прагматико-теоретически его аргумент направлен на доказательство того, что для только (пере)учреждения государства способно восстановить социальный порядок, который отныне совпадает с порядком государственным. Подобная политизация или этатизация социального типична для Модерна, в рамках которого общество понимается как результат политического, что лучше всего выражается в таком понятии, как «социальная политика».

бой существенный разрыв с двухтысячелетней традицией политической мысли (Münkler, 2001: 9). Его подход являлся инновацией не только в содержательном, но и в методологическом отношении, поскольку конструируемая им в рамках мысленного эксперимента модель перехода от *status naturalis* к *status civilis* служит в качестве идеального типа социального порядка в веберовском смысле, т. е. исключительно как эвристическое средство, а вовсе не способ описания реальности или реконструкции исторического развития.

В «Левиафане» выдвигается следующий аргумент: все индивиды суть рациональные эгоисты, преследующие собственную выгоду и способные в определенных условиях отсутствия и слабости институтов (правил) использовать для ее достижения средства, которые могут дестабилизировать всю рамку социального взаимодействия. В результате через агрегацию индивидуальных некооперативных стратегий на макроуровне осуществляется коллективный субоптимальный выбор. Тем самым Гоббс интегрирует старую утилитаристскую традицию с новым критическим способом социально-научной рефлексии обществ Модерна. Ведь в рамках его знаменитой конструкции именно стремление к максимизации выгоды приводит вчерашних участников войны всех против всех к признанию необходимости институционального решения проблемы порядка, т. е. к учреждению структурного гаранта соблюдения правил социального взаимодействия. Несмотря на значительные издержки, связанные с подобным решением, т. е. с существованием государства и всего его аппарата легитимного принуждения, оно не имеет реальных для социальной практики альтернатив (если не рассматривать в качестве таковой чистый оптимум свободного кооперативного поведения всех). Таким образом, Гоббсово политическое решение проблемы порядка потенциально содержит в себе в зачаточной форме дискурсивные элементы различных последующих способов проблематизации типично модерной ситуации постоянного смещения баланса власти в треугольнике индивид—общество—государство¹⁵. В любом случае до сих пор теоретически небанальным, даже континтуитивным и потому политически проблематичным является тезис классика о том, что индивидуальная стратегия максимизации собственной выгоды невозможна без фактического признания структурной необходимости институционального принуждения к соблюдению правил, включая неизбежность санкций в отношении их нарушителей. Как показал Гоббс своим мысленным экспериментом, социальный порядок в эпоху Модерна принципиально проблематичен по целому ряду причин, сущностно связанных с качествами той специфически модерной социальности, что возникла в Новое время в Европе, а затем получила универсальное значение (Вебер, 2006а: 7). Неэффективность традиционных способов социальной интеграции и координации, принципиальная невозможность реставрации ценностного консенсуса, структурный характер всеобщей конкуренции за ограниченные ресурсы, высокие издерж-

15. Неудивительно, что Гоббс стал постоянным раздражителем для многих политико-дискурсивных традиций, оформившихся впоследствии в качестве идеологий — вроде либерализма, социализма и т. д.

ки гаранта порядка (Левиафана) — эти и многие другие аспекты Гоббсовой версии решения Гоббсовой же проблемы по-прежнему являются предметами острых социально-теоретических, политico-научных да и просто общественно-политических дебатов. Вряд ли этот интерес к ним когда-нибудь радикально ослабеет, поскольку речь идет о базовых, конститутивных проблемах самой современности как политического проекта, основанного на принципе индивидуальной свободы.

Выявленная Гоббсом принципиальная конфликтогенность общественного состояния в условиях, когда акторы могут свободно выбирать цели и средства их достижения, сохраняет свою теоретическую релевантность для описания любых ситуаций, когда позитивные опции для достижения целей одних акторов оказывают негативное воздействие на других, выступающих в качестве их прямых конкурентов за те же ограниченные материальные и символические ресурсы, или даже в качестве экстерналий на третьих лиц, не вовлеченных в борьбу непосредственно, но несущих ее издержки. Совместное договорное решение в пользу индивидуального или коллективного суверена обеспечивает учреждаемому Левиафану трансцендентный статус инстанции монополии на легитимное насилие, устанавливающей правила социального действия и санкционирующей их соблюдение. Таким образом, несмотря на частые обвинения в идеологическом оправдании разнообразных мер принуждения и контроля в отношении индивидов со стороны нововременного государства, аргументация Гоббса строится именно на экспликации частных интересов свободных индивидов, рационально договаривающихся о передаче как ресурсов насилия, так и самих прав на самозащиту центральному гаранту, предлагающему оптимальную опцию для достижения соответствующих индивидуальных целей. Ведь в исходной ситуации *status naturalis* невозможно никакое долгосрочное планирование и предсказание результатов взаимодействия, кроме взаимного подозрения контрагентов в готовности прибегнуть к силе и обману. Угроза его рецидива приводит Гоббса к логически непоследовательному и политически проблематичному требованию от индивидов лояльности к существующей государственной власти, пока та способна поддерживать стабильность рамочного порядка. Перспектива нового распада хрупкого пространства доверия и предсказуемости действий оказывается для него важнее постулируемой здесь же свободы индивида выбирать оптимальные средства достижения целей, формулируемых исключительно на основе субъективных предпочтений как основополагающем принципе общества модерного типа. В этом смысле Гоббс при решении проблемы порядка постоянно меняет аналитическую перспективу, неожиданно переходя от концепта спонтанного к навязанному социальному порядку, основанному на принципиально противоположных основаниях — свободном решении индивидов и принуждении со стороны всемогущего государства к дисциплинированию и контролю соответственно¹⁶.

16. Эти оба парадигматических решения проблемы порядка возникли очень рано, уже в первой половине XVIII века концептуально оформившись в две мощные интеллектуальных традиций, теоретически релевантные для анализа актуальных социальных процессов в обществах Модерна: утопия

Как показал Парсонс, «слишком оптимистическая» попытка Гоббса с помощью утилитаристской оптики объяснить возникновение порядка из индивидуальной калькуляции выгоды отдельными акторами неизбежно приводит к неразрешимой дилемме разрыва социального действия между аспектами свободы и принуждения: порядок как спонтанный результат экономического расчета свободных индивидов, действующих в условиях рыночной конкуренции, является случайным, контингентным и неустойчивым. Поэтому даже либеральная позиция всегда была вынуждена вводить элемент структурного принуждения со стороны государства, необходимого для эффективного надзора за соблюдением в обществе правил взаимодействия (Münch, 2004: 46–47).

Гоббсу и другим классикам теории общественного договора раннего Модерна впервые удалось выявить типично социологическое проблемное поле, связанное с концептуализацией условий конституирования социальности современного типа, основанной на дуализме индивидуальной свободы акторов и структурного ограничения свободы индивидуальных решений. Методологическим основанием для них стала, говоря словами Парсонса, волюнтаристская теория действия, исходящая из специфически модерных антропологических представлений о социальном агенте как свободном и рациональном эгоисте. В результате смены аналитической оптики проблема порядка постепенно лишилась трансцендентного измерения (религиозного, традиционного, «естественного»), все больше превращаясь в социально-технический вопрос об условиях сохранения стабильности обществ и функциональности их нормативно-правовой сферы. В отличие от традиционных теологических или политико-философских подходов, индивидуалистическая программа концентрируется на предпосылках рационального признания легитимного порядка, конституируемого в результате действий принципиально свободных индивидов, преследующих частные цели (Maurer, 1999: 13–14).

Экспликация Т. Парсонсом проблемы социального порядка

Сложившаяся в XVIII и XIX веках утилитаристская традиция шла как бы по стопам Гоббса, но именно Парсонс в 1930-е годы поместил вопрос об общественной интеграции в центр своих социально-теоретических построений: для него проблема социального порядка, или, говоря его собственным языком, проблема стабильности социальной системы проходит красной нитью через все фазы развития его теории. Именно этот проблемный комплекс стал эвристической основой как

спонтанного порядка, впервые эксплицитно разработанная в рамках британской моральной философии, и дискурс навязанного порядка прусской полицейской науки. Эти альтернативные решения являются дискурсивными инвариантами, которые устойчиво воспроизводятся в том или ином виде в различных социально-теоретических традициях до сих пор, причем часто в наивно-имплицитной форме. Это обстоятельство придает исследованию проблемы порядка дополнительную историко-понятийную актуальность. Реконструкцию концепта непреднамеренного социального порядка, предложенного представителями ранней теории институтов, см., например, в нашей работе: Кильдюшов, 2007. О традиции Polizeiwissenschaft см.: Филиппов, 2011, 2012; Кильдюшов, 2013, 2014.

его «волюнтаристской» теории действия, так и теории систем, поскольку и «волюнтаризм», и знаменитая схема AGIL исходят из старого вопроса об условиях сохранения общественного и политического порядка. Как справедливо заметил современный исследователь, Парсонс «может считаться социологом социального порядка» (Abels, 2004: 136).

При этом интерес Парсонса к проблеме порядка довольно специфичен: он практически не затрагивает вопрос генезиса социального, ограничиваясь исключительно аспектами поддержания системной стабильности, получившей у него относительно простое теоретическое решение: при выполнении четырех функциональных требований система остается стабильной, что обеспечивает поддержание социального порядка. Таким образом, в фокусе его внимания оказывается прежде всего то, что удерживает целостность общества и обеспечивает его дальнейшее существование.

Еще во время первой фазы своего научного творчества он разработал концептуальные основания общей теории действия. При этом он обнаружил лакуны в господствовавшей тогда утилитаристской парадигме, в рамках которой действие интерпретировалось как результат рационального выбора эгоистически мотивированных социальных агентов. Как показали отцы-основатели социологии (прежде всего Дюркгейм, Зиммель и Вебер), выбор акторами целей индивидуального действия формируется на основе совместно разделяемых нормативных ориентаций. Поэтому, в отличие от классического утилитаризма, действие индивида у Парсонса (вслед за Т. Х. Маршаллом) не просто направлено на максимизацию собственной выгоды, но обусловлено широким ценностным консенсусом («integrated value system, common to large numbers») (Parsons, 1949[1937]: 704). Таким образом, разработанная им версия «волюнтаристской» теории действия опирается на те же предпосылки, что и утилитаризм, поскольку для обоих подходов исходным моментом является модель рационального эгоиста, действие которого есть применение определенных средств для достижения различных целей с учетом данностей ситуации. Однако Парсонс идет дальше и дополняет анализ социального порядка проблематикой нормативного, поскольку ориентация индивидуального действия на надситуативные нормы, а не просто преследование обусловленных ситуаций целей придает совершающему актором выбору именно нормативный, а не чисто целерациональный характер. Тем самым он переводит свою теорию действия на системно-теоретический уровень, формулируя собственно то понятие социальной системы, которое является сегодня общеупотребительным (Schimank, 1996: 83–84; Brock, Junge, Krähnke, 2002: 202; Abels, 2004: 225–227).

При решении проблемы порядка Парсонс изначально ориентировался на формулировку Гоббса и предложенное им решение, которое в упрощенном виде заключается в добровольном признании индивидами доминирующей инстанции (государства), способной гарантировать сохранение социального порядка путем угрозы и — в случае необходимости — реального применения санкций в отношении его нарушителей. Классик структурного функционализма рассматривал

модель Гоббса как чисто утилитаристскую систему, в которой отсутствуют обязательные нормы и все акторы преследуют собственные цели, рационально выбирая наиболее эффективные средства их достижения. В рамках этой модели порядок конституируется на основе свободной реализации частных устремлений, принимая форму имевшего значительные интеллектуальные и идеологические последствия контринтуитивного тезиса о том, что в современном обществе нет иных интегрирующих сил, кроме эгоистических интересов, способных сближаться и взаимно дополнять друг друга. При этом Парсонс по многим причинам считал Гоббсово решение Гоббсовой проблемы скорее неудовлетворительным: он даже назвал его «самой фундаментальной эмпирической трудностью утилитаристского мышления» (Parsons, 1949[1937]: 91).

Он сомневается в возможности чисто рационального решения именно из-за хрупкости и неустойчивости социального порядка в предложенной Гоббсом конструкции, указывая на несовпадение постулируемого абсолютного государства и реально фиксируемых случаев распада порядка, видя в этом принципиальную ошибку утилитаристской аргументации, не способной дать адекватный ответ на вопрос об условиях интеграции общества (Parsons, 1949[1937]: 234).

Таким образом, дилемма утилитаризма заключается в невозможности конституирования социального порядка лишь на основе свободной кооперации автономных и рациональных индивидов, рациональность которых редуцирована к целерациональному, а происхождение самих индивидуальных целей не имеет удовлетворительного объяснения. Это приводит у Гоббса к поразительной нестабильности общественных отношений, колеблющихся между полюсами от свободного преследования акторами эгоистических целей в условиях фактической аномии до экстремальных по содержанию и интенсивности форм контроля и регуляции со стороны государства, между контингентной по сути спонтанностью и жестким внешним принуждением к порядку. Чтобы наглядно продемонстрировать аргументативную несостоятельность утилитаристско-позитивистского подхода, Парсонс проделывает с мысленным экспериментом Гоббса своеобразное *reductio ad absurdum*: он принимает посылки, характеризующие исходную ситуацию у Гоббса, аналитически реконструирует сугgerируемое им решение, показывая его логическую непоследовательность (Schneider, 2002: 98).

В отличие от утилитаристской версии позитивизма, согласно которой рациональное преследование целей более или менее автоматически приведет к установлению устойчивого социального порядка, Парсонс использует оптику естественного состояния, заданную перспективой негативной антропологии Гоббса, в качестве решающего контраргумента: «Но такое состояние еще меньше соответствует желаниям людей, чем то, что знакомо большинству из нас. Говоря знаменитыми словами Гоббса, это состояние, в котором жизнь человека „одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна“» (Parsons, 1949[1937]: 90; Гоббс, 2001: 87).

Парсоновская эксплицитная формулировка вопроса о возможности социального порядка основана на деконструкции утилитаристской модели общества как

коллективного блага, возникающего в результате реализации акторами индивидуальных стратегий максимизации калькулируемой личной выгоды. Как показывает анализ Парсонса, ее слабым местом является высокая степень риска для так называемых моральных предпринимателей, которые своими действиями «авансом» структурируют для других акторов рамочные условия таким образом, что им становится выгоднее кооперировать. Также проблематичными являются издержки, связанные с созданием функционирующего аппарата санкций. Из самой модели не очень понятны мотивы для обладателей особенно мощных ресурсов насилия передавать их под контроль центральной инстанции порядка в отсутствие сил, способных угрожать им санкциями и тем более реально принудить к признанию вновь учреждаемого порядка. Парсонс констатирует отсутствие здесь убедительного решения проблемы перехода с микро- на макроуровень, говоря о *missing link* между последствиями рациональных действий индивидов и возникновением в результате их агрегации инстанции сильного государства. Ведь для признания рациональности заключения общественного договора акторы должны сменить собственную перспективу интерпретации ситуации, чтобы увидеть, что в их собственных долгосрочных интересах было бы отказаться от краткосрочной выгоды и делегировать собственные права суверену. Однако в рамках естественного состояния они должны постоянно опасаться того, что их конкуренты рационально предпочтут некооперативный вариант поведения в нарушение принципа *pacata sunt servanda* (Münch, 1999: 27).

Таким образом, социальный порядок у Гоббса скорее остается нестабильным образованием, которому постоянно угрожает возврат в прежнее состояние хаоса и аномии. Неразрешимой здесь остается проблема доверия, необходимого для того, чтобы договор функционировал практически, а индивиды действительно вели себя кооперативно и придерживались правил. Утилитаристская гипотеза возникновения порядка из чистой калькуляции выгоды оказывается излишне оптимистической, а сама конструкция рождающегося в результате договора Левиафана — неспособной объяснить генезис порядка из действий самих акторов (Münch, 2004: 46)¹⁷.

С другой стороны, установленный посредством общественного договора порядок обеспечивается впоследствии именно принуждением, т. е. угрозой применения санкций со стороны Левиафана. Это дает Парсонсу дополнительные основания сомневаться в долговечности данной конструкции, поскольку исторический опыт показывает недолговечность систем, основанных лишь на принуждении: как только ресурс структурного насилия и внешнего контроля ослабевает, октроированный социальный порядок тут же обрушивается. Напротив, более стабильными являются системы, обладающие в глазах затронутых индивидов той или иной мерой легитимности, т. е. верой в их законность, справедливость и т. д. Тогда воз-

17. Ср.: «Чисто утилитаристское общество является хаотичным и нестабильным, поскольку в отсутствие ограничений на применяемые средства оно должно было по природе вещей принять форму неограниченной борьбы за власть» (Parsons, 1949[1937]: 93–94).

никает вопрос — что может мотивировать акторов добровольно признать определенный порядок в качестве легитимного?

Парсоновский «нормативный» вариант решения проблемы социального порядка: интеграция посредством совместно разделяемых норм и ценностей

Знаменитый ответ Парсонса связан с центральным структурным элементом его теории действия — с посылкой о наличии в каждом обществе совместно разделяемых норм: «Нормативный порядок… всегда соотносится с существующей системой норм или нормативных элементов, будь то цели, правила или иные нормы» (Parsons, 1949[1937]: 91). Таким образом, он предлагает специфически социологическое решение проблемы порядка, утверждая, что именно эта интерсубъективно значимая система ценностей делает возможным заключение и выполнение долгосрочных обязательств акторов друг перед другом, без чего непредставима никакая коопeração в качестве реалистической опции. Ведь если все субъекты социального действия будут преследовать лишь эгоистические цели, как полагает утилитаристская традиция, тогда общественная интеграция становится в принципе невозможной, поскольку автоматически возникает неразрешимая проблема их (рационального) недоверия друг к другу. Ведь их взаимные ожидания были бы настолько неопределенными, что в этих условиях нельзя представить никакое нормальное человеческое общежитие. Эта проблема («двойная контингентность»¹⁸) решается им посредством введения фактора интерсубъективных нормативных ориентаций (Schimank, 1996: 84).

При этом нормативный порядок как бы предшествует у него порядку социальному в качестве его ценностной предпосылки: нормы первичны по отношению к действию, так что даже целерациональное действие невозможно представить вне норм, ценностей и иных культурных содержаний, которые интериоризуются акторами в процессе социализации как легитимные, рациональные и бесспорные. Как и у Дюркгейма, важную роль в парсоновской конструкции играет понятие институционализации: институты создают общественный порядок через общее для всех видение мира, выступая в качестве нормативных образцов или комплексов норм, предписывающих индивидам способы поведения. Предложенное Парсонсом нормативное решение для «Hobbesian problem of order», т. е. его ответ на вопрос о том, как возможен социальный порядок, в целом сводится к тезису, что интерсубъек-

18. Ср.: «Суть проблемы двойной контингентности в следующем. Условием социальности является парадоксальный порядок, когда действия Ego обусловлены действиями или ожиданиями действий со стороны Alter Ego, в то время как Alter Ego в той же мере ориентирует свои действия на действия Ego. Эта двусторонняя зависимость существует одновременно, и ни одна из сторон не может действовать, если не знает, как действует другая. Чтобы определять свое поведение, каждый должен знать, как решает другой, но он может это знать, только когда знает, какое решение принимает он сам. Ego должно знать об Alter Ego то, чего то не знает о себе самом» (Назарчук, 2011: 157–165). Также см.: Luhmann, 2001: 10.

тивно значимые ценностные ориентации являются основным механизмом стабилизации социального порядка и общественной интеграции (Schneider, 2002: 292).

Таким образом, по Парсонсу, упорядоченная социальная жизнь становится возможной даже в условиях структурной неопределенности взаимных ожиданий акторов (двойной контингентности) благодаря постулированию признаваемого всеми ценностного порядка. В рамках этого подхода собственно проблематика сохранения порядка сводится к социально-дисциплинарной технике выявления конформного, или девиантного поведения, а теория общества выполняет скорее технологическую функцию фиксации и исправления нарушений нормативного консенсуса как условия общественного взаимопонимания и взаимодействия. Он считает нормативное решение более оптимальным, поскольку калькулируемая выгода или институциональное принуждение могут быть как стимулом к учреждению и поддержанию порядка, так и перманентной угрозой для него же. Напротив, интерсубъективно разделяемая система ценностей, оказывая нормирующее влияние на выбор акторами средств достижения их эгоистических целей, делает возможным их стратегическое взаимодействие на реципрокной основе. Оно является стратегическим в том смысле, что действия других рассматриваются в качестве рамочных условий, к которым нужно точно так же адаптироваться, как и к другим условиям ситуации действия. Благодаря этому установленный фактическим образом порядок приобретает искомую долгосрочную стабильность (Ellis, 1971: 693).

Несмотря на характерную «социологичность» парсоновского ответа на Гоббсов вопрос, он также является объектом заслуженной критики, в основном связанной с непроясненным онтологическим статусом самой нормативной системы. Проблематичным в нем является прежде всего то, что нормы и ценности вводятся априорно как реальность *sui generis*, невыводимая из действий индивидов. Хотя Парсонс неставил себе целью прояснение исторического генезиса норм, стабилизирующих фактический социальный порядок, тем не менее очевидно, что его аргумент структурно является тавтологическим описанием общества и порядка, когда эмпирический крах определенного порядка объясняется аномическим распадом ценностного консенсуса (Vanberg, 1975: 176–177).

В этом смысле дефицитарность его собственной версии решения проблемы социального порядка связана с постулированием существования внутри сообщества ценностной сферы, помогающей в лучшем случае объяснить сохранение стабильности социальных отношений, но никак не генезис гарантирующей их институциональной рамки коллективного действия. Более того, в рамках принятых Парсонсом концептуальных предпосылок сама аномия может описываться как порядок в беспорядке. К тому же вполне представимы ситуации, когда именно совместно разделяемые ценности приводили к разрушению порядка в результате всеобщего стремления к достижению одной определенной цели по модели игры с нулевой суммой (Ellis, 1971: 697).

Формулировка у Парсонса не конгруэнтна ни собственно постановке вопроса в «Левиафане», ни ответу самого Гоббса (государство как условие возможности общества) (Wagner, 1991: 115–123). Более того, как убедительно показал Н. Луман, парсоновская версия Гоббской проблемы вовсе не является такой уж радикальной, как принято считать. В этой связи Луман говорит о двух вариантах постановки вопроса о порядке: 1) традиционном, связанном с выдвижением «симпатичных и полезных теорий» о том, что решение проблемы социального порядка заключается в предотвращении девиантного поведения и недопущении вредной активности, чтобы остальные члены сообщества посредством стабильных социальных отношений могли реализовывать себя, удовлетворять свои потребности и чувствовать себя комфортно и безопасно. Он выражает эту программу краткой формулой *rah et iustitia*, поскольку в качестве цели здесь постулируется безопасность, а в качестве средства полицейские меры поддержания порядка (*gute Polizey*). В рамках такого понимания фокус обращен на конституирование политico-правового порядка (Гоббс) или на ценностный консенсус как необходимую предпосылку для возникновения социальной системы (Парсонс). А поскольку подобные условия всегда в том или ином случае выполнены, подобный анализ оказывается лишь легитимацией существующего порядка, не затрагивающей всю глубину проблематики генезиса социального. В лучшем случае ограничиваются теориями эволюции или социализации. 2) Альтернативный подход сомневается в том, что принципиальная проблема конституирования социального порядка заключается в устраниении того, что ему угрожает, или тех, кто не способен к нему адаптироваться. Здесь исследовательский интерес скорее направлен на то, насколько вообще он возможен и какова вероятность его установления. Исходным для второго подхода является вопрос об «условиях возможности», требующий более широких и одновременно более абстрактных концептуальных оснований. В радикализированной версии проблемы порядок предстает скорее невероятным, а ее решение связано для немецкого классика теории систем с двойной контингентностью: в ее условиях действия других становятся референтными для собственных действий акторов. Луман говорит об удивительном на первый взгляд парадоксе: удвоение невероятности ведет к вероятности и нормальности социального порядка (Luhmann, 1991: 164–166).

При этом Луман требует объяснения феномена порядка, а не его априорного постулирования в рамках социологических концепций, которые не нуждаются в социальном взаимодействии и коммуникации между акторами. Социальный порядок конституируется и без них посредством «интерсубъективности» в рамках ценностного нормативизма или рациональных правил в рамках рациональной логики «дilemma заключенного». Для него главная проблема связана здесь с трудностью понимания того, как вообще возможен социальный порядок, тогда как «Парсонс охотно соотносился с той гипотезой естественного состояния, посредством которой Гоббсставил проблему социального порядка; однако у того это было связано с политикой, а не с социальностью» (Luhmann, 1988: 21f.).

Таким образом, решение конститутивного для всей социологической традиции вопроса о возможности порядка осуществляется Парсонсом косвенно, по структурной аналогии с вопросом о генезисе политического порядка. В этом смысле его позиция также является политической, так как при решении проблемы порядка он не дает собственно ответа в рамках теории общества, направленного на социальность, а не политику (Wagner, 1991: 122).

Таким образом, даже, казалось бы, небольшие семантические модификации приводят к принципиальным различиям в социально-теоретической прагматике: так, в измененной теоретической перспективе Гоббсова проблема может быть переформулирована как проблема самого социального или как проблема современности и именно в этом смысле она является конститутивной для социологии как рефлексии Модерна.

Прочтение работ классиков социологии как попыток решения Гоббсовой проблемы

В фокусе внимания социально-научного мейнстрима Гоббсова проблема оказалась после того, как Парсонс сделал ее центральным вопросом своей теории действия и теории социальных систем. После этого она становится чуть ли не общим местом различных версий теории общества. С этого момента принято считать, что как минимум с середины XVII века вопрос об условиях стабилизации социальных отношений является сквозным для всей социально-теоретической рефлексии современности, конституирующем само предметное поле социологии как научной дисциплины. Уже для классиков социологии — от Маркса до Михельса — характерен интерес к относительно длительным и типическим способам действия и связанными с ними нормативными образцами стабильных социальных отношений, которые можно наблюдать не только в политическом пространстве, но и во всех контекстах социального взаимодействия. Таким образом, проблематика порядка — важнейший структурный элемент классической социологической исследовательской программы, предложившей собственные ответы на вопрос о механизмах коопeração и координации действий (формально) свободных акторов (Maurer, 1999: 14).

Как уже говорилось, смещение познавательного интереса с вопроса «Как возможен социальный порядок?», предполагающего ту или иную возможность позитивного ответа, на принципиально более неопределенное «Возможен ли социальный порядок?» открывает действительно широчайшее поле для теоретической рефлексии социально-политического опыта Модерна. Ведь тогда его эвристика направлена на сами регулярности социального действия современного типа. Другая возможность заключается в возвращении к формулировкам классиков социологии, например Г. Зиммеля: «Как возможно общество?» (Зиммель, 1996: 509–526),

которую Э. Гидденс считал единственной легитимной, в отличие от версии Парсонса¹⁹.

С конституированием в конце XIX — начале XX века социологии как отдельной научной дисциплины с собственным предметным полем и специфической концептуальной рамкой, вопрос социального порядка становится центральной проблемой социологической теории, провоцируя различные варианты ответа. Так, Эмиль Дюркгейм в своих работах эксплицитно тематизирует способы установления и поддержания порядка в обществах различного типа. При этом он дает типично социологический ответ на Гоббсов вопрос, указывая на то, что современное функционально дифференцированное общество поддерживает свою целостность через разделение труда и вытекающую из него «органическую» солидарность (Дюркгейм, 1996). В рамках данной модели интерсубъективно значимая мораль предшествует индивидуальным решениям, так что сохранение социального порядка объясняется скорее процессами, агрегированными на макроуровне, нежели индивидуальными решениями. Обобщение индивидов объясняется у Дюркгейма через посылку морального субъекта: наличие совместно разделяемых норм и ценностей обеспечивает ориентации в отношении того, что считается социально приемлемым или девиантным поведением. Эти укорененные в коллективном сознании представления носят для индивидов институциональный характер, поскольку осваиваются и усваиваются ими в процессе социализации вплоть до полной интериоризации²⁰.

Для Фердинанда Тённиса социальный порядок основан на взаимонаправленной воле акторов, вернее, на сущностной воле сообщества или избирательной воле общества, без которых невозможно никакое действие (Тённис, 2002: 9–10, 131). При этом рецепция его наследия представляет особый интерес для реконструкции истории проблемы порядка, поскольку «Общность и общество» является не только результатом интенсивного изучения Тённисом сочинений Гоббса, но и своеобразным ответом на его проблематику. В этом контексте дополнительную значимость приобретает и парсоновское прочтение работ Тённиса²¹.

Из отцов-основателей социологии именно Георг Зиммель сформулировал проблему социального порядка в эксплицитной форме вопроса «Как возможно общество?» — по аналогии со знаменитым вопросом Иммануила Канта о возможности знания о мире «Как возможно объективное знание?» (Зиммель, 1996). С помощью этой формулировки он выводит проблему порядка на новый уровень концептуализации, помещая в центр социально-теоретической рефлексии отношения

19. Ср.: «Важной задачей для социальных наук является решение „проблемы порядка“. Под этим я не имею в виду „Гоббсову проблему“, выявленную Парсонсом» (Giddens, 1987: 153).

20. Заимствованная у Дюркгейма идея «проникновения», или «пронизывания», впоследствии будет играть важную роль у Парсонса (Parsons, 1963: 82, 258f.). Норберт Элиас критически заметил по этому поводу, что «подобная метафора не может означать ничего иного, кроме наличия двух различных сущностей, которые сначала существуют по отдельности, а затем каким-то образом „проникают“ друг в друга» (Элиас, 2001: 13).

21. См. в этой связи: Gephart, 1982: 8, а также: Parsons, 1949[1937]: 686ff.; 1973: 151ff.

между индивидами, которые называет взаимодействиями или взаимовлияниями. В частности, он пытается прояснить, как возможны подобные интеракции между людьми, на основании которых формируется общество. Зиммель даже объявляет взаимодействие «мировым регулятивным принципом», поскольку «все каким-либо образом взаимодействует со всем», благодаря наличию разнонаправленных отношений между ними. Именно в этом смысле для него «общество — лишь название для суммы этих взаимовлияний» (Simmel, 1989: 131). Благодаря этим взаимоотношениям между индивидами оно собственно существует в качестве интерсубъективного уровня взаимодействия²². Воздействие других и на других является для Зиммеля содержанием процесса обобществления, которое собственно и является основным предметом его программы исследования общества. В таком случае социальный порядок есть не что иное, как формы, силы и правила, посредством которых происходит обобществление людей. Тем самым подчеркивается процес суальный и реляционный характер любой социальной онтологии, т. е. общества как процесса обобществления индивидов. В этом смысле общество — «это не субстанция, не что-то в себе конкретное, а процесс, это функция претерпевания и влияния одного на судьбу и форму другого» (Simmel, 1984[1917]: 14).

У Вебера взаимодействия акторов также конститutивны для социального порядка: в своем классическом определении он понимает под социальным действие, ориентированное на прошлое, нынешнее или ожидаемое в будущем поведение других, подчеркивая тем самым реципрокный способ конституирования социального (Вебер, 2006б: 453–454). В веберовском понимании адекватная тематизация порядка возможна лишь в рамках теории действия, в которой структуры порядка анализируются вместе с формами господства. Опирающаяся на фундамент методологического индивидуализма понимающая социология Вебера предлагает модель объяснения, в которой порядок (регулярность социального действия) выводится из нормативных идей и представлений, реализуемых акторами в ходе преследования их целей. В этой оптике все социальные образования интерпретируются как формы упорядоченного социального действия: социальный порядок существует не сам по себе, а возникает из осмысленных действий акторов, действующих посредством определенных механизмов, одновременно являющихся механизмами (вос)производства социальности. Поскольку мотивы действий индивидов могут быть чрезвычайно разнообразными, лабильными и контингентными, для создания устойчивых социальных отношений необходима стабилизация ожиданий относительно действий других (Maurer, 1999: 65–68)?

В операционализированной форме вопрос «Как возможен социальный порядок?» приобретает здесь вид специфически социологической постановки проблем-

22. Зиммельевскому пониманию социального порядка как взаимодействия близка социология фигураций Н. Элиаса, для которой порядок не возникает непосредственно из действий людей и не является простой суммой последствий индивидуальных действий, а представляет собой сеть их взаимосвязей и взаимозависимостей. Как и у Зиммеля, включенность акторов в длинные цепи взаимодействия является для Элиаса рамочным условием самого социального, понимаемого как непрерывный динамичный процесс, а не как дискретное статичное состояние (Элиас, 2001: 35–45; Elias, 1970).

мы: как возможно, что люди могут настолько предсказывать действия других людей, что могут в своих действиях рассчитывать на подтверждение своих ожиданий в действиях и ожиданиях других акторов (Münch, 2004: 43).

Социальные отношения могут быть следствием привычки, традиции или экономических интересов, но лишь признание в качестве легитимного обеспечивает порядку устойчивость и долговременность. Таким образом, конституирование социального порядка является для Вебера проблематичным не (с)только из-за наличия конкурирующих интересов или ограниченности ресурсов, но из-за принципиальной контингентности мотивов индивидуальных действий. В рамках его модели порядок является одновременно и результатом, и предпосылкой действий акторов, которые связаны соответствующими представлениями о его фактической и нормативной значимости, т. е. легитимности и легальности. Ориентация на существующий порядок обеспечивает более высокие шансы на предсказуемость действий индивидов, связанных одними и теми же максимами действия и верой в легитимность господства, нежели чисто экономические и иные утилитарные интересы:

Порядок, устойчивость которого основана только на целерациональных мотивах, в целом значительно лабильнее, чем тот порядок, ориентация на который основана только на обычайе, привычке к определенному поведению (наиболее распространенный тип внутреннего отношения). Однако последний еще несравненно более лабилен, чем порядок, обладающий престижем, в силу которого он диктует нерушимые требования и устанавливает образец поведения, то есть чем порядок, обладающий «легитимностью». (Вебер, 2006б: 478)

Таким образом, взаимосвязь веры в легитимность с индивидуальными интересами, привычкой и аффектами обеспечивает устойчивость правил, которые позволяют «самим» акторам определять, какие действия являются допустимыми, рациональными или, напротив, запрещенными в той или иной ситуации. В результате возникает коллективно значимая институциональная гарантия ожиданий относительно будущих действий контрагентов, выступающая в роли структурного ограничения их произвола.

Вместо заключения

Интерес социологии к порядку общества, как и интерес естествознания к порядку в природе, направлен на выявление структурных закономерностей. И было бы ошибочно принимать его за стремление к сохранению существующих общественных порядков, поскольку его мотивы не имеют отношения к защите конкретных правил и норм. Эвристически этот интерес заключается прежде всего в определении условий становления и продолжительного существования порядка, в выяснении его возможных форм, например, в различии фактического и нормативного

порядка, а также в прояснении конфигурации, в которой находятся автономные индивиды, создающие своими взаимоотношениями устойчивые регулярности действия. В этом смысле внимание современной социальной теории к реципрокному взаимодействию акторов отличается от подходов, исследующих эмпирически случайные, насильтственные или идеальные формы порядка. Социологическая оптика, ориентированная на теорию действия в веберовском смысле, рассматривает порядок как регулярность, позволяющую ожидать определенные действия в определенных условиях на основании принадлежности индивидов к сообществу действия, разделяющему общий жизненный мир и нормативную систему правил, легитимированных целерациональным образом в рамках дискурса политического Модерна (Münch, 2004: 55).

В этом смысле формулировка Парсонсом Гоббсовой проблемы является продолжением длительной интеллектуальной традиции тематизации порядка как остро актуального в условиях Модерна вопроса как для социальной теории, так и политической практики. И сегодня в еще меньшей степени, чем в период формирования канона социологической классики, есть основания полагать, что эта проблема может быть окончательно решена или снята с теоретической или общественной повестки дня. Распад государственности современного типа, наблюдавшийся в начале XXI века в одних регионах мира, внутренняя деградация казавшихся устойчивыми режимов в других, широкая делегитимация вполне успешных политических образований, общая ремилитаризация мировой политики, глобальная реприватизация насилия и прочие малосимпатичные феномены «до-Гоббсова» состояния делают вновь релевантным, казалось бы, давно решенный политическим Модерном вопрос об условиях стабильности порядка.

Социальный порядок является эвристической исходной точкой знания современного общества о себе — и в качестве центральной проблемы политической стабилизации форм совместной жизни людей, и в форме вопроса об эффективности нормативных механизмов, и как более широкая тема социальной теории, связанная с прояснением природы социального как такового. При этом в различные периоды в социально-философских и социологических дискуссиях доминировали вопросы условий установления и поддержания порядка, социальная функциональность политической власти как оператора порядка, а также вопрос издержек господства. Понятно, что в результате подобного привилегирования тематики стабильности значительно меньше внимания обращалось на различные виды дисфункциональности, экстерналии и иные непреднамеренные социальные последствия самого порядка. Несмотря на неравномерность разработанности тех или иных аспектов проблемы порядка в рамках традиции современной социальной теории, она по-прежнему остается центральным эвристическим элементом рефлексии обществ Модерна о самих себе. Критическая реконструкция и расширение классической программы исследований социального порядка может стать ценным эвристическим ресурсом для продуктивного социологического теоретизирования по поводу регулярностей социального действия.

Литература

- Вебер М. (2006а). Предварительные замечания / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН. С. 7–18.
- Вебер М. (2006б). Основные социологические понятия / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН. С. 453–484.
- Гегель Г. В. Ф. (1990). Философия права / Пер. с нем. Б. Г. Столпнера, М. И. Левиной. М.: Мысль.
- Гоббс Т. (2001). Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Пер. с англ. А. Гутермана. М.: Мысль.
- Дюркгейм Э. (1996). О разделении общественного труда / Пер. с франц. А. Б. Гофмана. М.: Канон+.
- Зиммель Г. (1996). Как возможно общество? / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Зиммель Г. Избранное. Т. 2: Созерцание жизни. М.: Юристъ. С. 509–526.
- Кант И. (1994а). Критика практического разума / Пер. с нем. М. В. Соколова // Кант И. Собрание сочинений в 8-ми тт. Т. 4. М.: Чоро. С. 373–565.
- Кант И. (1994б). О поговорке «Может, это и верно в теории, но не годится для практики» / Пер. с нем. Н. Вельденберга // Кант И. Собрание сочинений в 8-ми тт. Т. 8. М.: Чоро. С. 158–204.
- Кильдюшов О. В. (2007). «Невидимая рука» и «хитрость разума»: классическая версия парадокса непреднамеренных последствий // Логос. № 5. С. 21–53.
- Кильдюшов О. В. (2013). Полиция как наука и политика: о рождении современного порядка из философии и полицейской практики // Социологическое обозрение. Т. 12. № 3. С. 9–40.
- Кильдюшов О. В. (2014). Мишель Фуко как исследователь «полицейского государства»: программа, эвристические проблемы, перспективы изучения // Социологическое обозрение. Т. 13. № 3. С. 9–32.
- Конт О. (2011). Дух позитивной философии: слово о положительном мышлении / Пер. с франц. И. А. Шапиро. М.: URSS.
- Корбут А. М. (2013). Гоббсова проблема и два ее решения: нормативный порядок и ситуативное действие // Социология власти. № 1-2. С. 9–26.
- Локк Дж. (1988). Два трактата о правлении / Пер. с англ. Е. С. Лагутина, А. Л. Субботина, Ю. В. Семенова // Локк Дж. Сочинения в 3-х тт. Т. 3. М.: Мысль. С. 135–405.
- Назарчук А. В. (2011). Идея коммуникации и новые философские понятия XX века // Вопросы философии. № 5. С. 157–166.
- Руссо Ж.-Ж. (2013). Общественный договор, или Начала политического права / Пер. с франц. С. В. Занина // Руссо Ж.-Ж. Политические сочинения. СПб.: Росток. С. 116–239.
- Тённис Ф. (2002). Общность и общество: основные понятия чистой социологии / Пер. с нем. Д. В. Складнева. СПб.: Владимир Даль.

- Филиппов А. Ф. (2011). Несколько тезисов о действии, порядке и полицейском государстве // Сократ. № 3. С. 6–11.
- Филиппов А. Ф. (2012). Полицейское государство и всеобщее благо: к истории одной идеологии. Статья первая // Отечественные записки. № 2. С. 328–340.
- Элиас Н. (2001). О процессе цивилизации. Т. 1 / Пер. с нем. А. М. Руткевича. М.; СПб.: Университетская книга.
- Abels H. (2004). Einführung in die Soziologie. Band 1: Der Blick auf die Gesellschaft. Wiesbaden: VS Verlag.
- Alexander J. C. (1982). Theoretical Logic in Sociology. Vol. 1: Positivism, Presuppositions, and Current Controversies. Berkeley: University of California Press.
- Anter A. (2007). Macht der Ordnung: Aspekte einer Grundkategorie des Politischen. Tübingen: Mohr.
- Barth H. (1958). Die Idee der Ordnung. Erlenbach: Rentsch.
- Brock D., Junge M., Krähnke U. (2002). Soziologische Theorien von Auguste Comte bis Talcott Parsons. München: Oldenbourg.
- Cohen P. S. (1968). Modern Social Theory. London: Heinemann.
- Elias N. (1970). Was ist Soziologie? München: Juventa.
- Ellis D. P. (1971). The Hobbesian Problem of Order: A Critical Appraisal of the Normative Solution // American Sociological Review. Vol. 36. № 4. P. 692–703.
- Eisenstadt Sh. N., Curelaru M. (1976). The Form of Sociology: Paradigms and Crises. New York: John Wiley & Sons.
- Feldmann H. (1999). Ordnungstheoretische Aspekte der Institutionenökonomik. Berlin: Duncker & Humblot.
- Gephart W. (1982). Soziologie im Aufbruch: Zur Wechselwirkung von Durkheim, Schäffle, Tönnis und Simmel // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. № 34. S. 1–25.
- Gerecke U. (1998). Soziale Ordnung in der modernen Gesellschaft. Tübingen: Mohr.
- Giddens E. (1987). Social Theory and Modern Sociology. Cambridge: Polity Press.
- Heller H. (1992). Der Sinn der Politik // Heller H. Gesammelte Schriften. Bd. 1 / Hrsg. von Ch. Müller. Tübingen: Mohr. P. 431–435.
- Hesse K. (1999). Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Heidelberg: C. F. Müller.
- Kersting W. (2002). Thomas Hobbes. Hamburg: Junius Verlag.
- Kuhn H., Wiedmann F. (Hrsg.). (1962). Das Problem der Ordnung: VI Deutscher Kongress für Philosophie. Meisenheim am Glan: A. Hain.
- Kuntz P. G. (1968). Introduction // Kuntz P. G. (ed.). The Concept of Order. Seattle: University of Washington Press. P. ix–xxxix.
- Leipold H. (1989). Das Ordnungsproblem in der ökonomischen Institutionentheorie // ORDO. Bd. 40. S. 129–146.
- Leipold H., Pies I. (Hrsg.). (2000). Ordnungstheorie und Ordnungspolitik: Konzeptionen und Entwicklungsperspektiven. Stuttgart: Lucius & Lucius.

- Luhmann N. (1981). Wie ist soziale Ordnung möglich? // Luhmann N. *Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft*. Bd. 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp. P. 195–285.
- Luhmann N. (1988). Arbeitsteilung und Moral: Durkheimstheorie // Durkheim E. *Über soziale Arbeitsteilung*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 17–35.
- Luhmann N. (1991). *Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Luhmann N. (2001). Vorbemerkungen zu einer Theorie sozialer Systeme? // Luhmann N. *Aufsätze und Reden*. Stuttgart: Reclam. S. 7–30.
- Maurer A. (1999). Herrschaft und soziale Ordnung: Kritische Rekonstruktion und Weiterführung der individualistischen Theorietradition. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Michels R. (1970). *Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie: Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens*. Stuttgart: Alfred Kröner.
- Münch R. (1996). Das Problem der Ordnung // Berliner Journal für Soziologie. № 6. S. 127–133.
- Münch R. (1999). Talcott Parsons // Keasler D. (Hrsg.). *Klassiker der Soziologie*. Bd. 2: Von Talcott Parsons bis Pierre Bourdieu. München: Beck. S. 24–50.
- Münch R. (2004). *Soziologische Theorie*. Bd. 3: *Gesellschaftstheorie*. Frankfurt am Main: Campus.
- Münkler H. (2001). Thomas Hobbes. Frankfurt am Main: Campus.
- Parsons T. (1949[1937]). *The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*. Glencoe: Free Press.
- Parsons T. (1963). *Social Structure and Personality*. Glencoe: Free Press.
- Parsons T. (1968). Order as a Social Problem // Kuntz P. G. (ed.) *The Concept of Order*. Seattle: University of Washington Press. P. 373–384.
- Parsons T. (1973). Some Afterthoughts on «Gemeinschaft and Gesellschaft» // Cahnmann W. J. (ed.). *Ferdinand Tönnis: A New Evaluation. Essays and Documents*. Leiden: E. J. Brill. P. 151–159.
- Simmel G. (1984[1917]). *Grundfragen der Soziologie: Individuum und Gesellschaft*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Simmel G. (1989). Über sociale Differenzierung // Simmel G. *Gesamtausgabe*. Bd. 2 / Hrsg. von H.-J. Dahme. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 109–295.
- Schimank U. (1996). *Theorien gesellschaftlicher Differenzierung*. Opladen: Leske & Budrich.
- Schneider W. L. (2002). *Grundlagen der Soziologischen Theorie*. Bd. 1: Weber — Parsons — Mead — Schütz. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Tönnies F. (1896). *Hobbes Leben und Lehre*. Stuttgart: Friedrich Fromanns Verlag.
- Vanberg V. (1975). Die zwei Soziologien: Individualismus und Kollektivismus in der Sozialtheorie. Tübingen: Mohr Siebeck.

- Voegelin E.* (1988). *Ordnung, Bewußtsein, Geschichte: Späte Schriften — eine Auswahl.* Stuttgart: Klett-Cotta.
- Voegelin E.* (2001–2005). *Ordnung und Geschichte.* München: Wilhelm Fink.
- Voegelin E.* (2004). *Ordnung und Geschichte.* Bd. 10: *Auf der Suche nach Ordnung.* München: Wilhelm Fink.
- Wagner G.* (1991). Parsons, Hobbes und das Problem sozialer Ordnung: Eine theoriegeschichtliche Notiz in systematischer Absicht // *Zeitschrift für Soziologie.* Jg. 20. Heft 2. S. 115–123.
- Weber M.* (1988[1920–1921]). *Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen // Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie.* Bände 1–3. Tübingen: Mohr.
- Wrong D. H.* (1994). *The Problem of Order: What Unites and Divides Society.* New York: Free Press.

The Problem of Social Order (a Hobbesian Problem): Towards the Heuristics and Pragmatics of the Constitutive Question of Contemporary Social Theory

Oleg Kildyushov

Researcher, Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: kildyushov@mail.ru

The paper takes the problem of social order or the conditions of the possibility of modern society that consists of a multitude of rational actors who pursue their private interests while frequently having opposing goals into consideration. The paper demonstrates that the problem in question, also known as a Hobbesian problem, has been transmitted to the center of the discourse of social science long ago since being formulated for the first time in 1651 by Thomas Hobbes in his famous *Leviathan*. The solution of the problem of social order as proposed by Hobbes, consisting in the recognition of the necessity to constitute a dominant political authority, i.e., the state which is capable of maintaining stable social relations, caused an intensive theoretical debate that continues to this day. Social theorists have proposed a large variety of answers to the question posed by Hobbes, but none can be considered as final or comprehensive. The paper makes an attempt to reconstruct various theoretical and methodological approaches to the problem of social order, from the solution proposed by Hobbes (including its reformulation by Talcott Parsons) to the analytical concepts of social order elaborated by contemporary thinkers belonging to different theoretical orientations. The article makes the conclusion that translating the old problem of classical political philosophy of modernity into the language of actual contemporary social theory allows the problematization of the heuristic foundations of political discourse of modernity by operationalizing its key concept.

Keywords: social order, theory of society, regular character of social action, social integration, modernity, Thomas Hobbes, Talcott Parsons, Max Weber

References

- Abels H. (2004) *Einführung in die Soziologie, Band 1: Der Blick auf die Gesellschaft*, Wiesbaden: VS Verlag.
- Alexander J. C. (1982) *Theoretical Logic in Sociology, Vol. 1: Positivism, Presuppositions, and Current Controversies*, Berkeley: University of California Press.
- Anter A. (2007) *Macht der Ordnung: Aspekte einer Grundkategorie des Politischen*, Tübingen: Mohr.
- Barth H. (1958) *Die Idee der Ordnung*, Erlenbach: Rentsch.
- Brock D., Junge M., Krähnke U. (2002) *Soziologische Theorien von Auguste Comte bis Talcott Parsons*, München: Oldenbourg.
- Cohen P. S. (1968) *Modern Social Theory*, London: Heinemann.
- Comte A. (2011) *Duh pozitivnoj filosofii: slovo o položhitel'nom myshlenii* [The Spirit of Positive Philosophy: A Word about Positive Thinking], Moscow: URSS.
- Durkheim E. (1996) *O razdelenii obshchestvennogo truda* [On the Division of Labour in Society], Moscow: Kanon.
- Eisenstadt Sh. N., Curelaru M. (1976) *The Form of Sociology: Paradigms and Crises*, New York: John Wiley & Sons.
- Elias N. (1970) *Was ist Soziologie?*, München: Juventa.
- Elias N. (2001) *O processe civilizacii. T. 1* [On the Process of Civilisation, Vol. 1], Moscow: Universitetskaja kniga.
- Ellis D. P. (1971) The Hobbesian Problem of Order. *American Sociological Review*, vol. 36, no 4, pp. 692–703.
- Feldmann H. (1999) *Ordnungstheoretische Aspekte der Institutionenökonomik*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Filippov A. (2011) Neskol'ko tezisov o dejstvii, porjadke i policejskom gosudarstve [Several Theses on Action, Order and Police State]. *Sokrat*, no 3, pp. 6–11.
- Filippov A. (2012) Policejskoe gosudarstvo i vseobshhee blago: k istorii odnoj ideologii. Stat'ja pervaja [Police State and The Common Good: Toward the History of an Ideology. First Article]. *Otechestvennye zapiski*, no 2, pp. 328–340.
- Gephart W. (1982) Soziologie im Aufbruch: Zur Wechselwirkung von Durkheim, Schäffle, Tönnis und Simmel. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, no 34, pp. 1–25.
- Gerecke U. (1998) *Soziale Ordnung in der modernen Gesellschaft*, Tübingen: Mohr.
- Giddens E. (1987) *Social Theory and Modern Sociology*, Cambridge: Polity Press.
- Hegel G. W. F. (1990) *Filosofija prava* [The Philosophy of Right], Moscow: Mysl.
- Heller H. (1992) Der Sinn der Politik. *Gesammelte Schriften*, Vol. 1, Tübingen: Mohr, pp. 431–435.
- Hesse K. (1999) *Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, Heidelberg: C. F. Müller.
- Hobbes T. (2001) *Leviathan, ili Materija, forma i vlast' gosudarstva cerkovnogo i grazhdanskogo* [Leviathan, or The Matter, Form and Power of a Common-Wealth Ecclesiastical and Civil], Moscow: Mysl.
- Kant I. (1994). Kritika prakticheskogo razuma [The Critique of Practical Reason]. *Sobranie sochinenij. T. 4* [Collected Works, Vol. 4], Moscow: Choro, pp. 373–565.
- Kant I. (1994) O pogоворке "Mozhet jeto i verno v teorii, no ne goditsja dlja praktiki" [On the Common Saying: That May Be Correct in Theory, but It Is of No Use in Practice]. *Sobranie sochinenij. T. 8* [Collected Works, Vol. 8], Moscow: Choro, pp. 158–204.
- Kersting W. (2002) *Thomas Hobbes*, Hamburg: Junius Verlag.
- Kildyushov O. (2007) "Nevidimaja ruka" i "hitrost' razuma": klassicheskaja versija paradoksa neprednamerennyh posledstvij [The "Invisible Hand" and "Cunning of Reason": The Classic Version of the Paradox of Unintended Consequences]. *Logos*, no 5, pp. 21–53.
- Kildyushov O. (2013) Policia kak nauka i politika: o rozhdenii sovremennoj porjadka iz filosofii i policejskoj praktiki [Police as the Science and Politics: The Birth of The Modern Order of the Philosophy and Practice of Policing]. *Russian Sociological Review*, vol. 12, no 3, pp. 9–40.
- Kildyushov O. (2014) Mishel' Fuko kak issledovatel'"policejskogo gosudarstva": programma, jevristicheskie problemy, perspektivy izuchenija [Michel Foucault as a Researcher of "Police

- State": a Research Program, Heuristic Problems and Prospects of Studying]. *Russian Sociological Review*, vol. 13, no 3, pp. 9–32.
- Korbut A. (2013) Gobbsova problema i dva ee reshenija: normativnyj porjadok i situativnoe dejstvie [Hobbes' Problem and Its Two Solutions: Normative Order and Situated Action]. *Sociology of Power*, no 1–2, pp. 9–26.
- Kuhn H., Wiedmann F. (Hrsg.) (1962) *Das Problem der Ordnung: VI Deutscher Kongress für Philosophie*, Meisenheim am Glan: A. Hain.
- Kuntz P. G. (1968) Introduction. *The Concept of Order*, Seattle: University of Washington Press, pp. ix–xxxix.
- Leipold H. (1989) Das Ordnungsproblem in der ökonomischen Institutionentheorie. *ORDO*, vol. 40, pp. 129–146.
- Leipold H., Pies I. (Hrsg.) (2000) *Ordnungstheorie und Ordnungspolitik: Konzeptionen und Entwicklungsperspektiven*, Stuttgart: Lucius & Lucius.
- Locke J. (1988) Dva traktata o pravlenii [Two Treatises of Government]. *Sochinenija. T. 3* [Collected Works, Vol. 3], Moscow: Mysl, pp. 135–405.
- Luhmann N. (1981) Wie ist soziale Ordnung möglich?. *Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft*, Vol. 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 195–285.
- Luhmann N. (1988) Arbeitsteilung und Moral: Durkheimstheorie. Durkheim E., *Über soziale Arbeitsteilung*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 17–35.
- Luhmann N. (1991) *Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Luhmann N. (2001) Vorbemerkungen zu einer Theorie sozialer Systeme?. *Aufsätze und Reden*, Stuttgart: Reclam, pp. 7–30.
- Maurer A. (1999) *Herrschaft und soziale Ordnung: Kritische Rekonstruktion und Weiterführung der individualistischen Theorietradition*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Michels R. (1970) *Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie: Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens*, Stuttgart: Alfred Kröner.
- Münch R. (1996) Das Problem der Ordnung. *Berliner Journal für Soziologie*, no 6, pp. 127–133.
- Münch R. (1999) Talcott Parsons. *Klassiker der Soziologie*, Vol. 2: Von Talcott Parsons bis Pierre Bourdieu (ed. D. Keasler), München: Beck, pp. 24–50.
- Münch R. (2004) *Soziologische Theorie*, Vol. 3: *Gesellschaftstheorie*, Frankfurt am Main: Campus.
- Münkler H. (2001) *Thomas Hobbes*, Frankfurt am Main: Campus.
- Nazarchuk A. (2011) Ideja kommunikacii i novye filosofskie ponjatija XX veka [The Idea of Communication and New Philosophical Concepts of 20th Century]. *Voprosy filosofii*, no 5, pp. 157–166.
- Parsons T. (1949) *The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*, Glencoe: Free Press.
- Parsons T. (1963) *Social Structure and Personality*, Glencoe: Free Press.
- Parsons T. (1968) Order as a Social Problem. *The Concept of Order* (ed. P. G. Kuntz), Seattle: University of Washington Press, pp. 373–384.
- Parsons T. (1973) Some Afterthoughts on "Gemeinschaft and Gesellschaft". Cahnmann W. J. (ed.), *Ferdinand Tönnis: A New Evaluation. Essays and Documents*, Leiden: E. J. Brill, pp. 151–159.
- Rousseau J.-J. (2013) Obshhestvennyj dogovor, ili Nachala politicheskogo prava [The Social Contract; or, Principles of Political Right]. *Politicheskie sochinenija* [Political Writings], Saint Petersburg: Rostok, pp. 116–239.
- Schimank U. (1996) *Theorien gesellschaftlicher Differenzierung*, Opladen: Leske & Budrich.
- Schneider W. L. (2002) *Grundlagen der Soziologischen Theorie*, Vol. 1: Weber — Parsons — Mead — Schütz, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Simmel G. (1984) *Grundfragen der Soziologie: Individuum und Gesellschaft*, Berlin: Walter de Gruyter.
- Simmel G. (1989) Über sociale Differenzierung. *Gesamtausgabe*, Vol. 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 109–295.
- Simmel G. (1996) Kak vozmozhno obshhestvo? [How is Society Possible?]. *Izbrannoe. T. 2* [Selected Writings, Vol. 2], Moscow: Jurist, pp. 509–526.
- Tönnies F. (1896) *Hobbes Leben und Lehre*, Stuttgart: Friedrich Frommanns Verlag.

- Tönnies F. (2002) *Obshhnost’ i obshhestvo* [Community and Society], Saint Petersburg: Vladimir Dal.
- Vanberg V. (1975) *Die zwei Soziologien: Individualismus und Kollektivismus in der Sozialtheorie*, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Voegelin E. (1988) *Ordnung, Bewußtsein, Geschichte: Späte Schriften — eine Auswahl*, Stuttgart: Klett-Cotta.
- Voegelin E. (2001–2005) *Ordnung und Geschichte*, München: Wilhelm Fink.
- Voegelin E. (2004) *Ordnung und Geschichte, Vol. 10: Auf der Suche nach Ordnung*, München: Wilhelm Fink.
- Wagner G. (1991) Parsons, Hobbes und das Problem sozialer Ordnung: Eine theoriegeschichtliche Notiz in systematischer Absicht. *Zeitschrift für Soziologie*, vol. 20, no 2, pp. 115–123.
- Weber M. (1988) Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, Tübingen: Mohr.
- Weber M. (2006) Predvaritel’nye zamechanija [Preliminary Remarks]. *Izbrannoe: protestantskaja etika i duh kapitalizma* [Selected Writings: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism], Moscow: ROSSPEN, pp. 7–18.
- Weber M. (2006) Osnovnye sociologicheskie ponjatija [Basic Sociological Terms]. *Izbrannoe: protestantskaja etika i duh kapitalizma* [Selected Writings: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism], Moscow: ROSSPEN, pp. 453–484.
- Wrong D. H. (1994) *The Problem of Order: What Unites and Divides Society*, New York: Free Press.

Русская религиозная геософия: опыт историко-философской реконструкции*

Владимир Быстров

Доктор философских наук, профессор Института философии
Санкт-Петербургского государственного университета

Адрес: Университетская набережная, д. 7/9, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 199034
E-mail: vyb83@yandex.ru

Сергей Дудник

Доктор философских наук, профессор, директор Института философии
Санкт-Петербургского государственного университета

Адрес: Университетская набережная, д. 7/9, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 199034
E-mail: s.i.dudnik@gmail.com

Владимир Камнев

Доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета
Адрес: Университетская набережная, д. 7/9, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 199034
E-mail: kamnev4@yandex.ru

В статье предпринята попытка применить концепцию геофилософии Ж. Делёза и Ф. Гваттари к основному кругу проблем русской религиозной философии. На первый план при таком подходе выдвигаются мироустроительные проекты, в частности проект вселенской теократии Вл. Соловьева. Авторы статьи исходят из представления, что такого рода мироустроительные проекты являются обязательным компонентом рождающегося философского дискурса, без которого само возникновение философии было бы невозможно. Ключевые темы русской мысли — «русская идея», противопоставление России и Европы, историческая миссия России — рассматриваются не с точки зрения истинности или ложности их содержания, а как специфический интеллектуальный опыт освоения мирового пространства средствами философской мысли, как опыт геософии. В противостоянии утратившему сакральное измерение Западу пространство России предстает не только географическим регионом священного, мистической сферой телесного (В. В. Розанов), но и «ледяной пустыней» (К. П. Победоносцев) или тектоническим разломом, открывающим двери в иной мир (Вл. Соловьев и софиология). Помимо утратившего свое значение религиозного мистицизма русская геософия представляет современному исследователю оригинальную концепцию мира, понимаемого одновременно и как вселенная и как состояние, противоположное войне, конфликту, раздору. Геософское противопоставление России и Запада уже неоднократно опровергалось самой историей. Тем не менее оно возрождается вновь и вновь, в том числе и в виде идеологемы «многополярного мира». Мироустроительные

© Быстров В. Ю., 2016

© Дудник С. И., 2016

© Камнев В. М., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-3-150-172

* Статья написана при поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда №14-03-00361 «Историософия социальных преобразований в современной России».

проекты русской философии закономерно приобретали вселенский масштаб, что и было возможным вследствие специфического «недвойственного» использования категории «мир». Опыт русской геософии, как положительный, так и отрицательный, остается актуальным и заслуживает самого серьезного изучения.

Ключевые слова: мир, пространство, Россия—Запад, геофилофия, геософия, русская идея, теократия, консерватизм

Философская мысль, во всяком случае, после Маркса и Ницше, часто демонстрирует интерес к разнообразным проектам переустройства мира, и, как следствие, на философию нередко возлагают ответственность за все, что совершается в мире людьми, испытавшими ее прямое или косвенное влияние. Но люди всегда существуют *где-то*, и связь философского размышления относительно устройства и переустройства человеческого мира во многом обусловлена локализацией ее носителей. Философия имеет дело с пространством человеческого существования, она осваивается в границах и определяет границы, в которых может состояться задуманное. Само рождение философии можно связать с опытом освоения человеческой мыслью мирового пространства.

Философия — это геофилофия... Почему философия возникает в Греции в такой-то момент?.. География не просто дает материю переменных местностей для истории как формы. Подобно пейзажу, она оказывается не только географией природы и человека, но и географией ума. Она отрывает историю от культа закономерности, давая проявиться фактору ни к чему несводимой случайности... Она отрывает ее от структур, заменяя их начертанием линий, устремленных в бесконечность, которые проходят через греческий мир, пересекая все Средиземное море. Наконец, она отрывает историю от нее самой, открывая становления, которые не принадлежат истории, даже если в нее и вливаются; история философии в Греции не должна скрывать, что греки каждый раз должны были сначала стать философами, так же как философы должны были стать греками. (Делёз, Гваттари, 1998: 124)

Концепт геофилофии больше не встречается в сочинениях Делёза и Гваттари, но это не значит, что он малозначителен. Поскольку философия является для них «конструированием концептов», которые, в свою очередь, должны постоянно обновляться, ни один концепт, ни одно рассуждение не могут быть неважными, проходными, каждое может оказаться к месту и дать начало новым. В то же время концепт геофилофии не появляется «ниоткуда», он имеет явную связь с темами детерриториализации и ретерриториализации, с номадологией и т. д., т. е. с таким темами, которые занимают большое место в книге «Тысяча плато» (Делёз, Гваттари, 2010). Под детерриториализацией там предлагается понимать тот общий для животных и человеческих популяций процесс, когда обитатели какой-то ограниченной территории порывают с оседлым существованием и открывают для себя бескрайние просторы земли. Ретерриториализация представляет собой не-

что противоположное — обретение кочевниками-номадами земли обетованной, на которой вновь устанавливается оседлый образ жизни. Государства имперского типа осуществляют трансцендентную детерриториализацию, раздвигая границы посредством завоеваний и тем самым разрушая исходные родоплеменные структуры. Имманентная трансценденция характерна, например, для древнегреческого полиса, который не завоевывает новые территории, но устанавливает горизонтальные связи с колониями, образуя тем самым специфическую сетевую структуру. Разнообразные формы детерриториализации и ретерриториализации можно обнаружить и в философии.

За четверть века после выхода в свет книги «Что такое философия?» концепт геофилософии обрел самостоятельное существование. Помимо работ историко-философского характера, нацеленных прежде всего на изучение текстов Делёза (Bonta, Protevi, 2004; Gasche, 2014), появились книги, где концепт геофилософии применяется к анализу проблем историософии или философии образования (Каччари, 2004; Webb, Gulson, 2015). В ряде исследований концепт геофилософии удачно включен в анализ культурологических и политологических проблем (Корнилов, Корнилов, Минеев, 2013; Калуцков, 2012; Базалук, 2015). Большой интерес представляют работы немецкого исследователя Штефана Гюнцеля, стремящегося разработать новую философию пространства. Гюнцель испытал влияние Делёза и Гваттари, однако у него есть также обширные исторические исследования, посвященные, в частности, различным аспектам взаимодействия философской и географической мысли и генеалогии терминов. В книге «Геофилософия: философская география Ницше» (Günzel, 2001) Гюнцель оперирует термином «геософия», утверждая, что поначалу (в 1877 г.) он появился у немецкого географа Ф. Марте, который предложил дополнить обычную, то есть *описательную* географию, *объяснительной* частью. Речь идет о «логике земли», об «определениях, имеющих вневременную значимость» (Günzel, 2001: 51). У Марте нашлось мало последователей, его идеи вскоре забылись, но через семьдесят лет (в 1947 г.) этот термин вновь ввел американский географ Дж. К. Райт, который намеревался развести то, что изучает собственно география, с одной стороны, и «географические идеи», «географическое знание» (все равно, истинное или ложное) — с другой. К географии Райта мы еще вернемся, а пока последуем за изложением Гюнцеля. Через сорок с лишним лет, продолжает он, философ Константин Коленда, опираясь на Ницше, говорит о том, что географы должны развивать в общественном сознании «геофилию», приверженность земле. У этого последнего автора Гюнцель не находит важного для нас термина и в этой части его изложение кажется несколько натянутым, но зато важен его общий вывод:

На протяжении более чем ста лет в философски ориентированной географии происходит поворот такого рода, что метафизический интерес поначалу отворачивается от Земли, а потом, с учетом фактора «человек», снова обращается к земным делам. <...> Геофилософское мышление в сфере географии

начинает, однако, всегда с «Земли» как преднаходимой сущности, в противоположность чисто философским подходам, которые рассматривают конституцию Земли и мира (миров), исходя из мышления, даже если эта планета выступает в роли того, что предлежит мышлению. (Günzel, 2001: 53)

Поворот мысли к «земле» (что бы под этим ни понималось), необходимость учета не только объективного географического положения, но и географических идей, — вот что представляет здесь наибольшую важность. В этом же направлении движутся и другие авторы.

Здесь необходимы дополнительные разъяснения, так как термин «геософия» тесно связан и с отечественной интеллектуальной традицией. Так, например, к евразийцам восходит понимание геософии как науки о связи географического пространства жизни тех или иных народов и их культурных форм. П. Н. Савицкий, пытаясь осуществить синтез географических и исторических знаний, вынашивал замысел создания геософии как новой научной дисциплины, которая должна была опираться на общее основание целесообразности живой природы и разумного поведения человека (Савицкий, 1997). В наши дни многие авторы придерживаются аналогичного понимания задач геософии (Осипов, 2006; Побединский, 2009; Богомяков, 2014), хотя едва ли они готовы, возрождая евразийский проект слияния истории и географии в единую науку, принять и принципы географического детерминизма, без которых этот проект нежизнеспособен. Второе распространенное истолкование термина «геософия» в отечественной литературе также предполагает возвращение к духовным поискам начала XX столетия, в частности к попыткам Николая Гумилева создать Геософическое общество (Богомолов, 1999). Обсуждавшийся в беседах Гумилева и Вяч. Иванова проект такого общества мыслился, судя по всему, как аналог Теософического общества Е. П. Блаватской, а сам термин «геософия» предполагал органическое единство научных, религиозных и мистических представлений о географическом пространстве. В наши дни гуманитарная мысль склоняется в большей степени не к единству, а к жесткой сегментации таких представлений, подразумевающей более-менее строгое различие между геософией и метагеографией, философией ландшафта, геофилософией, geopolитикой, экзистенциальной географией, географией воображения, геopoэтикой и т. д. (Замятин, 2012)¹. Сакральная география специализируется на исследовании «священного» в пространстве, экзистенциальная география исследует «целостность бытия человеческих общностей с точки зрения лежащего в основе этих общностей объединяющего и вдохновляющего смысла, а также того, как этот смысл оказывается в характере времени и пространства их существования». Геopoэтика — более технологичное знание, «проектная деятельность, направленная на создание и изменение различных территориальных мифов» (Окунев, Кучимов, 2013: 78). На

1. В качестве примера разделения смежных с геософией дисциплин см. следующее определение: «Геософия исследует пространство, где живёт человек» (Богомяков, 2012: 22–23), преимущественно философскими методами.

наш взгляд, такая фрагментация геодисциплин является явно преждевременной, и в ее основе лежит более элементарная джастификация сравнительно нового направления социально-гуманитарной мысли, попытка придать этому направлению большую основательность посредством его изображения в виде уже якобы состоявшегося комплекса научных дисциплин. Реальному положению дел в большей мере соответствует то понимание термина «геософия», какое можно встретить, например, у Райта, упомянутого нами выше: «Геософия» у него определяется «как отрасль наук, в которой исследуются географические знания во всех формах, содержащиеся ли они в научных по формальным критериям работах, или представлены в широком спектре формально внеученных источников» (Wright, 1947: 5; цит. по: Худяев, 2015). Аналогичное понимание геософии можно найти и в других работах (Райт, 1988; Рамсей, 1977).

Большой строгостью, как нам кажется, отличаются те авторы, которые работают с термином «геофилософия». Д. Н. Замятин использует концепт геофилософии как синоним метагеографии, под которой у него понимается «междисциплинарная область знания, находящаяся на стыке науки, философии и искусства (в широком смысле) и изучающая различные возможности, условия, способы и дискурсы географического мышления и воображения» (Замятин, 2012: 22; см. также: Замятин, 2006, 2008, 2009, 2014). Мы используем это определение как рабочее в наших дальнейших рассуждениях. Как же различать геософию и геофилософию? Все дело в том, насколько хорошо понимается специфика территориальной определенности в тех концепциях, которые становятся предметом нашего рассмотрения. Если наличные формы детерриториализации и ретерриториализации в их отличии от иных форм и в их историческом своеобразии осознаются в этих концепциях с той или иной степенью внятности, имеет смысл говорить именно о *геофилософии*. Если же эта проблемная область мистифицируется, а формы детерриториализации и ретерриториализации молчаливо принимаются как единственно возможные, мы эти идейные конструкции будем называть *геософией*.

Перенесемся теперь во времени от зарождения философии в Греции к зарождению философии в России. Конечно, исторический момент появления русской философии остается дискуссионной проблемой (Лишаев, 2003). Широко распространена точка зрения, что временем ее возникновения в точном смысле слова следует считать 1820–1830-е годы. Мы принимаем это без обсуждения, но хотим сделать принципиально важную оговорку. Обо всех феноменах русской философии речь у нас не идет. В русской культуре почти одновременно с религиозной мыслью рождается иная, нерелигиозная традиция, нашедшая свое выражение в первую очередь в литературной критике и публицистике. Это революционно-демократическая традиция, берущая свое начало от В. Г. Белинского и А. И. Герцена. Признавая ее значение и возможность изучения под избранным нами углом зрения, ее мы все же здесь не затрагиваем. Такое самоограничение, разумеется, существенным образом сужает интересующую нас предметную область, но в то же время оно в значительной мере оправданно. Из всех возможных аргументов в его

пользу приведем только один: поскольку нас интересует прежде всего сам процесс зарождения русской философии, то на первый план закономерно выходят такие ее качества, как автохтонность, органичность, гармоничное соответствие философской мысли русской культурной почве. Весомая роль заимствований в революционно-демократической традиции хорошо известна, и факт сильного влияния, например, на мировоззрение А. И. Герцена со стороны К. А. де Сен-Симона, Ф. В. Й. Шеллинга, Г. В. Ф. Гегеля и Л. Фейербаха никогда не оспаривался. К тому же есть основания согласиться с оценкой С. Н. Булгаковым философских воззрений А. И. Герцена как поверхностных и непоследовательных (Булгаков, 1905). Бесспорно, сама эта традиция закономерно возникает в русской культуре, но вопрос о сочетании в ней заимствованных и органичных элементов является довольно сложным, тогда как русская религиозная мысль оригинальна даже там, где можно найти, казалось бы, явные свидетельства заимствований. Характерный пример — рассказ об обращении И. В. Киреевского.

Однажды Иван Васильевич увлечённо пересказывал жене что-то из Шеллинга. Видя, что она реагирует как-то вяло, он спросил: «Что, ты считаешь это неправильным?» «Нет, тут всё верно, — ответила Наташа, — но это ведь давно известно». — «От кого известно?» — удивился Киреевский. «От подвижников христианского благочестия. Хочешь почитать — вон на моей полке сборник „Добротолюбие“, там всё сказано». Иван Васильевич почитал — вначале из любопытства, а потом — почувствовав, что у него раскрываются глаза. Какой там Шеллинг, какой Гегель, это детский лепет по сравнению со святоотеческой мудростью! Так произошло его обращение, а через его обращение началась великая русская философия, которую уже по своему происхождению можно называть «православной философией». (Тростников, 2010: 197)

В наши дни Киреевский, не видевший различий между «Добротолюбием» и философией Шеллинга, за такие историко-философские познания получил бы вполне заслуженную двойку, однако его мысль легко опознается в своей пространственной, а не только содержательной специфичности.

Дело не столько в оригинальности русской религиозной мысли, сколько в возможности, по меньшей мере, двух взглядов на природу русской религиозной философии и ее мироустроительных проектов. Первый — более традиционный — предполагает специфическую локализацию на русской почве универсальной мысли, случайно родившейся когда-то в греческой античности и продлевавшей свое историческое существование в тех цивилизациях, которые в своем развитии созрели до восприятия *philosophia perennis*. Проекты мирового переустройства являются, соответственно, неизбежным следствием того, что на этот раз «философы должны были стать русскими...». Второй взгляд учит нас всматриваться не в русскую судьбу философии, а в философию как судьбу русской истории, в чем-то подобную, а в чем-то несходную с философией как судьбой истории греков (Миро-

нов, Банных, Емельянов, 2009; Мустафин, Трахтенберг, 2015). Мы не рассматриваем конструирование пространства изнутри философского рассуждения, напротив, оно предздано, предлежит, и родившаяся здесь мысль интересна именно как геософийная в указанном выше смысле, тогда как размышление *по поводу* геософии, ставящее ее под вопрос и подвергающее рассмотрению именно то, что в ней считалось самоочевидным, может называться геофилософским.

Когда-то, в момент зарождения европейской философии, судьбоносным оказался тот факт, «что Греция имеет фрактальную структуру, настолько каждая точка в ней близка к морю и настолько велика протяженность побережья. Эгейские народы, полисы античной Греции и тем более Афины как коренной город — не первые в истории торговые города. Но они первыми оказались настолько близко и вместе с тем настолько далеко от архаических восточных империй, что сумели извлечь из них выгоду, не следя сами их образцу; вместо того чтобы паразитировать в их порах, они сами стали купаться в новой составляющей, осуществили новую, имманентную детерриториализацию, сформировали *среду имманентности*» (Делёз, Гваттари, 1998: 112). Считается, что философия рождается на окраинах греческой ойкумены, хотя географическая достоверность не запрещает говорить, что философская мысль возникает, наоборот, у кромки огромной вселенной восточных деспотий и миров, населенных варварами. В Древней Греции философы, как правило, были чужеземцами, бежавшими из атмосферы удушающего произвола в открывавшееся перед ними в новых полисах пространство дружеской общительности. Но несмотря на обретаемый интеллектуальный комфорт, бездомность покинувших отеческий кров странников-мудрецов осталась генетически унаследованной чертой философии. Как только специфика русской культурной жизни нашла свое выражение в почти повсеместном ощущении отсутствия связи человека с местом его жизни, пришло время и для рождения русской философии. К этому времени на русской почве

синтез кочевого и византийского принципов державности дал... очень специфический результат... Слагаемые мира как бы переменены местами. Пространство получает сакральное измерение, распространение за горизонт — статус религиозного действия, утверждения политической теологии Третьего Рима. Тогда как в эпицентре власти, в той точке, которая нормальным образом должна быть кульминационной точкой сакрального, — расположена нулевая степень сакральности, дыра профанного в эпицентре вихря опричного экстазиса. (Надточий, 2002: 323)

Русская религиозная философия рождается в момент осознания национальным духом отсутствия связи его бытия с близлежащими пространствами. По историческим меркам одновременно с ней рождаются и первые миростроительные проекты, нацеленные на освоение пространства, и первые компендиумы исторических знаний, нацеленные на освоение времени. В хронополитике русской историографии (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев) центральное место отво-

дится монгольскому завоеванию, призванному объяснить особую судьбу России, ее историческую миссию, т. е. саму «русскую идею». Сам факт этого завоевания, оцениваемый либо негативно (у либералов и западников), либо позитивно (у евразийцев), предопределяет своеобразие русского мира, его непохожесть, его пороки и преимущества. Как только это становится понятным, возникает тот оригинальный феномен русской культурной жизни, который и называют русской религиозной философией. Русская философия, по словам Вл. Соловьева, началась с того, что задала себе вопрос, «бесполезный в глазах некоторых, слишком смелый по мнению других... вопрос... о смысле существования России во всемирной истории» (Соловьев, 1991а: 42). Когда-то эта проблема объединяла западников и славянофилов, либералов и консерваторов. Все они были убеждены, что Россию ожидает великое будущее, что ее предназначение в истории человечества имеет всемирный масштаб. Но вопрос о смысле существования России во всемирной истории, т. е. во времени, сразу же сопровождается и попытками определить место этого существования, т. е. вопросом о пространстве. Русская религиозная философия оказывается, как мы и сказали, одновременно *геософией*, философией *мира*, которая подразумевает качественную сегментацию пространства, в первую очередь его разделение на Запад и Восток.

Деление географического пространства на Восток и Запад сразу же наделяется в русской мысли особым смыслом, тогда как Север и Юг остаются нейтральными сторонами света. Аксиологическая напряженность линии Восток—Запад задает направленность духовного поиска. Определяя в качестве своей главной проблемы судьбу России, русская философская мысль не может избежать и осмысления судьбы Запада. Образ Запада выступает как неизбежный горизонт любых размышлений о судьбах России. Запад всегда оказывается ориентиром, притягательным или, наоборот, отталкивающим, и если представить себе метафизическое мыслительное пространство русской философии, то Запад оказывается таким же обязательным сегментом этого пространства, как и сама Россия. В этом пространстве складываются, разумеется, идеальные отношения между Западом и Россией, но даже в этом метафизическом пространстве Запад наделяется неполнотой, жесткими границами, тогда как Россия предстает всеобъемлющим простором, бесконечным и количественно и качественно. Россия — это пространственная плерома, полнота богатства и разнообразия бытия. В этих размышлениях возникает — вполне закономерно — довольно странная географическая метафора, определяющая место Европы как всего лишь полуострова к западу от России. «Европа для России есть не более чем полуостров Старого материка, лежащий к западу от ее границ. Сама Россия на этом материке занимает основное его пространство, его торс» (Савицкий, 2002: 297). Запад раскрывается как пространство двусмысленности, по отношению к которому русская мысль выступает либо как то метафизическое основание, в котором эта двусмысленность или находит свое разрешение, или еще вообще не возникает, либо как область ограничения, находящая свое выражение в национальной идеологии. Запад насыщен атмосферой

разочарований, обманутых ожиданий, он не только воплощает собой буржуазную пошлость и ограниченность, но и скрывает за поверхностью своей внешне благополучной цивилизации одинаковую с Россией изначальную субстанцию истины. Однако Европа в своем историческом развитии давно уже отклонилась от пути истины, и ее шансы вернуться к этой субстанции бесповоротно утрачены, тогда как Россия, сохранив цельность своего духа, имеет возможность на этот путь вернуться. Казалось бы, такая диспозиция сегментов метафизического пространства требует выделения еще одной области, отличной и от Запада и от России, — той области, где и располагается субстанция истины. Если бы эта область была описана, то обязательный для русской геософии мессианизм обрел бы большую основательность. Но поскольку такого рода описания области истинного отсутствуют, мессианизм оборачивается набором поучительных наставлений в адрес Европы. Иногда в этом мессианизме Европе отдается предпочтение перед Россией, но и в этом случае только Россия может помочь Западу преодолеть свою ограниченность, подняться над собой, осуществить свое предназначение.

Такое состояние умов в Европе имело на Россию действие противное тому, какое оно впоследствии произвело на Запад. Только немногие, может быть, и то разве на минуту, могли увлечься наружным блеском этих безрассудных систем, обмануться искусственным благообразием их красоты; но большая часть людей, следивших за явлениями Западной мысли, убедившись в недовлетворительности Европейской образованности, обратили внимание свое на те особенные начала просвещения, неоцененные Европейским умом, которыми прежде жила Россия и которые теперь еще замечаются в ней помимо Европейского влияния. (Киреевский, 2002: 158–159)

В русской религиозной философии с самого начала имеется некая претенциозная масштабность, способная вызывать искреннее удивление. Любой народ вступает в разнообразные отношения с соседними народами, с которыми ему географически суждено существовать рядом. Эти отношения могут быть не только дружественными, но и враждебными. В этом отношении антипольские, антифранцузские, антинемецкие, антитюркские, антиеврейские настроения, бесспорно, играли свою роль в конституировании русской геософии. Однако очевидно, что этим отношениям отводится почти всегда второстепенная роль, так как русский национальный дух противопоставляет свое субстанциальное бытие Западу вообще, а не каким-либо особым этническим субстратам. Более того, противопоставляя себя Западу, русская религиозная мысль исходит из утверждения, что Россия, русская культура ближе к тому истоку, которым питается Европа, и потому миссию, возложенную историей на Европу, Россия способна исполнить гораздо лучше и эффективнее.

Отметим, что такого рода геософская оптика предопределяет то обстоятельство, что для отечественной религиозной мысли либеральные и социалистические идеи обречены на русской культурной почве на заведомую неудачу. Либеральные

или социалистические идеалы в этой оптике всегда утопичны. Утопичны не в том смысле, что они неосуществимы, а в том, что они никогда не связаны с конкретными национальными, культурными, географическими реалиями. «Для консерватизма, напротив, связь человека с его „толосом“, связь общественного порядка с местоположением, связь закона с отечеством, является системообразующим началом» (Ремизов, 2006: 45). Поэтому с самого начала русская религиозная мысль была предрасположена к консерватизму и национализму. Некоторое оправдание этой предрасположенности можно увидеть в том, что утопичность либеральных и социалистических идеалов осмысливается по преимуществу негативно, а не позитивно, не в качестве возможных *всемирных* идеалов. Точнее сказать, если такая всемирность и допускается, то только в динамическом, а не в статическом аспекте, только в качестве одной из завершающих стадий эсхатологического, апокалиптического процесса.

Область воплощения либеральных и социалистических идеалов — Запад — в русской религиозной геософии предстает как пространство унификации жизни, уравнивания «прав и возможностей», пространство упадка внутренних сил и скорой гибели.

Сложность машин, сложность администрации, судебных порядков, сложность потребностей в больших городах, сложность действий и влияние газетного и книжного мира, сложность в приемах самой науки... Это все лишь орудия смешения — это исполнинская толчея, всех и все толкующая в одной ступе псевдогуманной пошлости и прозы: все это сложный алгебраический прием, стремящийся привести всех и все к одному знаменателю. Приемы эгалитарного прогресса — сложны, цель груба, проста по мысли, по идеалу, по влиянию и т. п. Цель всего — средний человек; буржуа спокойный среди миллионов точно таких же средних людей, тоже покойных. (Леонтьев, 2010: 141)

В оптике геософии это бесконечное усложнение обрачивается фрагментацией пространства, прямо угрожающей тому синтезу кочевого и византийского принципов державности, о котором речь шла выше. В регламентированном пространстве, разбитом на более-менее строго очерченные фрагменты, всегда необходимо проходить половину пути прежде, чем будет пройден весь путь. Но такое пространство требовало бы интенсивного, а не экстенсивного освоения, и продвижение вглубь всегда рассматривалось как разрушающее бескрайность просторов и создающее прямую угрозу самой целостности русского государства. Это распространялось и на физическое и на социальное пространство, и поэтому у Леонтьева эгалитарный прогресс, в той мере, в какой он фрагментирует социальное пространство, одновременно и уничтожает в упрощающем смешении всю «цветущую сложность» наличного состояния.

Прогрессивное развитие западной цивилизации, ее технические достижения постепенно распространились на все иные типы цивилизаций. Но в оптике русской геософии это развитие иногда олицетворяется грандиозной картиной раз-

ложении гигантского трупа, продукты распада которого своим ядом убивают все живое. Один из таких продуктов распада представляет собой идея демократии, народовластия. Согласно этой идее, высшая власть, как и само государство, возникают вследствие выражения воли народных масс. Это возникновение не является однократным, так как оно должно регулярно повторяться посредством выборов. Эта идея была в русской религиозной философии с самого начала воспринята с подозрением. Русская мысль увидела в демократии прежде всего чуждую ей систему нравственных и религиозных ценностей, относительных и субъективных по своей природе. Тот факт, что при демократии всеобщая воля конституирует государственную власть, имеет лишь поверхностное, формальное значение. Эта воля лишена содержания, она не руководствуется какой-либо религиозной, метафизической идеей. Поэтому демократические режимы обречены на вечные колебания между консерватизмом, которые основывают свою политическую программу на сохранении утративших целостную связь фрагментов христианского наследия, и либеральным нигилизмом, призывающим, по сути дела, начинать культурное строительство всякий раз заново, *ex nihilo*, и потому фактически санкционирующим разрушение. Демократический режим опирается на статистику и социологию, цель которых — не изучать общественное мнение, а формировать его в нужном направлении. Демократический режим не может ставить перед собой какие-то глобальные цели, он не может решать задачи, выходящие за рамки сиюминутной политической и экономической конъюнктуры. Для решения таких задач требуется прочная и долговременная государственная власть. Демократия же, устанавливая срок существования власти, выигравшей выборы, вынуждает эту власть с самых первых шагов думать о следующих выборах и проводить политику, нацеленную на удовлетворение текущих, а не фундаментальных потребностей человека. Отсюда следует неизбежное для демократии противопоставление интересов отдельного индивида интересам общественного целого, противопоставление, влекущее за собой отрицание вековых нравственных и религиозных норм. Таковы лишь некоторые негативные характеристики демократии, с самого начала обнаруженные русской религиозной мыслью. Нельзя сказать, что европейские критики демократии не замечали эти негативные черты и что русская философия первая эти черты обнаружила. Но даже такие консервативные критики современного им положения дел в Европе, как Э. Бёрк или Ж. де Местр, нигде не ставили под сомнение, например, сам институт парламентаризма, не говоря уже о независимом судопроизводстве. Русский консерватизм самобытен в гораздо большей степени, чем он сам об этом заявляет². Антидемократизм представляет собой сугубо оригинальную черту русской религиозной мысли, и в ряду аргументов в его пользу до-

2. Именно поэтому влияние, например, Ж. де Местра на русскую религиозную мысль заметно преувеличивается современными исследователями, неслучайно избирающими в качестве объекта исследования такие темы, как «де Местр и Григорий Сковорода» (Марченко, 2014) или «де Местр и граф С. С. Уваров» (Дегтярева, 2006), переписка которых была опубликована только в 1937 г. и, следовательно, вообще не являлась фактом русской культурной жизни того времени.

вод относительно гигантских географических пространств, требующих жесткого авторитарного режима правления, всегда занимал далеко не последнее место.

Но более весомым в глазах русской религиозной философии является представление, что демократия является собой тот закономерный итог западноевропейского развития, общая направленность которого заключается в окончательном освобождении человека от истины христианского Откровения. Демократия предоставляет режим наибольшего благоприятствования такому состоянию человека, когда он опирается только на собственную свободу, когда он находит истину не в реальности, а в своем мышлении, и когда он, посредством своей ничем не ограниченной воли, пытается воплотить эту исключительно субъективную истину в действительность. Демократия оборачивается царством безграничного антропоцентризма.

В религиоведении давно уже стало общепринятым представление, что в древних архаических обществах пространство всегда разделяется на священное и профанное. «Для религиозного человека пространство неоднородно: в нем много разрывов, разломов; одни части пространства качественно отличаются от других... Таким образом, есть пространства священные, т. е. „сильные“, значимые, и есть другие пространства, неосвященные, в которых якобы нет ни структуры, ни содержания, одним словом, аморфные» (Элиаде, 1994: 22). Казалось бы, в соответствии с этим представлением западному профанному пространству должно противостоять сакральное пространство России. Подходящий опыт описания сакрального русского пространства можно найти у В. Розанова, где оно воспринимается как таинственный организм, как магически освященная телесность. Это пространство «Святой Руси», но у Розанова оно, раскрываясь в картинах повседневного быта, приобретает особую зримость и осязаемость.

Много есть прекрасного в России: 17-е октября, конституция, как спит Иван Павлович. Но лучше всего в чистый понедельник забирать соленья у Зайцева (угол Садовой и Невского). Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочек, брускника — разложена на тарелках (для пробы). И испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити белых грибов на косяке двери. И над дверью большой образ Спаса, с горящей лампадою. Полное православие. (Розанов, 1990: 99)

Здесь мы попадаем не в пространство классической физики, а в пространство сакральное, связанное с «иными мирами». Лавка имеет лишь видимость лавки, а на самом деле является храмом. Но вместе с тем и метафизическое измерение храма в этом пространстве приземляется, уравнивается с физическим измерением. Крайности сходятся, быт освящается, а священное обретает бытие в быте. «Частная жизнь» возводится на уровень религии, благодаря чему быт уравнивается с высокой культурой. Русский мир, раскрывающийся прежде всего стороной своего быта, своей культуры повседневности, описывается Розановым как «осознательно-обонятельная» модальность русского пространства.

Но такое восприятие пространства в русской религиозной мысли является далеко не единственным. Вспоминая о пространственных характеристиках противопоставляемой Западу России, нельзя не вспомнить и о знаменитом образе К. П. Победоносцева. «Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней бродит лихой человек!» (Фирсов, 1996: 17). Этот образ может служить прекрасной иллюстрацией к той геософской концепции, где с Россией связывается «нулевая степень сакральности, дыра профанного в эпицентре вихря опричного экстазиса» (Надточий, 2002: 323). Сделаем оговорку, что, связывая два образа русского пространства с именами Розанова и Победоносцева, мы не имеем в виду хронологический порядок их появления в русской культуре. В том или ином виде эти образы (магически освященная телесность, «Святая Русь» и Россия как «ледяная пустыня» под властью разбойников) могут быть обнаружены в русской словесности задолго до появления философских текстов. Это обстоятельство объясняет тот скрытый момент полемики и разочарования, который, несомненно, присутствует в образе «ледяной пустыни». Но исключительно негативное понимание этого образа было бы неверным. Лавка Розанова, оборачивающаяся при более внимательном взгляде храмом, — это сакральное пространство, выходящее за пределы изначально установленной области сакрального, выходящее за пределы храма. Но такое же выхождение за свои собственные пределы подразумевает и образ ледяной пустыни. Это особый способ организации сакрального пространства, где «...трансцендентное, священное уходит не ввысь, не в Небо, а вдаль, в горизонтальную пустоту неисчислимых пространств. В этой топологической модели небо не присутствует вовсе, вместо него — горизонталь простирания. Распространение за горизонт оказывается сакральным действием выхода из мира профанного, путем к Богу» (Надточий, 2002: 323). «Ледяная пустыня» — это не пустыня существования, лишенного божественного измерения; это измерение присутствует со всей возможной степенью достоверности, но оно оказывается не вертикалью, а горизонталью в сетке координат мироздания.

Тем не менее хотя эти два образа в равной мере являются образами распределения сегментов сакрального и профанного пространства, их противоположность нельзя не признать очевидной. В какой-то степени эти образы могут выступать в качестве пиктограмм, указывающих на два разнородных комплекса теологических, философских и политических идей, на две разновидности русского религиозно-философского консерватизма, которые условно можно назвать социальным и государственным, этатистским консерватизмом. Если консерватизм вообще основывается на интенции сохранения («спасения»), то в первом случае стремление сохранить и спасти направлено прежде всего на саму культурную ткань русской жизни, тогда как во втором объектом сохранения становится сама государственность. Ледяная пустыня — идеальный объект приложения организующего и упорядочивающего принципа государственности, и практика освоения безлюдных северных пространств может иметь не только прагматическое, но и глубокое символическое значение.

Вместе с тем за явной противоположностью образов Святой Руси и ледяной пустыни (а также тех идеальных комплексов, которые этими образами могут подразумеваться) может быть обнаружено и их единое основание. Это основание связано с теократическим идеалом, которому в мироустроительных проектах, выдвигавшихся русской религиозной философией, отводится весьма важная роль. Единое человечество может быть только человечеством, объединившимся на основе христианского вероучения. «Русская идея» интерпретируется как божественный императив исторического процесса объединения человечества, предлагающего одновременно и глобальную христианизацию и социальные реформы. Представляя собой неотъемлемую часть этого процесса, «русская идея» диктует отказ от национального самоограничения и от церковной автономии. Итогом этого процесса должна стать всемирная, одновременно и светская и духовная теократическая государственность. Вл. Соловьев видит даже такую черту этой грядущей теократии, как симфонию духовной власти (олицетворяемой римским папой) и русского самодержавия (представленного фигурой императора России). Под этой двоякой властью должно объединиться все человечество. У Вл. Соловьева, как и у его единомышленников, такая теократическая схема была отражением на социальном уровне динамики метафизики всеединства, целью которой было уже не объединение человечества, а объединение вселенной, обретение ею ее божественного лика. Интерпретация исторического процесса как богочеловеческого предполагала слияние космической реальности Софии и сакральной реальности Церкви, понимаемой как мистическое тело Христа. Вместе с тем этот необратимый процесс всеобщего объединения допускает, что человечество может объединиться и без Бога, во вселенском муравейнике, в социалистическом хрустальном фаланстере или вавилонском смешении царства Антихриста, т. е. объединиться на более низкой основе (Соловьев, 1991б: 293–427).

Теократия — это социальный проект, но его апокалиптический пафос заставляет воспринимать его как обреченный на неудачу. Показательна в этом отношении мировоззренческая эволюция Вл. Соловьева, на одном из этапов которой увлечение теократическим идеалом играло решающую роль. Наиболее характерными работами этого этапа стали «История и будущность теократии», «Русская идея», «Владимир Святой и христианское государство», «Россия и вселенская церковь». В этих работах ранее намеченная идея объединения всех христианских церквей приобретает форму теократической утопии, идеала общественного устройства человечества, в котором полнота духовной власти отдается римскому первосвященнику. России в этом идеале суждено воплотить полноту не духовной, а светской власти, той политической, государственной силы, которая должна служить опорой для духовной власти Рима. Такие представления были непривычны для русской религиозной мысли, для которой именно Запад олицетворял собой земное, человеческое начало, тогда как Восток провиденциально сохранял связь с божественным началом. Казалось бы, такие представления прочно связывают Восток (включая Россию) с духовным началом, а Запад — с началом светским.

Но вселенское объединение христианских церквей переворачивает эти исходные позиции. Религиозный и склонный к монархическому правлению русский народ должен признать римского папу верховным судьей в религиозных вопросах, а Европа с ее длительными традициями существования институтов демократии и самоуправления должна увидеть политическое совершенство в монархическом идеале, воплощенном в русском самодержавии. Восток и Запад должны поменяться местами, и для этого требуется самоотречение как со стороны России, так и со стороны Европы. Но теократические идеи Вл. Соловьева не были восприняты ни в России, ни в Европе, и разочарование привело философа к построению драматических картин завершения земной истории человечества. Россия падет под натиском азиатских орд, и отравленная византизмом русская церковь не сможет выступить той духовной силой, вокруг которой может быть организовано сопротивление. Россия освободится от азиатского ига не самостоятельно, а в составе объединенных европейских сил, что приведет к образованию Соединенных Штатов Европы. Что касается христианской перспективы, то теперь у Вл. Соловьева на первом плане не теократические идеалы, предполагающие вселенское объединение человечества, а христианство для избранного меньшинства, которое, несмотря на смертельную опасность борьбы с Антихристом, сохранит верность Христу.

Современные исследователи (Оболевич, 2014; Парилов, 2013) вполне обоснованно считают переход Вл. Соловьева от теократических идеалов к апокалиптическим картинам конца мира закономерным. Если вынести за скобки религиозное содержание, то можно утверждать, что теократия у Вл. Соловьева связывается с надеждой на некое абсолютное событие. Но такая надежда становится реальной только тогда, когда осознан крах любого социально-проективного мышления, когда понятна неудача любых попыток организовать человеческую жизнь на основе научных знаний, когда исчезают последние надежды на науку и технический прогресс. Поэтому реальной почвой теократических утопий был не обновленный монархизм, а глубочайший исторический пессимизм. Теократия предполагала окончательный отказ от любых стремлений к «светлому будущему» России. В теократических проектах Россия представляла уже не как магически освященное пространство Розанова и не как «ледяная пустыня» Победоносцева, а как место тектонического разлома, открывающего дверь в иные миры. Это еще один образ, насыщенный геософской семантикой. В третьей речи о Ф. М. Достоевском Вл. Соловьев говорит, что великий русский писатель связывал с Россией «видение Иоанна Богослова о жене, облаченной в солнце и в мучениях хотяющей родити сына мужеска: жена — это Россия, а рождаемое ею есть то новое Слово, которое Россия должна сказать миру... слово примирения для Востока и Запада в союзе вечной истины Божией и свободы человеческой» (Соловьев, 1990: 58). В то же время в «Трех разговорах» именно за этим видением уходят вслед за папой все христиане, а земля, над которой это видение явилось, становится местом, где отворились «двери между земным и загробным миром, и действительно общение живых и умерших, а также людей и демонов сделалось обычным явлением, и развились

новые, неслыханные виды мистического блуда и демонолатрии» (Соловьев, 1991б: 424). Горящая земля, уходящая из-под ног почва, тектонический разлом, открывающий двери в иные миры, — такого рода образы на рубеже XIX–XX столетий все чаще начинают проникать в философские сочинения. Лев Шестов в «Апофеозе беспочвенности» предпринял даже попытку «антисистемного» обобщения такого рода образности (Шестов, 1990). В современных исследованиях эти образы горящей земли и тектонических разломов связываются с формированием специфического дискурса дистопии (Дыдров, 2015). В то же время нельзя не заметить, что такой образ объединяет в себе семантику описанных выше пиктограмм — «Святой Руси» и «ледяной пустыни».

Оценивая в целом русскую религиозную геософию, следует сказать, чтоственные ей теократические проекты сегодня можно воспринимать позитивно лишь на почве глубокого мистицизма, причем гораздо более глубокого, чем во времена Вл. Соловьева. Геософское противопоставление России и Запада уже неоднократно опровергалось самой историей. Уместно будет привести в связи с этим слова Г. Адамовича, относящиеся уже к 30-м годам XX столетия:

Некоторые из самых глубоких русских умов — Тютчев, Достоевский и другие — утверждали, что Россия призвана спасти мир. Запад будто бы подпал под власть дьявола, Россия служит Христу и должна, значит, озарить своим светом заблудившуюся, обезумевшую и грешную часть человечества... Если бы Тютчев, Достоевский или такие славянофилы, как Хомяков, а еще лучше Ив. Киреевский... если бы вышли они из могил и взглянули на современный мир, то в соответствии со своими основными утверждениями должны были бы признать, что христианского лагеря, христианского «стана» на земле больше нет: осталось два сатанинских лагеря, или на крайность, один полностью сатанинский — в России, другой полусатанинский — на Западе. (Адамович, 2000: 383–385)

Но это противопоставление удивительным образом возрождается вновь и вновь — вначале в виде марксистской критики раздираемого внутренними противоречиями капитализма (или централизованного Западом), а в постсоветские времена — в виде странной с точки зрения географии идеологемы «многополярного мира» и страстных ожиданий скорейшего раз渲а Евросоюза. Но консерваторы России наших дней, воспроизводя описанное Адамовичем противопоставление России и Запада, не столько озадачены необходимостью точно следовать идеям своих предшественников, сколько с неожиданной для себя радостью обнаруживают у них совпадения со своими собственными умонастроениями. Такая позиция свидетельствует, что уроки русской геософии едва ли будут усвоены.

Предпринятый нами опыт реконструкции русской религиозной геософии был намеренно ограничен лишь одной из множества возможных тем. Мы старались сосредоточиться на первичном опыте освоения пространства русской религиозной мыслью, поскольку именно с этим первичным опытом и было связано само

зарождение философии в России. Этот опыт раскрывается в последовательности трех образов — образа «Святой Руси» (экспансии вовне сакрального пространства, первоначально ограниченного храмом, связанным с областью сакрального вертикалью), образа ледяной пустыни (где связь с сакральным характеризуется как горизонталь, а сама область сакрального располагается за горизонтом) и образа тектонического разлома, открывающего дверь в иные миры (где восстанавливается вертикальная связь с областью сакрального). В стороне остались такие имеющие геософскую семантику темы, как санкт-петербургская и московская топография русской мысли (Ванчугов, 2015), а также аналитика мира, основанная на том, что в русском языке слово *мир* удивительным образом сочетает в себе две идеи, чаще всего воспринимаемые раздельно: идею всей совокупности всего существующего и идею покоя, согласия, отрицания войны (Бибихин, 2007). Кроме того, заслуживают своего рассмотрения в оптике геофилософии и связанные с ретерриториализацией, т. е. с обретением «земли обетованной» темы утопии, антиутопии, дистопии. Существующие исследования (Гальцева, 1992; Исаев, 1991; Шестаков, 1995) обходят геофилософский аспект русского утопического мышления стороной. Однако процессы глобализации с особой остротой ставят перед исследователями-гуманистами проблему качественного своеобразия пространства и вынуждают пересмотреть прежние подходы. Глобализация в перспективе устраивает все границы и заменяет национально-территориальные образования единым пространством нового мира. Этот необратимый процесс неизбежно приведет к тому, что прежние элементарные способы ориентации в пространстве будут пересмотрены. Такая же судьба ожидает и привычные нам пространственные диспозиции «Восток и Запад», «Россия и Европа». Геофилософия предоставляет инструментарий не только для деструкции привычных географических образов, генерированных в ходе истории и обусловленных специфическими историко-культурными обстоятельствами, но и для теоретического освоения, открывающегося перед нашими глазами единого мирового пространства.

Литература

- Адамович Г. (2000). Комментарии / Сост. О. А. Коростелевой. СПб.: Алетейя.
- Базалук О. А. (2015). Основы геофилософии Украины: на переломе двух культур // Гиляя. № 103. С. 112–115.
- Бибихин В. В. (2007). Мир. СПб.: Наука.
- Богомолов Н. А. (1999). Русская литература начала XX века и оккультизм. М.: НЛО.
- Богомяков В. Г. (2014). Изменения современного геопространственного дискурса // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanities. № 10. С. 22–28.
- Булгаков С. Н. (1905). Душевная драма Герцена. Киев: Изд-во книжного магазина С. И. Иванова и К°.

- Ванчугов В. (2015). Географические предпочтения русской мысли в историко-философской ретроспекции // Тетради по консерватизму. № 5. С. 12–25.
- Гальцева Р. П. (1992). Очерки русской утопической мысли XX века. М.: Наука.
- Дегтярева М. И. (2006). «Лучше быть якобинцем, чем фейяном»: Жозеф де Местр и Сергей Семенович Уваров // Вопросы философии. № 7. С. 105–112.
- Делёз Ж., Гваттари Ф. (2010). Тысяча плато. Капитализм и шизофрения / Пер. с франц. Я. И. Свирского под ред. В. Ю. Кузнецова. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель.
- Делёз Ж., Гваттари Ф. (1998). Что такое философия? / Пер. с франц. С. Н. Зенкина. СПб.: Алетейя.
- Дылдов А. А. (2015). Terra utopia: хребты и плато // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Т. 15. № 1. С. 110–112.
- Замятин Д. Н. (2006). Культура и пространство: моделирование географических образов. М.: Знак.
- Замятин Д. Н. (2008). Геократия: Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации // Безопасность Евразии. № 4. С. 213–219.
- Замятин Д. Н. (2009). Локальные мифы: модерн и географическое воображение // Обсерватория культуры. № 2. С. 14–23.
- Замятин Д. Н. (2012). Метагеографические оси Евразии // Историческая география. № 1. С. 206–246.
- Замятин Д. Н. (2014). Метафизика путешествия // Человек. № 1. С. 5–17.
- Исаев И. А. (1991). Политико-правовая утопия в России: конец XIX — начало XX века. М.: Наука.
- Калуцков В. Н. (2012). Геоконцепты в региональных исследованиях // Россия и Запад: диалог культур. № 1. URL: <http://www.regionalstudies.ru/journal/homejornal/rubric/2012-11-02-22-16-38/168--1-r.html> (дата доступа: 09.08.2016).
- Каччари М. (2004). Геофилософия Европы / Пер. с итал. С. А. Мальцевой. СПб: Пневма.
- Киреевский И. В. (2002). О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России // Киреевский И. В. Разум на пути к истине / Сост. Н. Лазаревой. М.: Правило веры. С. 151–213.
- Корнилов Вл. В., Корнилов В. В., Минеев В. В. (2013). Геофилософские аспекты российской ментальности: опыт оправдания статуса научной дисциплины // Актуальные проблемы философии и социологии. Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева. С. 160–165.
- Леонтьев К. Н. (2010). Византизм и славянство // Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России / Сост. А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации. С. 34–172.
- Лишаев С. А. (2003). Возникновение русской философии (языковой аспект) // Mixtura verborum'2003: возникновение, исчезновение, игра / Под общ. ред. С. А. Лишаева. Самара: Изд-во Самарской гуманитарной академии. С. 120–153.

- Марченко О. В. (2014). Григорий Сковорода и Жозеф де Местр (об одном забытом сюжете) // Соловьевские исследования. № 4. С. 124–141.
- Миронов М. П., Банных С. Г., Емельянов Б. В. (2009). Геософия русской мысли. Екатеринбург: Уральский ин-т Гос. противопожарной службы.
- Мустафин А. А., Трахтенберг Л. И. (2015). Геосоциологическая парадигма в русской философии. Ангарск: АГТА.
- Надточий Э. (2002). Путями Авеля // Логос. № 3–4. С. 300–331.
- Оболевич Т. (2014). Метафизические обоснования экуменического проекта Владимира Соловьева // Богословие. Культура. Образование. Т. 18. № 4. С. 576–586.
- Окунев И., Кучимов А. (2013). Сопряжение пространства и власти. Многообразие ликов современной geopolитики // Международные процессы. Т. 11. № 34. С. 74–84.
- Осипов И. Д. (2006). Геософия культуры евразийства // Вече. Альманах русской философии и культуры. Вып. 17. С. 97–114.
- Парилов О. В. (2013). Хилиастические мотивы в творчестве Ф. М. Достоевского, сформированные под влиянием концепции всемирной теократии В. С. Соловьева // Соловьевские исследования. Вып. 2. С. 16–28.
- Побединский В. Н. (2009). Культура и «почва» в учении евразийцев: геософия или geopolитика // Вопросы культурологии. № 11. С. 23–27.
- Райт Дж. К. (1988). Географические представления в эпоху крестовых походов: исследования средневековой науки и традиции в Западной Европе / Пер. с англ. А. М. Кабанова под ред. Е. А. Мельниковой. М.: Наука.
- Рамсей Р. (1977). Открытия, которых никогда не было / Пер. с англ. Г. М. Углицкой. М.: Прогресс.
- Ремизов М. (2006). Консерватизм сегодня: аналитический обзор // Волшебная гора. № XII. С. 24–48.
- Розанов В. В. (1990). Уединенное // Розанов В. В. Сочинения. Т. 2: Уединенное. Л.: Васильевский остров. С. 195–274.
- Савицкий П. Н. (1997). Географический обзор России—Евразии // Савицкий П. Н. Континент Евразия. М.: Аграф. С. 282–286.
- Савицкий П. Н. (2002). Географические и geopolитические основы евразийства // Основы евразийства / Под ред. А. Г. Дугина. М.: Арктогея-центр. С. 297–323.
- Соловьев В. С. (1990). Три речи в память Достоевского // Соловьев В. С. Литературная критика / Сост. Н. И. Цимбаева. М.: Современник. С. 35–58.
- Соловьев В. С. (1991а). Русская идея // Соловьев В. С. Смысл любви / Сост. Н. И. Цимбаева. М.: Современник. С. 41–68.
- Соловьев В. С. (1991б). Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе // Соловьев В. С. Смысл любви / Сост. Н. И. Цимбаева. М.: Современник. С. 293–427.
- Тростников В. (2010). Вера и разум: европейская философия и ее вклад в познание истины. М.: Грифон.

- Фирсов С. Л. (1996). Человек во времени: штрихи к портрету Константина Петровича Победоносцева // Победоносцев: pro et contra / Сост. С. Л. Фирсова. СПб.: РХГИ. С. 6–27.
- Худяев А. С. (2015). «Сакральное пространство» и «сакральная география» как семиотические концепты // Человек. Культура. Образование. № 3. С. 90–101.
- Шестаков В. П. (1995). Эсхатология и утопия: очерки русской философии и культуры. М.: Владос.
- Шестов Л. (1990). Апофеоз беспочвенности: опыт адогматического мышления. Л.: Изд-во ЛГУ.
- Элиаде М. (1994). Священное и мирское / Пер. с франц. Н. К. Грабовского. М.: Изд-во МГУ.
- Bonta M., Protevi J. (2004). Deleuze and Geophilosophy: A Guide and Glossary. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Gasché R. (2014) Geophilosophy: On Gilles Deleuze and Félix Guattari's *What Is Philosophy?* Evanston: Northwestern University Press.
- Günzel S. (2001). Geophilosophie: Nietzsches philosophische Geographie. Berlin: Akademie Verlag.
- Webb P. T., Gulson N. K. (2015). Policy, Geophilosophy and Education. Rotterdam: Sense.
- Wright J. K. (1947). Terra Incognitae: The Place of the Imagination in Geography // Annals of the Association of American Geographers. Vol. 37. № 1. P. 1–15.

Russian Religious Geosophy: An Attempt of Philosophical and Historical Reconstruction

Vladimir Bystrov

Doctor of Philosophy, Professor, Saint Petersburg University

Address: Universitetskaya nabereznaya, 7/9, Saint Petersburg, Russian Federation 199034

E-mail: vyb83@yandex.ru

Sergei Dudnik

Doctor of Philosophy, Professor, Saint Petersburg University

Address: Universitetskaya nabereznaya, 7/9, Saint Petersburg, Russian Federation 199034

E-mail: s.i.dudnik@gmail.com

Vladimir Kamnev

Doctor of Philosophy, Professor, Saint Petersburg University

Address: Universitetskaya nabereznaya, 7/9, Saint Petersburg, Russian Federation 199034

E-mail: kamnev4@yandex.ru

In the article, an attempt is undertaken to apply the concept of geophilosophy of G. Deleuze and F. Guattari to the main range of problems of Russian religious philosophy. Under such an approach,

world development projects are put into the foreground, in particular, Vl. Solovyov's project of universal theocracy. The authors begin with the representation that such world-organizing projects are an obligatory component of a nascent philosophical discourse. Several key themes of Russian thought, that is, such "Russian ideas" as the opposition between Russia and Europe, or the historical mission of Russia, are considered not only from the point of view of the validity or untruthfulness of their content, but as a specific intellectual experience of the reclamation of world areas by the means of philosophical thought, and the experience of geosophy. As opposition to the West failed, the sacral dimension of the expanse of Russia's geography appears not only as a sacred geographical region or as a mystical, corporeal sphere (V. V. Rozanov), but also as an "icy desert" (K. P. Pobedonostsev), or as a tectonic break opening doors to another world (Vl. Solovyov and Sophiology). The world-development projects of Russian philosophy naturally find a universal scale, a possibility owing to specific "non-dualistic" uses of the category of the world. The experience of Russian geosophy, both positive and negative, remains a reality and deserves serious consideration.

Keywords: the world (peace), space, Russia, the West, philosophy, geosophy, Russian idea, theocracy, conservatism

References

- Adamovich G. (2000) *Kommentarii* [Commentaries], Saint Petersburg: Aleteia.
- Bazaluk O. (2015) *Osnovy geophilosophii Ukrayny: na perelome dvuch kultur* [The Foundations of Ukrainian Geophilosophy: At the Turning Point of Two Cultures]. *Gileya*, no 103, pp. 112–115.
- Bibihin V. (2007) *Mir* [The World], Saint Petersburg: Nauka.
- Bogomolov N. (1999) *Russkaya literature nachala XX veka i okkultism* [Russian Literature at the Beginning of 20th Century and Occultism], Moscow: New Literary Observer.
- Bogomyakov V. (2014) *Izmeneniya sovremennoogo geoprostranstvennogo diskursa* [The Change in Modern Geospatial Discourse]. *Bulletin of Tyumen State University: Humanitarian Studies. Humanities*, no 10, pp. 22–28.
- Bonta M., Protevi J. (2004) *Deleuze and Geophilosophy: A Guide and Glossary*, Edinburg: Edinburg University Press.
- Bulgakov S. (1905) *Duschevnaya drama Gertseva* [The Mental Drama of Herzen], Kiev: Ivanov and Co.
- Cacciari M. (2004) *Geophilosophia Evropy* [Geophilosophy of Europe], Saint Petersburg: Pnevma.
- Degtyareva M. (2006) "Luchsche bytj yakobintsem, chem feyanom": Zhozeph de Mestr i Sergei Semenovich Uvarov ["It's better to be Jacobin than Feuillant": Joseph de Maistre and Sergey Semenovich Uvarov]. *Voprosy philosophii*, no 7, pp. 105–112.
- Deleuze G., Guattari F. (2010) *Tysyacha plato: kapitalizm i schizopreniya* [A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia], Ekaterinburg: U-Faktoria.
- Deleuze G., Guattari F. (1998) *Chto takoe filosofiya?* [What is Philosophy?], Saint Petersburg: Aleteia.
- Dydrov A. (2015) *Terra utopia: hrebty i plato* [Terra Utopia: Mountain Ranges and Plateaus]. *Bulletin of Southern Ural State University*, vol. 15, no 1, pp. 110–112.
- Eliade M. (1994) *Svyashchennoe i mirskoe* [Sacred and Profane], Moscow: MSU.
- Firsov S. (1996) *Chelovek vo vremeni: shtrichi k portretu Konstantina Petrovicha Pobedonostseva* [Person in Time: Some Strokes to the Portrait of Konstantin Petrovich Pobedonostsev]. *Pobedonostsev: pro et contra* [Pobedonostsev: Pro et Contra], Saint Petersburg: RCHI, pp. 6–27.
- Galtseva R. (1992) *Ocherki russkoj utopicheskoi mysli XX veka* [Essays on Russian 20th Century Utopian Thought], Moscow: Nauka.
- Gasché R. (2014) *Geophilosophy: On Gilles Deleuze and Félix Guattari's What Is Philosophy?*, Evanston: Northwestern University Press.
- Günzel S. (2001) *Geophilosophie: Nietzsches philosophische Geographie*, Berlin: Akademie Verlag.
- Hudyaev A. (2015) "Sacralnoe prostranstvo" i "sacralnaya geografiya" kak semioticheskie kontsepty ["Sacred Space" and "Sacred Geography" as Semiotics Concepts]. *Man. Culture. Education*, no 3, pp. 90–101.

- Isaev I. (1991) *Polotiko-pravovaya utopia v Rossii: konets XIX — nachalo XX veka* [Political and Legal Utopia in Russia: From the End of 19th to the Beginning of 20th Century], Moscow: Nauka.
- Kalutskov V. (2012) Geokonsepty v regionalnykh issledovaniyakh [Geoconcepts in Regional Studies]. *Russia and West: Dialog of Cultures*, no 1. Available at: <http://www.regionalstudies.ru/journal/homejurnal/rubric/2012-11-02-22-16-38/168-l-r.html> (accessed 9 August 2016).
- Kireyevsky I. (2002) O charaktere prosvessheniya Evropy i ego otnoshenii k prosvessheniyu Rossii [On the Character of the Enlightenment in Europe and Its Relation to the Enlightenment of Russia]. *Razum na puti k istine* [Reason on Its Way to the Truth], Moscow: Pravilo Very, pp. 151–213.
- Kornilov V., Kornilov V., Mineev V. (2013) Geophilosophskie aspekty rossiiskoi mentalnosti: opyt opravdaniya statusa nauchnoi distsipliny [Geophilosophical Aspects Russian Mentality: An Essay on the Justification of Scientific Discipline's Status]. *Aktual'nye problemy filosofii i sociologii* [Actual Problems of Philosophy and Sociology], Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Pedagogical University, pp. 160–165.
- Leontiev K. (2010) Vizantism i slavyanstvo [Byzantium and the Slavicness]. *Slavyanofilstvo i gryadushchie sudby Rossii* [Slavophilism and the Coming Fortunes of Russia], Moscow: Institute of Russian Civilization, pp. 34–172.
- Lischaev S. (2003) Vozniknovenie russkoi philosophii (yazykovyi aspect) [Beginnings of Russian Philosophy (Language Aspect)]. *Mixtura verborum'2003: vozniknovenie, исчезновение, игра* [Mixtura Verborum'2003: Emergence, Disappearance, Play], Samara: Samara Humanitarian Academy, pp. 120–153.
- Marchenko O. (2014) Grigorii Skovoroda i Zhozeph de Mestr: ob odnom zabytom sjuzhetu [Grigory Skovoroda and Joseph de Maistre: About a Forgotten Theme]. *Solovyov Studies*, no 4, pp. 124–141.
- Mironov M., Bannych S., Emeljanov B. (2009) *Geosophia russkoi mysly* [Geosophy of Russian Thought], Yekaterinburg: Ural Institute of the State Fire Service.
- Mustaphin A., Trachtenberg L. (2015) *Geosociologicheskaya paradigma v russkoi philosophii* [Geosociological Paradigm in Russian Philosophy], Angarsk: AGTA.
- Nadtochy E. (2002) Putyami Avelya [Avel's Ways]. *Logos*, no 3-4, pp. 300–331.
- Obolevich T. (2014) Metaphizicheskie obosnovaniya ekumenicheskogo proekta Vladimira Solovjeva [Metaphysical Grounds of Vladimir Solovyov's Ecumenical Project]. *Theology. Culture. Education*, vol. 18, no 4, pp. 576–586.
- Okunev I., Kuchimov A. (2013) Sopryazhenie prostranstva i vlasti: mnogoobrazie likov sovremennoi geopolitiki [Coupling of Space and Power: Diversity of Modern Geopolitics' Faces]. *International Processes*, vol. 11, no 34, pp. 74–84.
- Osipov I. (2006) Geosophia kultury evraziistva [Eurasian Geosophy of Culture]. *Veche*, no 17, pp. 97–114.
- Parilov O. (2013) Chiliasticheskie motivy v tvorchestve F. M. Dostoevskogo, sformirovannye pod vliyaniem kontseptsiy vsemirnoi teokratii V.S. Solovyova [Chiliastic Motives in Ph. Dostoevsky's Work, Formed Under the Influence of V. Solovyov's Conception of Worldwide Theocracy]. *Solovyov Studies*, no 2, pp. 16–28.
- Pobedinsky V. (2009) Kultura i pochva u uchenii evraziitsev: geosophia ili geopolitika [Culture and Soil in Eurasian Doctrine: Geosophy or Geopolitics]. *Voprosy kulturologii*, no 11, pp. 23–27.
- Ramsay R. H. (1977) *Otkrytiya, kotorych nikogda ne bylo* [No Longer on the Map], Moscow: Progress.
- Remizov A. (2006) Konservatism segodnya: analiticheskii obzor [Conservatism Today: Analytical Review]. *Magic Mountain*, no 12, pp. 24–48.
- Rozanov V. (1990) Uedinennoe [The Lonely]. *Sochinenija. T. 2: Uedinennoe* [Works, Vol. 2: The Lonely], Leningrad: Vasiljevskii ostrov, pp. 195–274.
- Savitsky P. (1997) *Geographicheskii obzor Rossii-Evrazii* [Geographical Review of Russia-Eurasia]. *Kontinent Eurasia* [Eurasian Continent], Moscow: Agraph, pp. 282–286.
- Savitsky P. (2002) *Geographicheskie i geopoliticheskie osnovy evraziistva* [Geographical and Geopolitical Foundations of Eurasian Doctrine], Moscow: Arctogeya-centre, pp. 297–323.
- Shestakov V. (1995) *Eshatologiya i utopia: ocherki russkoi philosophii i kultury* [Eschatology and Utopia: Essays in Russian Philosophy and Culture], Moscow: Vlados.
- Shestov L. (1990) *Apopeoz bespochvennosti: opyt adogmaticheskogo myschljeniya* [Apotheosis of Groundlessness: An Attempt of Adogmatic Thinking], Leningrad: LSU.

- Solovyov V. (1990) *Tri rechi v pamyat Dostoevskogo* [Three Speeches in Memory of Dostoevsky]. *Literaturnaja kritika* [Literary Criticism], Moscow: Sovremennik, pp. 35–58.
- Solovyov V. (1991) *Russkaya ideya* [The Russian Idea]. *Smysl lubvi* [The Meaning of Love], Moskow: Sovremennik, pp. 41–68.
- Solovyov V. (1991) *Tri razgovora o voine, progresse i kontse vsemirnoi istorii, so vklucheniem kratkoi povesti ob Antichriste* [Three Conversations about War, Progress and the End of World History Including Short Story about Antichrist]. *Smysl lubvi* [The Meaning of Love], Moskow: Sovremennik, pp. 293–427.
- Trostnikov V. (2010) *Vera I razum: evropeiskaya philosophia I ee vklad v poznanie istiny* [Faith and Reason: European Philosophy and Its Contribution in Knowledge of Truth], Moskow: Griphon.
- Vanchugov V. (2015) *Geographicheskie predpochteniya russkoi mysli v istoriko-philosophskoi retrospekteksii* [Geographical Preferences of Russian Thought in Historical and Philosophical Retrospection]. *Essays on Conservatism*, no 5, pp. 12–25.
- Webb P. T., Gulson N. K. (2015) *Policy, Geophilosophy and Education*, Rotterdam: Sense.
- Wright J. K. (1947) *Terra Incognitae: The Place of the Imagination in Geography*. *Annals of the Assosiation of American Geographers*, vol. 37, pp. 1–15.
- Wright J. K. (1988) *Geographicheskie predstavleniya v epochu krestovykh pochodov: issledovaniya srednevekovoi nauki i traditsii v Zapadnoi Evrope* [The Geographical Lore of the Time of the Crusades: A Study in the History of Medieval Science and Tradition in Western Europe], Moscow: Nauka.
- Zamyatin D. (2006) *Kultura i prostranstvo: modelirovanie geographicheskikh obrazov* [Culture and Space: Modelling of the Geographical Images], Moscow: Znak.
- Zamyatin D. (2008) *Geokratia: Evrazia kak obraz, simvol i proekt rossiiskoi tsivilizatsii* [Geocracy: Eurasia as an Image, Symbol, and Project of Russian Civilization]. *Bezopasnost' Evrazii*, no 4, pp. 213–219.
- Zamyatin D. (2009) *Lokalnye mipy: modern i geographicheskoe voobrazhenie* [Local Myths: Modern Geographical Imagination]. *Observatorija kul'tury*, no 2, pp. 14–23.
- Zamyatin D. (2012). *Metageographicheskie osi Evrazii* [Metageographical Axes of Eurasia]. *Istoricheskaja geografija*, no 1, pp. 206–246.
- Zamyatin D. (2014) *Metaphizika puteshestviya* [Metaphysics of Journey]. *Cheloveck*, no 1, pp. 5–17.

Неизменность Чаадаева^{*}

Андрей Тесля

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии
социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского национального университета

Адрес: ул. Тихоокеанская, д. 136, г. Хабаровск, Российская Федерация 680035
E-mail: mestr81@gmail.com

Историософские воззрения П. Я. Чаадаева (1794–1856) активно обсуждались и изучались с момента опубликования первого «Философического письма к даме» в журнале «Телескоп» осенью 1836 г. Однако на протяжении долгого времени круг источников был весьма ограничен — так, вплоть до 1935 г. оставались неизвестны пять из восьми «Философических писем», до последних десятилетий был достаточно ограничен объем переписки Чаадаева, вовлеченный в научный оборот, первое академическое издание сочинений и переписки (все еще не полное) вышло в 1991 г. Публикации последних десятилетий вновь, как и в начале XX века предшествующая волна вводимого в оборот архивного материала, вынуждают существенно изменить или скорректировать существующие оценки. Данная статья направлена в поддержку тезиса о принципиальной неизменности ключевых положений мысли Чаадаева в течение последней четверти его жизни — с момента завершения цикла «Философических писем...» вплоть до кончины. Несомненно, существующая эволюция оценок Чаадаевым как «будущего России», так и конкретных интеллектуальных направлений отечественной мысли (изменение его взглядов на европейские реалии остается за пределами предмета обсуждения статьи) интерпретируется как проявление неизменной принципиальной позиции. Вариации, которые можно наблюдать в 1830-е — первой половине 1850-х гг., остаются ограничены изначальной схемой. Наиболее существенные изменения претерпевают оценки, даваемые Чаадаевым славянофильскому направлению отечественной мысли и Восточной Церкви (ограниченной, впрочем, пределами русского православия). В первом случае эти оценки меняются в определенном диапазоне — Чаадаев как выдвигает новые, так и возвращается к прежним, что демонстрирует сохранение исходной точки зрения, поскольку в противном случае возврат к прежней позиции был бы невозможен без изменения основания. Во втором случае изменение оценки православия оказывается продолжением, раскрытием исходного подхода к интерпретации места России в мировой истории — продолжением необязательным, но теоретически допустимым изначально. Тем самым получает объяснение настойчивость, с какой Чаадаев стремился к опубликованию «Философических писем» в 1832–1836 гг., когда его взгляды на будущее России претерпели внешне существенное изменение.

Ключевые слова: западники, историософия, национализм, славянофилы, философия истории, Чаадаев

© Тесля А. А., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: [10.17323/1728-192X-2016-3-173-195](https://doi.org/10.17323/1728-192X-2016-3-173-195)

* Исследование выполнено в рамках работ по гранту Президента РФ № МК-5033.2015.6. Тема: «Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840–1900-е гг.)».

Чаадаев был умен, остер на язык и саркастичен; он был недоволен почти всем, что делалось вокруг него; он держался независимо и жил вне службы; наконец, он был друг декабристов и опального Пушкина и за его статью был закрыт журнал. Таких данных, пожалуй, и теперь было бы достаточно, чтобы составить человеку репутацию либерала.

(Гершензон, 2000[1908]: 424)

Расхожим является мнение, что Петр Яковлевич Чаадаев к моменту публикации первого «Философического письма к даме» в «Телескопе» Н. И. Надеждина уже существенно пересмотрел свои взгляды — и от того реакция публики и правительства, вызванная текстом, но обращенная на автора, была во многом ложной. Его карали за взгляды, которых он уже не разделял.

На первый взгляд подобное утверждение выглядит более чем обоснованным — за ним стоит анализ серии писем Чаадаева 1832–1836 гг. разным адресатам, его суждений, нашедших отражение даже в печати. Хотя О. Мандельштам и утверждал, что «лучше не касаться «Апологии», конечно, не здесь сказал Чаадаев то, что он думал о России» (Мандельштам, 1971[1915]: 288). Но сказанное Чаадаевым в «Апологии...» если чем и отличается от сказанного им же двумя-тремя годами ранее, то разве что интонацией, переходом от частного письма к публичному тексту и желанием оправдаться — представить иную аранжировку ранее высказанных идей.

И тем не менее этому утверждению противоречат известные нам обстоятельства — настойчивое желание Чаадаева добиться опубликования «Философических писем», причем именно в те годы, когда вроде бы приходится говорить об изменении его взглядов.

Распространение и попытки опубликовать «Философические письма»

Почти сразу же по выходу из уединения и возвращении к жизни московских гостиных¹ Чаадаев охотно знакомит с текстом своих «Философических писем» знакомых и не препятствует дальнейшему их распространению. В написанных

1. Об этом повороте в жизни Чаадаева сохранился известный рассказ Жихарева: «Профессор Альфонский (потом ректор Московского университета), видя его в том нестерпимом для врача положении, которое на обыкновенном языке зовется „ни в короб, ни из короба“, предписал ему „развлеченье“, а на жалобы: „Куда же я поеду, с кем мне видеться, как где быть?“ — отвечал тем, что лично свез его в московский английский клуб. В клубе он встретил очень много знакомых, которых и сам был доволен видеть и которые и ему обрадовались. Чаадаев, из совершенного безлюдья очутившийся в обществе, без всякого преувеличения мог быть сравнен с рыбой, из сухого места очутившейся в воде, с волком, из клетки попавшим в лес, пожалуй, с Наполеоном, из английского плена вдруг увидевшим себя свободным в Европе, во главе трехсот тысяч солдат. Побывавши в клубе, увидав, что общество удостаивает его еще вниманием, он стал скоро и заметно поправляться, хотя к совершенному здоровью никогда не возвращался. С тех пор, без дальних околичностей, он объявил профессора Альфонского человеком добродетельным... своим спасителем, оказавшим ему услугу, и одолжен не врача просто, а настоящего друга» (Жихарев, 1989: 85).

вскорости после смерти Чаадаева воспоминаниях о нем Д. Н. Свербеев², его многолетний московский приятель, говорит: «Я читал некоторые из этих писем (*и кто из людей, ему коротких, не читал их в это время?* [выд. нами. — А. Т.]) и насколько могу теперь припомнить, все они были довольно запутанного содержания» (Свербеев, 2014: 523). М. П. Погодин, в это время еще «мало знакомый с Чаадаевым, читал одно из них (вероятно, первое), уже весною 1830 года» (Гершензон, 2000[1908]: 440).

В 1831 г. Чаадаев передал рукопись нескольких писем Пушкину перед его возвращением в Петербург — с надеждой опубликовать их в столице, где Пушкин рассчитывал на книгопродавца и издателя Ф. М. Беллизара (Пушкин, 1935: 334): «Вероятно, — пишет М. И. Гилльельсон, — по приезде... Пушкин посоветовался с Жуковским (известно, что Пушкин давал читать Жуковскому рукопись Чаадаева³), и они пришли к выводу, что духовная цензура не разрешит печатать...» (Вацуро, Гилльельсон, 1986: 172).

В ноябре 1832 г. Чаадаев вновь попытался издать те же письма, VI и VII, теперь уже в Москве, в типографии А. И. Семена (Там же). Тем более что в № 11 «Телескопа» выходит его небольшой фрагмент «Об архитектуре», заслуживший лестную оценку со стороны Ф. Голубинского, которого А. П. Елагина просила помочь прохождению текста писем через цензуру. Однако последнего он не смог сделать, отвечая:

...первые страницы, где показывается неосновательность Протестантских воззрений против католической церкви, признаны не содержащими в себе ничего сомнительного. Но те места, где сочинитель приписывает первенство Церкви Западной, где говорит, что Папство существенно происходило из истинного духа христианства; также где представляет Моисея как Законодателя, своею силою основавшего веру в единого Бога, и пользуясь которого необыкновенными средствами к достижению сей цели, как человека, говорившего к людям из среды метеора, здешний Цензурный Комитет не мог

2. Чаадаев скончался 14 апреля 1856 г., а предваряющее рукопись воспоминаний письмо к сыну, А. Д. Свербееву, датировано автором 11 мая 1856 г. (текст письма приведен в комментариях к изданию «Записок»: Свербеев, 2014: 843–844).

3. 23 августа 1831 г. В. А. Жуковский писал А. И. Тургеневу: «Манускрипт Чаадаева он [т. е. Пушкин. — А. Т.] давал мне читать и взял его у меня, чтобы отправить к Чаадаеву. Вероятно, что он уже и получен» (Жуковский, 1895: 258). Вопреки мнению М. И. Гилльельсона, полагавшего, что Чаадаев получил оригинал своей рукописи в августе 1831 г. (Вацуро, Гилльельсон, 1986: 172), и В. В. Сапова, предположившего (на основании письма А. И. Тургенева к Пушкину от 29 октября 1831 г., из которого ясно, что Чаадаев еще рукопись не получил), что Пушкин вернул ее Чаадаеву лично в свой московский приезд в декабре 1831 г. — еще в январе 1832 г. Чаадаев не располагал оригиналом, как явствует из недавно опубликованного письма А. П. Елагиной к Жуковскому от 11 января 1832 г., в котором она в числе прочего передает: «Также Чаадаев вас просит прислать его тетрадь, которую отдал вам Пушкин» (Переписка, 2009: 376).

одобрить. И я не мог и не хотел защищать их; ибо поступая так, я пошел бы против истины и против присяги. (II, 527⁴, письмо от 1 февраля 1833 г.)⁵

Потерпев последовательно неудачу в Петербурге и в Москве, Чаадаев в следующем году пишет к кн. П. А. Вяземскому, обсуждая и прикидывая разные возможные варианты публикации, надеется, что столичная цензура будет снисходительнее московской, и склоняется к тому, чтобы письма вышли в каком-нибудь журнале: «Если она увидит свет в одном из периодических сборников, то будет еще большая свобода действий; можно будет выбрать несколько писем, не соблюдая последовательности, и представить их в форме отрывков» (II, 89, письмо от 9 марта 1834 г.).

Так он и поступит в 1836 г. — как известно, в портфеле редакции «Телескопа» находилось по меньшей мере еще одно из «Философических писем», а по сообщению М.К. Лемке, «в 1835 или 1836 году [Чаадаев] отдает два письма открывшемуся тогда „Московскому Наблюдателю“, где они не появляются» (Лемке, 1909: 402). Как веско отмечал М. О. Гершензон, вполне возможно, что мы знаем только о части подобных попыток (Гершензон, 2000[1908]: 441). В 1834 г. Чаадаев в письме к кн. П. А. Вяземскому сообщал, отчего считает желательным опубликовать текст именно в России: «Как вы понимаете, мне было бы легко опубликовать это за границей. Но думаю, что для достижения необходимого результата определенные идеи должны исходить из нашей страны, из России. Такое мнение составляет часть всей совокупности моих мыслей» (II, 88, письмо от 9 марта 1834 г.).

До 1988 г. считалось, что в дальнейшем Чаадаев был вынужден под влиянием постигших его неудач пройти через цензуру, отказаться от изложенной Вяземскому позиции и предпринять в 1835 г. попытку опубликовать одно из своих «Писем» во Франции, для чего он обратился к А. И. Тургеневу (II, 93–94). Однако последний ответил отказом, не рискуя «взять на себя ответственность за подобную публикацию» (Вацуро, Гиллельсон, 1986: 172, со ссылкой на письмо А. И. Тургенева к П. Я. Чаадаеву от 22 августа/3 сентября 1835 г.⁶). После публикации Б. Н. Тарасовым русского перевода письма Чаадаева, обращенного к Луи-Филиппу (Тарасов, 1988, републ.: Чаадаев, 1989: 389; II, 101–102), появилась некоторая вероятность, что просьба о помещении «письма» в каком-нибудь подходящем французском издании относится именно к данному тексту. Таким образом, теперь можно с некоторыми основаниями допустить (ср.: I, 691 и II, 317–318), что для Чаадаева не только стремление опубликовать свой текст именно в России было принципиальным, но от этого намерения он никогда не отказался. Публиковать все или только часть из них — зависело от возможностей пройти цензуру, но если письма могли быть опубликованы избирательно, то каждое из них рассматривалось автором как за-

4. Здесь и далее все ссылки на издание: Чаадаев, 1991, даются в тексте, римская цифра указывает номер тома, арабская — номер страницы.

5. Официальное постановление цензурного комитета от 31 января 1833 г. см.: II, 536–538.

6. Исходный вариант этой интерпретации был представлен Гершензоном (Гершензон, 2000[1908]: 441) с более поздней датировкой, 1836 г. — уточнение датировки см.: Чаадаев, 1914: 196.

конченное произведение, всякий элемент которого хорошо продуман и потому надлежит стремиться избегать любых изъятий. Чаадаеву было удобно работать в эстетике «фрагмента», но каждый фрагмент представлял идеально отшлифованным и соразмерным в своих частях: «Чтобы угодить цензуре, я бы предпочел исключить некоторые письма, но не искашать текст» (II, 89, письмо к кн. П. А. Вяземскому от 9 марта 1834 г.).

В письме к Пушкину 17 июля 1831 г., побуждая того активно способствовать напечатанию фрагментов своего сочинения, Чаадаев объяснял свои мотивы:

Постарайтесь... прошу вас, чтобы мне не пришлось слишком долго дожидаться моей работы, и напишите мне поскорее, что вы с ней сделали. Вы знаете, какое это имеет значение для меня? Дело не в честолюбивом эффекте, но в эффекте полезном. Не то чтобы я не желал выйти немножко из своей неизвестности, принимая во внимание, что это было бы средством дать ход той мысли, которую я считаю себя призванным дать миру; но главная забота моей жизни, это довершить ту мысль в глубинах моей души и сделать из нее мое наследие. (II, 67)

Реакция на «Философические письма»: до и после публикации

Кн. П. А. Вяземский писал Пушкину из Остафьевского московского поместья как раз в то время, когда в Царском Селе Пушкин читал переданные ему Чаадаевым для опубликования «Философические письма» (см. об этом ниже): «Чаадаев выезжает: мне все кажется, что он немного тронулся. Мы стараемся приголубить его и ухаживаем за ним. Между тем сколько есть истинно прекрасного и прекрасно истинного в сочинении его религиозном» (Пушкин, 1982а: 304, письмо от 14 и 15 июля 1831 г.).

К этому письму А. И. Тургенев сделал обширную приписку, целиком посвященную Чаадаеву, — рукопись его вызывала не только интерес, но и весьма оживленное и сочувственное обсуждение⁷. В чем сходились и Пушкин, и А. И. Тургенев (которого Чаадаев незамедлительно познакомил с письмом первого от 6 июля), так в стремлении отделить «христианство» от конфессии⁸. Пушкин пишет, начав,

7. Получил рукопись «Философических писем» он всего за несколько дней до этого, впервые увидев Чаадаева с 1826 г. Брата Николая об этой встрече в письме от 2 июля 1831 г. А. И. Тургенев извещал: «Он обнял меня нежно и в первое же свидание отдал мне часть своего сочинения, в роде Мейстера и Ламенне, и очень хорошо написанное по-французски» (II, 307).

8. В последующем Чаадаев подробно высказывается по этому поводу, полемизируя с И. В. Киреевским, отзываясь на слова последнего о «православном христианстве» («Письмо из Ардатова в Париж», 1845): «Что это за православное христианство? По сие время слыхали мы только о церкви православной, хотя, впрочем, в строгом смысле и это не что иное, как плеоназм, но плеоназм, по крайней мере, необходимый для того, чтобы различить церкви, почитающую себя православной, от тех церквей, которых таковыми не считает; но какая, скажите, была нужда присваивать это прилагательное самому христианству? Разве может быть христианство не православное, т. е. ложное, а все-таки христианство? Разве в области вечного духа непременной правды есть место для какой-нибудь полуправды? Странно, как могли родиться в той именно духовной сфере, которая по праву называет себя единственно истинной, эта несознательность мысли, эта невнятность христианского поня-

разумеется, с многочисленных похвал в адрес VI и VII «Философических писем»: «Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? Первоначально эта идея была монархической, потом она стала республиканской» (Пушкин, 1982б: 275).

Тургенев со своей стороны подхватывает эти слова и отвечает Пушкину:

Поставь на место католицизма — христианство, и все будет на месте; но в том-то и ошибка его и предтечей его: Мейстера, Бональда, Ламене, Свечиной.

На словах и в записочках я часто бесил сию превосходно мыслящую четверку тем же замечанием; но они не сдаются ни на рассуждения, ни на историю, в коей видят только Рим и церковь, а не мир и религию [выд. нами. — А. Т.]. Чаадаев попал на ту же мысль, или лучше увлечен ими на ту же дорогу, хотя он — выслушивает и другую сторону: т. е. читает и протестантов; но находит в них или подтверждение своему взгляду на историю, или слабые доказательства, кои спешит обессилить, или устраниется от состязания, когда доводы противников слишком сильны. (Пушкин, 1982а: 74, письмо от 15 июля 1831 г.)

Иными словами, Пушкин и Тургенев интерпретировали «христианство» в смысле «христианской культуры», как культурный феномен, «религию», а не как Церковь. Для Чаадаева речь шла о том, как христианство (в смысле веры и Церкви) оказывается воздействующим на все сферы человеческого существования, так что воздействие веры можно обнаружить в самых далеких от веры делах, но при этом сохраняя принципиальное отличие того, что воздействует, от того, что воздействию подвергается⁹. Церковь действует в истории, но при этом она «больше» истории, не может быть растворена в последней без остатка.

М. А. Дмитриев, один из тех, кому Чаадаев после публикации русского перевода, выполненного Н. Х. Кетчером, послал отдельный оттиск из журнала (I, 581), вспоминал: «Я читал все эти письма в рукописи: он давал мне их французский подлинник. <...> Первое письмо было особенно замечательно: в нем было много горькой правды, сказанной резко, но метко и красноречиво, хотя и не всегда верно» (Дмитриев, 1998: 366, 367).

Эффект, произведенный письмом после его опубликования в № 15 «Телескопа» за 1836 г., — следствие, с одной стороны, выхода за рамки своего круга, а с другой — разницы «рукописного» и «опубликованного». Тот же Вяземский, находивший в рукописи множество «истинно прекрасного и прекрасно истинного», спустя пять лет использовал скандал, вызванный публикацией письма, для того,

тия, это необдуманное сочетание слов, допускающие как будто возможность христианства хотя и не истинного, однако не теряющего через то права называться христианством [выд. нами. — А. Т.]» (I, 547–548).

9. О философии религии П. Я. Чаадаева см. сжатый, но весьма глубокий очерк: Антонов, 2013: 37–41.

чтобы попытаться атаковать образовательную политику Министерства народного просвещения и лично С. С. Уварова. Он обвинил его в поддержке скептических взглядов, под которыми понимал содержание трудов не только М. Т. Каченовского, но и Н. Г. Устрялова, поскольку последний осмелился критически отнестись к Н. М. Карамзину, которому Вяземский приходился шурином:

Исторический скептицизм, терпимый и даже поощряемый министерством просвещения, неминуемо довел до появления в печати известного письма Чаадаева, помещенного в *Телескопе*. Напрасно искать в сем явлении тайных пружин, движимых злоумышленными руками. Оно просто естественный и созревший результат направления, которое дано исторической нашей критике. Допущенное безверие к писанному довело до безверия к действительному. Подлежащие вам места как будто именем правительства говорили учащемуся поколению: не учитесь Карамзину! Не верьте ему! Не другими ли словами говорили они: не учитесь Русской Истории! Не верьте ей! Ибо нельзя же учиться по белой бумаге и по пустому месту. *Письмо Чаадаева не что иное, в сущности своей, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин* [выд. нами. — А. Т.]. Тут никакого умысла и помысла политического не было. Было одно желание блеснуть новостью воззрений, парадоксами и попытать силы свои в упражнениях по части искажения Русской Истории. <...> Перечтите со вниманием и без предубеждения все, что писано было у нас против *Истории Государства Российского* и самого Карамзина, сообразите направление, мнение и дух нового исторического учения, противопоставленного учению Карамзина, и из соображений ваших неминуемых итогом выйдет известное письмо, которое так дорого обошлось бедному Чаадаеву. (Вяземский, 1879: 221, 222)

В 1875 г. Вяземский вновь изменил свои взгляды — или, по меньшей мере, публичное суждение — о сочинении Чаадаева, возлагая вину на нравы журналистики и особенности характера автора, целиком поддержав версию об обстоятельствах публикации в «Телескопе», изложенную в показаниях Чаадаева 1836 г. (I, 580–581):

Может быть придал и ему значение не по росту. Во всяком случае прямого отношения к Русской литературе в нем нет. Писано оно было на Французском языке и к печати не назначалось. Любезнейший аббатик, как прозвал его Денис Давыдов, довольствовался чтением письма в среде Московских прихожанок своих, которых был он настоятелем и правителем по делам совести (*directeur de conscience*). Бестактность журналистики нашей с одной стороны, с другой обольщение авторского самолюбия, придали несчастную гласность этой конфиденциальной и келейной ультрамонтанской энциклопедии, пущенной из Басманского Ватикана. (Вяземский, 1879: 214)

Гершензон, заканчивая рассказ о попытке Чаадаева в 1833 г. вернуться на службу, пишет: «Так кончилась эта классическая история о наивном философе и грубою капрале; но ничего нет мудреного, если в Петербурге уже теперь зародилось

подозрение насчет нормальности умственных способностей Чаадаева» (Гершензон, 2000[1908]: 439). Однако Вяземский уже в 1831 г. произнес слова о безумии Чаадаева («немного тронулся» — см. его письмо к Пушкину от 14 и 15 июля 1831 г., цитированное ранее). Императору, подыскивавшему слова, чтобы оценить поступок Чаадаева, достаточно было прислушаться к голосам друзей и приятелей последнего. Обиходная фраза внезапно приобрела окончательность вердикта в резолюции Николая I (22.X.1836) на докладе Уварова от 20 октября 1836 г.: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалищенного...» (Лемке, 1909: 413)¹⁰.

Принцип Чаадаева

И реакция общества, и решение императора, реализованное с усугубляющейся конкретностью по ступеням бюрократической лестницы — от шефа жандармов и министра народного просвещения до московского генерал-губернатора, а от него к чинам полиции — и оскорбление, которое в 1848 г. попытался нанести Чаадаеву П. В. Долгоруков, рассыпая подложное письмо от заезжего врача с предложением исцелить Чаадаева от безумия и тем завоевать себе в московском обществе незыблемую репутацию (см.: Жихарев, 1989: 114–115, 371) — все это вызвано опубликованным текстом «Философического письма к даме».

Прот. Г. Флоровский утверждал: «Чаадаев не был мыслителем в собственном смысле слова. Это был умный человек, с достаточно определившимися взглядами. Но было бы напрасно искать у него „систему“. У него есть принцип, но не система. И этот принцип есть постулат христианской философии истории. История есть для него создание в мире Царствия Божия. Только через строительство этого Царствия и можно войти или включиться в историю» (Флоровский, 1988[1937]: 248). Сам Чаадаев писал Пушкину нечто весьма схожее: «У меня только одна мысль, вам это известно. Если бы невзначай я и нашел в своем мозгу другие мысли, то они наверное будут стоять в связи со сказанной: смотрите, подойдет ли это вам» (II, 69, письмо от 18 сентября 1831 г.).

Однако те суждения, которые публика увидела в «Философическом письме», не составляли оригинального достояния автора. Относительная распространенность взглядов, высказанных Чаадаевым на прошлое и настоящее России, может быть проиллюстрирована одним, но весьма характерным эпизодом. В известной беседе с «князем К***», приведенной в пятом письме «России в 1839 г.» Астольфа де Кюстина, попутчик автора говорит:

10. Поясняя мотивы императорского решения, австрийский посланник при Петербургском дворе граф Финкельмон в донесении канцлеру Меттерниху от 7.XI.1836 г. писал: «Император, исходя из того, что только больной человек мог написать в таком духе о своей родине, ограничился пока распоряжением, чтобы он был взят под наблюдение двух врачей и чтобы через некоторое время было доложено о его состоянии. Поступая подобным образом, император имел явное намерение как можно скорее прекратить шум, вызванный этим письмом» (цит. по: Вацуро, Гиллельсон, 1986: 167).

Русские не учились в той блистательной школе прямодушия, чьи уроки рыцарская Европа усвоила так твердо, что слово *честь* долгое время оставалось синонимом верности данному обещанию, а слово *чести* по сей день считается священным даже во Франции, забывшей о стольких вещах! Благодетельное влияние крестоносцев, равно как и распространение католической веры, не пошло далее Польши...

Покуда Европа переводила дух после многовековых сражений за Гроб Господен, русские платили дань мусульманам, возглавляемым Узбеком, продолжая, однако, как и прежде, заимствовать искусства, нравы, науки, религию, политику с ее коварством и обманами и отвращение к латинским крестоносцам у греческой империи...

Абсолютный деспотизм, какой господствует у нас, установился в России в ту самую пору, когда во всей Европе рабство было уничтожено. (Кюстин, 2008: 75)

В этих словах видели, вполне резонно, сходство со взглядами Чаадаева — что заставляло предполагать знакомство автора с первым «Философическим письмом...» или личное знакомство с Чаадаевым в Москве¹¹. Однако там, где де Кюстин излагает взгляды собственно Чаадаева, он демонстрирует незнакомство с его текстами и повествует, опираясь лишь на «устную легенду о Чаадаеве» (Мильчина, Осповат, 2008: 961). На данный момент, после опубликования «Опыта об истории России» князя Козловского («князя К***»), в которых тот высказывает «соображения, весьма близкие к тем, которые вложены в уста» собеседника де Кюстина, остается лишь вновь признать «точность воспроизведения французским писателем монологов русского собеседника» (Там же: 767). Биограф кн. Козловского Г. П. Струве центральную главу своего исследования озаглавил «Единомышленник Чаадаева: взгляды Козловского на судьбы России» (Струве, 1950: 39–46). У Козловского легко найти и другие суждения и оценки, сходные с тем, что наиболее возмутили властную и читающую публику после телескопической публикации. Так, Н. И. Тургенев в письме к брату Сергею от 15/29 ноября 1811 г. из Рима передает известие о своей встрече с князем: «Я с ним много спорил и просил о таких предметах, которые никакому сомнению не подвержены; он утверждает, что Русский народ никакого характера не имеет» (цит. по: Струве, 1950: 40).

Эти и другие подобные суждения позволяют восстановить меру оригинальности Чаадаева. То, что в первую очередь занимало публику, оказывалось привлекающим внимание не в силу «парадоксальности» и новизны высказывания, а новизны *публичной речи*, тогда как сказанное было вполне типичным для «русского «религиозного западничества», характерного для времени Александра I» (Валицкий, 2012: 54, прим. 1 к стр. 53). И тем не менее различие принципиально:

Гагарин (а следом за ним почти все, кто писал о Козловском) усматривали в этих высказываниях [князя Козловского. — А. Т.] сходство с тем, как ви-

¹¹ На данный момент «вопрос о том, состоялось ли личное знакомство де Кюстина с Чаадаевым... не поддается удовлетворительному решению» (Мильчина, Осповат, 2008: 961; ср.: Там же: 905).

делась Россия в философии Чаадаева. <...> Но прежде всего следует принципиально разграничить сопоставляемые размышления обоих: одно дело — личные рассуждения экс-дипломата, а совсем другое — идеи, опирающиеся на оригинальную религиозную концепцию философии истории. (Валицкий, 2012: 37, 38)

Собственно, Чаадаев не столько высказывает новые оценки — они общие у него с целым рядом других «религиозных западников» как своего, так и предшествующего и последующего поколения¹², — сколько принимая их как данность, адекватное описание реальности¹³, стремится понять, почему эта реальность такова.

Там, где другие дают практический ответ — принимают католичество, уезжают на Запад навсегда или, по меньшей мере, на столь долгий срок, как это окажется возможно, — Чаадаев дает ответ теоретический, ему важно не только и даже не столько сказать, какова Россия, сколько поместить ее в мировую историю, объяснить, почему она такова.

Схематично ответ на этот вопрос, данный Чаадаевым, общеизвестен — Россия отсутствует в мировой истории как духовный факт именно потому, что смысл мировой истории есть смысл религиозный. Европа, проникнутая этим смыслом, в действительности имеет «общее лицо, семейное сходство» (I, 326), «еще сравнительно недавно вся Европа носила название Христианского мира и слово это значилось в публичном праве» (I, 327). Члены этого «семейства» имеют свои частные предания, свои особенности, но они части одного целого, напротив, Россия не входит в это целое, являясь лишь фактом: «Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера» (I, 330).

Если угодно, перед нами тавтология — Россия не имеет истории потому, что она отъединена от мировой истории (а никакой частной истории быть не может — частное есть последовательность происшествий, смысл же обретается в универсальном или не обретается вообще), а мировая история есть история Царства Божьего, постепенного его установления на земле (см. VIII «Философическое письмо» [I, 434–440]). Отсутствие собственного смысла приводит к тому, что любое внешнее воздействие легко усваивается и столь же легко отбрасывается, прошлое не становится историей:

12. Помимо кн. Козловского можно вспомнить, например, уже упомянутого выше кн. Ивана Гагарина, племянника С. П. Свечиной, с которой Чаадаев был также хорошо знаком и регулярно упоминал о ней в письмах к А. И. Тургеневу, интересуясь новостями о ее парижском салоне, постоянным посетителем которого был его корреспондент.

13. Д. Н. Свербеев вспоминал о разговорах с Чаадаевым в Берне в 1824 г., во время трехлетнего заграничного путешествия последнего: «На вечерах у меня Чаадаев, оставивший службу... и очень недовольный собой и всеми, в немногих словах выражал свое негодование на Россию и на всех русских без исключения. Он не скрывал в своих резких выходках глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно отчаивался в будущем. Он обзвывал Аракчеева злодеем, высших властей военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и пресмыкающимся в рабстве» (Свербеев, 2014: 377).

Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. <...> У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи вымеваются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т. е. по линии, не приводящей к цели. (I, 326)

Таким образом, Чаадаев формулирует ряд последовательных тезисов:

- 1) Прошлое и настоящее России исключительно, она — исключение из порядка народов: «Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет» (I, 330).
- 2) При этом исключительность эта — целиком негативна, состоит в непричастности мировой истории, отсутствии целей и смыслов, которые придают содержание жизни народов европейских.
- 3) Но мировая история потому и является историей, а не цепью происшествий, что обладает смыслом — и смысл этот провиденциальный.
- 4) Следовательно, исключенность России из мировой истории сама должна иметь смысл: «...мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке» (I, 330).
- 5) Прямолинейный ответ на этот вопрос дан в самом начале первого «Философического письма»: «Если мы хотим подобно другим цивилизованным народам иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все воспитания человеческого рода» (I, 325) — этот вариант и был прочитан и услышан публикой, воспринявшей текст Чаадаева как проповедь католичества. И для такой интерпретации у публики были веские основания, но несколькими страницами позднее в том же тексте Чаадаев отмечает, что предыдущие попытки ни к чему не привели:

Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы приводить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека¹⁴. (I, 330)

14. Оценка того исторического феномена, который в последующем получил название «движение декабристов», у Чаадаева не двоится между текстами, предназначенными к опубликованию, и текстами частного характера. Так, в оставшемся не отправленном письме к И. Д. Якушкину от 2 мая 1836 г. он аналогично интерпретировал декабристов как очередной пример, подтверждающий его оценку русского настоящего, его безосновности, данную в первом «Философическом письме»: «Ах, друг мой,

6) Разумеется, против этого тезиса есть уже готовое возражение в логике самого Чаадаева — предыдущие попытки оказались безуспешны именно потому, что были попыткой заимствовать плоды, без понимания (или без желания понимать), что делает возможным произрастание таких плодов — попыткой стать частью Европы, частью того, что еще не так давно и в публичном праве звалось «Христианским миром», не принимая важнейшего. Но если это так и России предстоит «вновь повторить у себя все воспитания человеческого рода», то тогда пустота прошлого остается бессмыслицей — «гигантское исключение» так и останется исключением, никак не осмысленным, история для России начнется, но прошедшие века останутся пустотой, отсутствие смысла которой лишь утвердится обретением смысла последующих веков.

Из этого вытекает, что именно сама «пустота» — прошлая и настоящая — должна быть осмысlena положительно, не только как отсутствие, но и как путь к чему-либо — но отнюдь не обязательно в положительном смысле для России. Чаадаев создает матрицу, произвольно допускающую любые варианты пророчествования будущего, — либо России надлежит стать уроком для других, примером и поучением, либо ей предстоит столь же исключительное будущее, в котором «пустота» превратится в преимущество.

Те же самые качества, которые теперь являются недостатками или достоинствами, не приносящими плода, способны в будущем обернуться преимуществом. Чаадаев уже в первом письме, прерывая обличение, делает оговорку, мало кем из современных читателей замеченную: «Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди народов Европы одни добродетели, избави Бог. Но я говорю, что для суждения о народах надо исследовать общий дух, составляющий их сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более совершенному нравственному состоянию и направить к бесконечному развитию, а не та или другая черта их характера» (I, 329, ср. сходное: I, 335–336).

Мировая история в любом случае (именно как история) несет в себе смысл — и смысл этот внеисторичен, но суждение о будущем является (лишь) верой — в смысле надежды и упования. Но если надеяться на то, что «урок» предназначен не

как это попустил Господь совершившись тому, что ты сделал? Как мог он тебе позволить до такой степени поставить на карту свою судьбу, судьбу великого народа, судьбу твоих друзей, и это тебе, тебе, чей ум схватывал тысячу таких предметов, которые едва приоткрываются для других ценою кропотливого изучения? Ни к кому другому я бы не осмелился обратиться с такою речью, но тебя я слишком хорошо знаю и не боюсь, что тебя больно заденет глубокое убеждение, каково бы оно ни было.

Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего — глубины. Мы прожили века так, или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина. Когда восемнадцать веков назад истина воплотилась и явилась людям, они убили ее; и это величайшее преступление стало спасением мира; но если бы истина появилась вот сейчас, среди нас, никто не обратил бы на нее никакого внимания, и это преступление ужаснее первого, потому что оно ни к чему бы не послужило» (II, 105–106).

(только) внешнему зрителю, но и «нам», причем не индивидуально (в смысле обращения в истинную веру), но коллективно, как историческому субъекту, — то это значит, раз история еще не началась для России, что ей суждено начаться.

«Пустота» тем самым оборачивается способностью вместить не любое, но универсальное содержание — любое конкретное оказывается не имеющим укоренения, оно легко принимается и столь же легко отбрасывается впоследствии, поскольку было произвольным. Его принятие вытекало не из внутреннего смысла, не из внутренней потребности, а из случайных обстоятельств — любое другое, удовлетворяющее ту же потребность, могло бы его заместить — и замещает сразу же, как только обстоятельства изменились: «Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица» (I, 325).

Но это же отсутствие «своего», преходящесть любого «чужого», которое держится лишь до тех пор, пока на него не пройдет мода и ее не сменит другая — оно же оборачивается преимуществом не только в текстах, написанных вслед за «Философическими письмами», но и в них же самих — разница в интонации. Если в «Философических письмах» это приглушено — на первом плане обличение, сначала описание пустоты, безосновности, пронизывающей все — от частной жизни до общего порядка существования во времени¹⁵, который и объясняет беспорядок первой, — то в текстах последующих нескольких лет на первый план выходят имеющиеся перспективы. Так, в письме к Ф. В. Й. Шеллингу в 1832 г. Чаадаев говорит о «молодом поколении» соотечественников: «бедное настоящим, но богатое будущим... великие судьбы которого не могут быть безразличны мудрецу» (II, 77).

В письме к Николаю I от 1 июля 1833 г. он, предлагая себя для службы по Министерству народного просвещения, высказывает предположение, «что на учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную основу, в корне расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире [выд. нами. — А. Т.]» (II, 83). В уже несколько раз цитированном выше, имеющем принципиальную значимость, письме Чаадаева к кн. П. А. Вяземскому от 9 марта 1835 г., в котором он впервые из дошедшей до нас эпистолярии дает название предназначенному им к опубликованию циклу «Философические письма, адресованные даме» (II, 89), он поясняет причину, вынуждающую его желать их опубликования именно в России:

15. Чтобы научиться «благоразумно жить в данной действительности», обустроить свой быт, перестав существовать так, что «в домах наших мы как будто определены на постой», Чаадаев считает возможным только поговорив «сначала еще немного на нашей стране», добавляя: «При этом мы не отклонимся от нашей темы. Без этого предисловия вы не сможете понять, что я хочу Вам сказать» (I, 324).

Мы находимся в совершенно особом положении относительно мировой цивилизации и положение это еще не оценено по достоинству. Рассуждая о том, что происходит в Европе, мы более беспристрастны, холодны, безличны и, следовательно, более нелицеприятны по отношению ко всем обсуждаемым вопросам, чем европейцы. Значит, мы в какой-то степени представляем из себя суд присяжных, учрежденный для рассмотрения всех важнейших мировых проблем. Я убежден, что на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного влияния суеверий и предрассудков, наполняющих умы европейцев. И целиком в нашей власти оставаться настолько независимым, насколько необходимо, настолько справедливым, насколько возможно. Прошлое давит на них невыносимо тяжким грузом воспоминаний, навыков, привычек и гнетет их, что бы они ни делали. Исходя из всего этого вы поймете, что я должен сперва исчерпать все возможности публикации в своей стране, прежде чем решиться выступить перед лицом Европы и освободиться от того национального или местного характера, который является частью моих идей. (II, 88–89)

А. И. Тургеневу он пишет год спустя, 1 мая 1835 г.: «Вы знаете, что я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы, имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки» (II, 92).

Между «Философическими письмами» и последующими текстами нет водораздела — не только в первых присутствуют все основания его последующих высказываний, но и в последующем Чаадаев вновь повторяет то и, что важнее, с той же интонацией, что было сказано в 1829–1830 гг. и напечатано в 1836 г. Например, в письме к И. Д. Якушкину, предположительно датируемым 1838 г., но, возможно, относящимся к чуть более поздним годам, он пишет, начиная с автоцитаты:

Кто-то сказал, что «*нам, русским, не достает некоторой последовательности в уме и что мы не владеем силлогизмом Запада*». Нельзя признать безусловно это резкое суждение о нашей умственности, произнесенное умом огорченным, но и нельзя также его совсем отвергнуть. Никакого нет в том сомнения, что ум наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым образом одно из другого, а возникают поодиночке, внезапно, и почти не оставляют по себе следа. Мы угадываем, а не изучаем; мы с чрезвычайною ловкостью присваиваем себе всякое чужое изобретение, а сами не изобретаем; мы постепенности не знаем ни в чем; мы схватываем вдруг, но зато и многое из рук выпускаем. Одним словом, мы живем не продолжительным размышлением, а мгновенною мыслью. Но отчего это происходит? Оттого, что мы не последовательно вперед продвигались; оттого, что мы на пути нашего беглого развития иное пропускали, другое узнавали не в свое время, и таким образом очутились, сами не зная как, на том месте, на котором теперь находимся. Если же мы желаем не шутя вступить на поприще беспредельного совершен-

ствования человечества, то мы должны непременно стараться все будущие наши понятия приобретать со всевозможною логическою строгостью и обращать всего более внимания на методу учения нашего. Тогда может быть перестанем мы хватать одни вершки, как то у нас до сих пор водилось, тогда раскроются понемногу все силы глубокомыслия и стройная дума; тогда мы научимся постигать вещи во всей их полноте, и наконец сравняемся не только по наружности, но и на самом деле, с народами, которые шли иными стезями и правильнее нас развивались, а может статься, и быстро перегоним их, потому что мы имеем перед ними великие преимущества, бескорыстные сердца, простодушные верования, потому что мы не удручены подобно им тяжелым прошлым, не омрачены закоснелыми предрассудками, и пользуемся плодами всех их изобретений, напряжений и трудов. (II, 128–129)

Вопреки расхожим представлениям (см., напр.: Валицкий, 2012: 53), исторический скепсис Чаадаева относительно будущего России не уменьшается, а начинает расти после 1835 г. «Апология сумасшедшего» в этом плане представляет собой не перемену взглядов и не «уступки» (вопреки, напр.: Карпович, 2012: 97), а последний значимый отголосок его настроений первой половины 1830-х гг. Все надежды на великую будущность основываются им в «Апологии...» на том же представлении о России как о не имеющей прошлого — и именно потому способной иметь будущее:

Петр Великий нашел у себя только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова *Европа и Запад*; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться; как бы велик ни был гений этого человека и необычайна энергия его воли, то, что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало ей властно того пути, по которому она должна была идти, чьи традиции были бессильны создать ей будущее, чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление. (I, 527, ср.: I, 501, фр. 204)

Но именно в эти годы позиция Чаадаева начинает существенно меняться — его ожидания великого будущего предполагали имперское видение, универсальная монархия тем лучше могла осуществить свою задачу, что опиралась на народ, не имеющий ничего частного — и, следовательно, способный воспринять в себя всеобщее. В его кабинете висели рядом два портрета — Папы и императора Александра I¹⁶, память которого он чтил до самой смерти¹⁷. В письме к А. И. Тургеневу, приходящему на осень 1835 г., Чаадаев замечает:

¹⁶ А. И. Тургенев писал брату Николаю 2 июля 1831 г., увидев Чаадаева после более чем четырехлетнего затворничества: «Был я у Петра Яковlevича. Нашел его весьма изменившимся: постарел, похудел, и почти весь оплещивел. <...> Повел меня в свой кабинет и показал твой портрет между людьми, для него любезнейшими: импер[атором] Александром и Папою» (II, 307).

¹⁷ См., напр., письмо к А.Я. Булгакову от 25 июля 1853 г. (II, 266)

И почему бы я не имел права сказать и того, что Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику; что *ее дело в мире есть политика рода человеческого* [выд. нами. — А. Т.]; что Император Александр прекрасно понял это, и что это составляет лучшую славу его; что Провидение создало нас слишком великими, чтобы быть эгоистами; что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить; что в этом наше будущее, в этом наш прогресс; что мы представляем огромную непосредственность без тесной связи с прошлым мира, без какого-либо безусловного соотношения к его настоящему; что в этом наша действительная логическая данность; что *если мы не поймем и не признаем этих наших основ, весь наш последующий прогресс во веки будет лишь аномалией, анахронизмом, бессмыслицей* [выд. нами. — А. Т.]. (II, 96)

Именно в 1835 г., с того времени, как доктрина «народности» провозглашается в качестве официальной и одновременно появляются и распространяются разные ранние изводы националистических доктрин, Чаадаев все более мрачно смотрит на происходящее и на перспективы России с точки зрения своей историософии. Отзываясь на триумфальную постановку «Скопина-Шуйского» Н. Кукольника в письме к А. И. Тургеневу от 1 мая 1835 г., он быстро переходит от возмущения по поводу драмы к обсуждению тех тенденций, которые она одновременно знаменует и поддерживает:

В настоящую минуту у нас происходит какой-то странный процесс в умах. Вырабатывается какая-то национальность, которая, не имея возможности обосноваться ни на чем, так как для сего решительно отсутствует какой-либо материал, будет, понятно, если только удастся соорудить что-нибудь подобное, совершенно искусственным создание. Таким образом, поэзия, искусство, все это рухнет в бездну лжи и обмана, и это в тот век, когда, в других местах, огромный анализ расправляет с последними остатками иллюзий в области понимания. В настояще время невозможно предвидеть, куда нас это приведет; быть может, в глубине всего это скрывается некоторое добро, которое и проявится в назначенный для сего час; возможно, что это тоже своего рода анализ, который приведет нас в конце концов к сознанию того, что мы должны искать обоснования для нашего будущего в высокой и глубокой оценке нашего настоящего положения перед лицом века, а не в некотором прошлом, которое является не чем иным, как небытием. Как бы то ни было, в ожидании того, что преднартания Провидения станут явными, это направление умов представляется мне истинным бедствием. <...> [Е]сли это направление умов продолжится, мне придется проститься с моими прекрасными надеждами: можете судить, чувствую ли я себя ввиду этого счастливым. Мне, который любил в своей стране лишь ее будущее, что прикажете мне тогда делать с ней? Этой точке зрения, свободной от всяких предрассудков, от всяких эгоизмов, замедляющих еще в старом обществе конечное развитие разума, точке зрения, к которой принуждает нас самая природа вещей, этому могучему порыву, который должен был перенести нас одним скачком туда, куда другие народы могли прийти лишь путем неслыханных усилий и

пройдя через страшные бедствия, этой широкой мысли, которая у других могла быть лишь результатом духовной работы, поглотившей целые века и поколения, предпочитают узкую идею, отвергнутую в настоящее время всеми нациями и повсюду исчезающую. Ну что ж, пусть будет так; я больше в это вмешиваться не стану. Я громко высказал свою мысль, остальное будет делом Бога. (II, 91–93)

М. Ф. Орлову Чаадаев писал уже 1837 г., после «философической истории»:

Некогда я мечтал, что мне дано распространять среди них [своих друзей]. — А. Т.] кое-какие святые истины, и я говорил с ними, и подчас они слушали меня. Но в один прекрасный день нагрянул ураган, самум подул; и поднялся тогда прах пустыни, забил души и заглушил мой голос. Да будет воля Твоя, о мой Боже, суды твои всегда праведны, и надежды наши всегда тщетны. А все же это был прекрасный сон и сон доброго гражданина. Почему мне не сказать этого? Я долгое время, признаться, стремился к отрадному удовлетворению увидать вокруг себя ряд целомудренных и строгих умов, ряд великолдуших и глубоких душ, чтобы вместе с ними призвать милость неба на человечество и на родину. Я думал, что страна моя, юная, девственная, не испытывающая жестоких волнений, оставивших повсюду в других местах глубокие следы в умах и поныне столь часто отврашающих умы от добрых и законных путей, чтобы бросить их на пути дурные и преступные, предназначена первая провозгласить простые и великие истины, которые рано или поздно весь мир должен принять; что России выпала величественная задача осуществить раньше всех других стран все обетования христианства, ибо христианство осталось в ней незатронутым людскими страстями и земными интересами, ибо в ней оно, подобно своему божественному основателю, лишил молилось и смирилось, а потому мне представлялось вероятным, что ему здесь дарована будет милость последних и чудеснейших вдохновений [выд. нами. — А. Т.].

Химеры, мой друг, химеры все это! Да совершился будущее, каково бы оно ни было, сложим руки и будь что будет, или, склонившись перед святыми иконами, как наши благочестивые и доблестные предки, эти герои покорности, станем ждать в молчании и мире душевном, чтобы оно разразилось над нами, какое бы то ни было, доброе или злое. (II, 125–126)

Тем не менее и в последующие почти два десятилетия, что ему оставалось жить, Чаадаев принципиально не изменил свои взгляды, лишь с возрастающим сарказмом наблюдая текущую политику и увлечения московских славянофилов и иных представителей националистических течений русской мысли. Привычно язвя, например, о защите диссертации Ю. Ф. Самарина (II, 168–171, письмо к А. И. Тургеневу от июня 1845 г.) или в письме к де Сиркуру от 1854 г. о росте «нашего патриотизма» и о новых министерских назначениях: «...все высшие административные посты в империи заняты сейчас людьми, наиболее способными помешать нам сбиться с правильного пути» (II, 269).

А о скандальной грубости и «простоте нравов» семейства московского генерал-губернатора (с 1848 по 1859 г.) А. А. Закревского (см., напр., характеристику: Чичерин, 2010: 191–192, 203) отзывался так:

Вы знаете, что старый либерализм предыдущего царствования — бессмысленная аномалия в стране, благоговейно преданной своим государям... искоренен у нас, слава богу, уже давно; но, к несчастью, кое-что осталось в приемах и в языке людей, которые составляют то, что называют «хорошим обществом». И вот, в настоящих условиях, даже это могло представлять некоторое неудобство в глазах дальновидного администратора. Итак, салоны нового генерал-губернатора, еще недавно место встреч избранного общества, вскоре лишились своих прежних завсегдатаев и наполнились новым обществом, столь же чуждым прежнему, сколько послушным благоразумным требованиям текущего дня. С этой поры там не стали знать другой свободы языка, как та, которую несет с собой нежная легкость нравов, лишенных всякой чопорной стыдливости, любезное наследство эпохи, знаменитой в современной истории Франции. Не могу передать вам все то благо, которое извлекают наши молодые люди из нового режима, который установился в доме градоначальника. В настоящее время нет ничего опаснее, как оставлять молодые умы под властью этих вкусов, слишком прилежных к ученью, где бесплодная работа мысли питается всякого рода предметами воображения, и вот любезное гостеприимство семьи нашего генерал-губернатора предложило очаровательное лекарство против этого зла. Веселая фамильярность матери семейства, пленительные манеры дочери произвели настоящий переворот в пользу правового дела в привычках нашей молодежи. (II, 270–271)

Отношение к славянофильству со стороны Чаадаева претерпело изменение во второй половине 1840-х гг., когда он убедился, что националистический поворот не является кратковременным увлечением — тогда он попытался встроить его в свое историческое видение, сообщая парижскому корреспонденту:

Национальная реакция продолжается по-прежнему. Если ей случается иногда слишком увлечься своими собственными созданиями, принять на себя повадку власти, возомнить себя важной барыней, то не следует за это на нее слишком сердиться. Это черта всех реакций: влюбляться в самое себя, верить слишком слепо в свою правоту, впадать во всякого рода высокомерие, в особенности, когда эти реакции не встречают на своем пути серьезного противодействия, а вы знаете, что противодействие на этой почве в нашей стране почти немыслимо. *Идея туземная, т. е. идея исключительно таковая, торжествует, потому что в глубине этой идеи есть правда и добро* [выд. нами. — А. Т.], потому что она, естественно, должна восторжествовать вслед за тем продолжительным подчинением идеям иностранным, из которого мы выходим. *Настанет день, конечно, когда новое сочетание мировых идей с идеями местными положит конец ее торжеству, а до тех пор нужно терпеть ее успехи и даже злоупотребления, которые она при этом допускает* [выд. нами. — А. Т.]. (II, 185, письмо к А. де Сиркуру от 26 апреля 1846 г.)

В годы Крымской войны он вновь вернется к своей однозначно-негативной оценке националистических учений, именуя их (в первую очередь славянофильство) «ретроспективными утопиями» (*utopies retrospectives*, I, 565, ср.: Чаадаев, 1934)¹⁸ и ставя им в вину сами катастрофические события 1853–1856 гг.: правительство

не поощряло их, я знаю; иногда даже оно на удачу давало грубый пинок ногой наиболее зарвавшимся или наименее осторожным из их блаженного сонма¹⁹; тем не менее, оно было убеждено, что как только оно бросит перчатку нечестивому и дряхлому Западу, к нему устремятся симпатии всех новых патриотов, принимающих свои неоконченные изыскания, свои бессвязные стремления и смутные надежды за истинную национальную политику, равно как и покорный энтузиазм толпы, которая всегда готова подхватить любую патриотическую химеру, если только она выражена на том банальном жаргоне, какой обыкновенно употребляется в таких случаях. Результат был тот, что в один прекрасный день авангард Европы очутился в Крыму. (I, 571–572)²⁰

Единственная принципиальная корректива, внесенная Чаадаевым в свою историософию в последние десятилетия, — это оценка православия. В одном из наиболее поздних фрагментов (№ 203) он переосмысливает в позитивном плане его роль: теперь смирение обращается в достоинство: «Восточная церковь, по-видимому, была предназначена совсем для другого: она должна была идти иными путями. Ее роль состояла в том, чтобы явить мощь христианства, предоставленного единственно своим силам; она в совершенстве выполняла это высокое при-

18. Этот оборот впервые встречается в письме к Шеллингу от 20 мая 1842 г. (II, 145) — в письме к В. А. Жуковскому от 27 мая 1851 г., написанном по-русски, он, видимо, использует в качестве его русского аналога оборот «возвратное движение», «одним из ревностных служителей которого» называя К. С. Аксакова (II, 254).

19. Имеются в виду репрессивные меры правительства в отношении ряда славянофилов: арест в 1847 г. Ф. В. Чижова, арест в 1849 г. Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова и их административная ссылка, цензурный запрет в 1852 г. 2-го тома «Московского Сборника» и фактический запрет печататься, наложенный на ведущих славянофилов, в том числе на А. С. Хомякова, К. С. и И. С. Аксаковых и др. (см.: Цимбаев, 2007: 172–173; Греков, 2014: 860–863, 917–920, 1048–1051).

20. Основное возражение в адрес славянофилов, сформулированное Чаадаевым, напоминает последующие суждения, напр., К. Н. Леонтьева — «ретроспективная утопия», национализм славянофилов стремится, как и его предшественники, убедить в том, что русский народ — такой же народ, как и другие, тогда как он не похож на них, исключителен: «История нашей страны, например, рассказана недостаточно; из этого, однако, не следует, что ее нельзя разгадать. Мысль более сильная, более проникновенная, чем мысль Карамзина, когда-нибудь это сделает. Русский народ тогда узнает, что он такое, или, вернее, то, чего в нем нет. Он принимает себя теперь за такой же народ, как и другие; тогда, я уверен, он с ужасом убедится в своем нравственном ничтожестве; он узнает, что прорицание пока еще давало ему жизнь лишь для того, чтобы иметь в его лице динамическую силу в мире, и пока еще не для того, чтобы проявить себя сознательно. Тогда мы поймем, что имеем вес на земле, но еще не действовали. Подобно тому, как народы, образовавшие новое общество, были сначала призваны на мировую арену как материальная сила и заняли свое место в порядке сознательном лишь после того, как подчинились иту его закона, точно так же и мы в настоящее время представляем только силу физическую; силой нравственной мы станем тогда, когда совершим то же, что совершили они. Но когда это будет?» (I, 456, № 42-а).

звание» (I, 500) или, как он ранее, в 1845 г., писал де Сиркуру: «Наша... церковь по существу — церковь аскетическая, как ваша по существу — социальная: отсюда равнодущие одной ко всему, что совершается вне ее, и живое участие другой ко всему на свету. Это — два полюса христианской сферы, вращающейся вокруг оси своей безусловной истины, своей действительной истины. На практике обе церкви часто обмениваются ролями, но принципы нельзя оценивать по отдельным явлениям» (II, 174) — но в этой поздней интерпретации нетрудно увидеть сохранение основного принципа: именно отсутствие, недостаток дают возможность предполагать великую будущность, поскольку иначе остался бы неясен сам факт существования подобного феномена. Допустить его напрасность — значило бы утверждать отсутствие смысла в течение времени, а в осмысленности прошлого Чаадаев никогда не сомневался. Собственно, из этого и родилась его историософская идея.

Отметим, что сам Чаадаев неоднократно подчеркивал, что «окончил все, что имел сделать, сказал все, что имел сказать» (II, 67, письмо к А. С. Пушкину от 17 июня 1831). Тексты, написанные им в последующие двадцать пять лет, корректируют, уточняют сказанное ранее, служат откликом на меняющуюся ситуацию, но не меняют главного, напротив, позволяют его лучше осознать — как неизменный центр посреди множества самых изменчивых суждений.

Литература

- Антонов К. М. (2013). Философия религии в русской метафизике XIX — начала XX века. М.: Изд-во ПСТГУ.
- Валицкий А. (2012). Россия, католичество и польский вопрос / Пер. спольск. Е. С. Твердисловой. М.: Изд-во МГУ.
- Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. (1986). Сквозь «умственные плотины»: очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М.: Книга.
- Вяземский П. А. (1879). Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Т. II: 1827 г. — 1851 г. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича.
- Гершензон М. О. (2000[1908]). П. Я. Чаадаев: жизнь и мышление // Гершензон М. О. Избранное. Т. 1: Мудрость Пушкина / Сост. С. Я. Левит. М.: Университетская книга; Иерусалим: Gesharim.
- Греков В. Н. (ред.). (2014). Московский сборник. СПб.: Наука.
- Дмитриев М. А. (1998). Главы из воспоминаний моей жизни / Подгот. текста К. Г. Боленко, Е. Э. Ляминой, Т. Ф. Нешумовой. М.: Новое литературное обозрение.
- Жихарев М. И. (1989). Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в.: люди и идеи (мемуары современников) / Под ред. И. А. Федосова. М.: Изд-во МГУ. С. 48–119.
- Жуковский В. А. (1895). Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М.: Русский архив.

- Жуковский В. А., Елагина А. П. (2009). Переписка В. А. Жуковского и А. П. Елагиной: 1813–1853 / Сост. Э. М. Жиляковой. М.: Знак.
- Карпович М. М. (2012). Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII — начало XX века) / Пер. с англ. А. И. Кырлекева и Е. Ю. Моховой. М.: Русский путь.
- Кюстин А. де. (2008). Россия в 1839 году / Пер. с франц. О. Гринберг, С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Страф. СПб.: Крига.
- Лемке М. К. (1909). Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения Собств. Е. И. Величества канцелярии. СПб.: С. В. Бунин.
- Мандельштам О. Э. (1971[1915]). Петр Чаадаев // Мандельштам О. Э. Собрание сочинений. Т. 2: Проза / Под ред. Г. П. Струве, Б. А. Филиппова. Париж: Международное литературное содружество. С. 284–292.
- Мильчина В. А., Основат А. Л. (2008). Комментарий к книге Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». СПб.: Крига.
- Пушкин А. С. (1935). Письма. Т. III: 1831–1833 / Под ред. Л. Б. Модзалевского. М., Л.: Academia.
- Пушкин А. С. (1982а). Переписка А. С. Пушкина. Т. 1 / Сост. В. Э. Вацуро и др. М.: Художественная литература.
- Пушкин А. С. (1982б). Переписка А. С. Пушкина. Т. 2 / Сост. В. Э. Вацуро и др. М.: Художественная литература.
- Свербеев Д. Н. (2014). Мои записки / Изд. подгот. М. В. Батищев, Т. В. Медведева; отв. ред. С. О. Шмидт. М.: Наука.
- Струве Г. П. (1950). Русский европеец: материалы для биографии и характеристики князя П.Б. Козловского. Сан-Франциско: Дело.
- Тарасов Б. Н. (1990). Чаадаев. М.: Молодая гвардия.
- Тарасов Б. Н. (1989). Этические взгляды П. Я. Чаадаева. М.: Знание.
- Тарасов Б. Н. (1988). «Преподаватель с подвижной кафедры»: новое и забытое о П. Я. Чаадаеве и его современниках // Литературная учеба. № 2. С. 91–105.
- Флоровский Г. (1989[1937]). Пути русского богословия. Paris: YMCA-Press.
- Цимбаев Н. И. (2007). Историософия на развалинах империи. М.: Издательский дом Международного ун-та в Москве.
- Чаадаев П. Я. (1914). Сочинения и письма П. Я. Чаадаева / Под ред. М. [О.] Гершензона. М.: Путь.
- Чаадаев П. Я. (1934). Неопубликованная статья // Бонч-Бруевич В. Д., Камнев Л. Б., Луначарский А. В. (ред.). Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. Т. III–IV. М., Л.: Academia. С. 365–390.
- Чаадаев П. Я. (1989). Статьи и письма / Сост. Б. Н. Тарасова. М.: Современник.
- Чаадаев П. Я. (1991). Полное собрание сочинений и избранные письма / Отв. ред. З. А. Каменский. М.: Наука.
- Чичерин Б. Н. (2010). Воспоминания. Т. 1: Москва сороковых годов. Путешествие за границу. М.: Изд-во им. Сабашниковых.

Chaadayev's Permanency

Andrey Teslya

Associate Professor, School of Social Studies and Humanities, Pacific National University

Address: Tihookeanskaya Str., 136, Khabarovsk, Russian Federation 680035

E-mail: mestr81@gmail.com

The historiosophical views of Pyotr Chaadaev (1794–1856) have been widely discussed and studied since the publication of the first *Philosophical Letter to the Lady* in the journal *Telescope* in the autumn of 1836. However, the range of the available works of Chaadaev was limited for a long time. Thus, Chaadaev's five of the eight *Philosophical Letters* remained unknown until 1935, and the number of his letters that were studied was limited until the last few decades. The article aims to support the thesis of the fundamental consistency of the key provisions of Chaadaev in the last quarter of his life, from the completion of the *Philosophical Letters* series until his death. The author interprets the evolution of Chaadaev's assessments of both "the future of Russia" and specific intellectual ideas of the Russian thought as a manifestation of his strong and constant principal position for the variations observed in the 1830s until the first half of 1850s which fit into the original conceptual scheme. Chaadaev's assessments of the Slavophil intellectual movement within Russian thought and the Eastern Church (meaning only the Russian Orthodox Church) underwent the most significant changes. On the one hand, Chaadaev provided new estimates and returned to previous ones, which proves his saving of his original point of view. On the other hand, the changes in the assessment of Orthodoxy turn out to be a continuation and extension of the original approach to the interpretation of the place of Russia in world history.

Keywords: Westernizers, historiosophy, slavophiles, philosophy of history, nationalism, Chaadayev

References

- Antonov K. (2013) *Filosofiya religii v russkoj metafizike XIX — nachala XX veka* [Philosophy of Religion in Russian Metaphysics of 19th — early 20th Century], Moscow: St. Tikhon's Orthodox University.
- Chaadayev P. (1914) *Sochineniya i pis'ma P. Y. Chaadayeva* [Works and Letters of P. Chaadayev], Moscow: Put.
- Chaadayev P. (1934) Neopublikovannaya stat'ya [Unpublished Article]. *Zven'ja: sborniki materialov i dokumentov po istorii literatury, iskusstva i obshchestvennoj mysli XIX veka. T. III–IV* [Links: Selected Papers and Documents on the History of Literature, Art, and Public Thought of the 19th Century, Vol. 3–4], Moscow, Leningrad: Academia, pp. 365–390.
- Chaadayev P. (1989) *Stat'i i pis'ma* [Articles and Letters], Moscow: Sovremennik.
- Chaadayev P. (1991) *Polnoe sobranie sochinenij i izbrannye pis'ma* [Complete Works and Selected Letters], Moscow: Nauka.
- Chicherin B. (2010) *Vospominaniya. T. 1: Moskva sorokovyh godov. Puteshestvie za granicu* [Memories. Vol. 1: Moscow of the 1840s. Travelling Abroad], Moscow: Sabashnikovs.
- Custine A. de (2008) *Rossiya v 1839 godu* [Russia in 1839], Saint Petersburg: Kriga.
- Dmitriev M. (1998) *Glavy iz vospominanij moej zhizni* [Chapters from Memories of My Life], Moscow: New Literary Observer.
- Florovsky G. (1989) *Puti russkogo bogosloviya* [Ways of Russian Theology], Paris: YMCA-Press.
- Gershenson M. (2000) *P. Y. Chaadayev: zhizn' i myshlenie* [P. Chaadayev: Life and Thinking], Moscow: Universitetskaya kniga.
- Grekov V. (ed.) (2014) *Moskovskij sbornik* [Moscow Collection], Saint Petersburg: Nauka.
- Karpovich M. (2012) *Lekcii po intellektual'noj istorii Rossii (XVIII — nachalo XX veka)* [Lectures in Russian Intellectual History (18th — Beginning of 20th Century)], Moscow: Russky put.
- Lemke M. (1909) *Nikolaevskie zhandarmy i literatura 1826–1855 gg.: po podlinnym delam Tret'ego otdeleniya* [Nikolay's Gendarmes and Literature in 1826–1855: Based on Authentic Cases of the Third Branch of the Property His Majesty's Chancellery], Saint Petersburg: S. Bunin.

- Mandelstam O. (1971) *Petr Chaadayev* [Pyotr Chaadayev]. *Sobranie sochinenij* [Works], Paris: Mezhdunarodnoe literaturnoe sodruzhestvo, pp. 284–292.
- Milchina V., Ospovat A. (2008) *Kommentarij k knige Astol'fa de Kyustina "Rossiya v 1839 godu"* [Commentary on de Custine's Book "Russia in 1839"], Saint Petersburg: Kriga.
- Pushkin A. (1935) *Pis'ma. T. III: 1831–1833* [Letters, Vol. 3: 1831–1833], Moscow, Leningrad: Academia.
- Pushkin A. (1982) *Perepiska A. S. Pushkina. T. 1* [A. Pushkin's Correspondence, Vol. 1], Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
- Pushkin A. (1982) *Perepiska A. S. Pushkina. T. 2* [A. Pushkin's Correspondence, Vol. 2], Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
- Struve G. (1950) *Russkij evropeec: materialy dlya biografii i harakteristiki knyazya P. B. Kozlovskogo* [Russian European: Materials for Biography and Characteristic of Prince P. Kozlovsky], San Francisco: Delo.
- Sverbeev D. (2014) *Moi zapiski* [My Memoirs], Moscow: Nauka.
- Tarasov B. (1988) "Prepodavatel s podvizhnou kafedry": novoe i zabytoe o P. Y. Chaadayeve i ego sovremennikah ["Teacher from Versatile Department": New and Forgotten about P. Chaadayev and His Contemporaries]. *Literaturnaja ucheba*, no 2, pp. 91–105.
- Tarasov B. (1989) *Ehticheskie vzglyady P. Y. Chaadayeva* [Ethical Views of P. Chaadayev], Moscow: Znanie.
- Tarasov B. (1990) *Chaadayev* [Chaadayev], Moscow: Molodaya gvardiya.
- Tsimbaev N. (2007) *Istoriosofiya na razvalinah imperii* [Historiosophy on the Ruins of the Empire], Moscow: International Institute in Moscow.
- Valitsky A. (2012) *Rossiya, katolichestvo i pol'skij vopros* [Russia, Catholicism and the Polish Question], Moscow: MSU.
- Vakuro V., Gillelson M. (1986) *Skvoz' "umstvennye plotiny": ocherki o knigah i presse pushkinskoj pory* [Through the "Mental Dams": Essays about Books and the Press in Pushkin's Time], Moscow: Kniga.
- Vyazemsky P. (1879) *Polnoe sobranie sochinenij knyazya P. A. Vyazemskogo* [Complete Works of Prince P. Vyazemsky, Vol. 2: 1827–1851], Saint Petersburg: M. Stasulevich.
- Zhikharev M. (1989) Dokladnaya zapiska potomstvu o Petre Yakovleviche Chaadayeve [The Report to Posterity about Pyotr Yakovlevich Chaadayev]. *Russkoe obshchestvo 30-h godov XIX v.: lyudi i idei (memuary sovremenников)* [Russian Society of 1830s: Persons and Ideas (Memoires of Contemporaries)], Moscow: MSU, pp. 48–119.
- Zhukovsky V. (1895) *Pis'ma V. A. Zhukovskogo k A. I. Turgenevu* [Letters of V. Zhukovsky to A. Turgenev], Moscow: Russky arkhiv.
- Zhukovsky V., Elagina A. (2009) *Perepisika V. A. Zhukovskogo i A. P. Elaginoj: 1813–1853* [Correspondence of V. Zhukovsky and A. Yelagina], Moscow: Znak.

Узлы и пружины памяти

ROZHDESTVENSKAYA E., SEMENOVA V., TARTAKOVSKAYA I., KOSELA K. (EDS.). (2016). COLLECTIVE MEMORIES IN WAR. LONDON: ROUTLEDGE. 196 P. ISBN 978-1-13-893548-8

Наталья Веселкова

Кандидат социологических наук, доцент кафедры прикладной социологии
Института социально-политических наук Уральского федерального университета
Адрес: ул. Мира, д. 19, г. Екатеринбург, Российская Федерация 620002
E-mail: vesselkova@yandex.ru

Сборник «Коллективная память о войне» (Collective Memories in War) вышел в серии «Исследования в Европейской социологии», издаваемой Европейской социологической ассоциацией. Он знакомит англоязычного читателя с исследованиями памяти в России и Польше (основной состав авторов представляют эти страны), а также в Чешской Республике и Украине. В центре внимания зарубежных ученых — историческая политика и память о различных аспектах Второй мировой войны, российские социологи анализируют преимущественно коллективную память о советской войне в Афганистане. Теоретико-методологической основой служат классические работы М. Хальбвакса, П. Нора, Я. Ассман, идеи критической теории А. Грамши, М. Фуко и др., в отдельных статьях используются концепции социальных движений и идентичности, травмы, теория языковых игр, габитусной памяти и т. п. Эмпирическую базу составляют исследования, выполненные в качественной и количественной методологиях: опросы по общенациональной выборке в Польше и Чешской Республике, фокус-группы, наблюдения, биографические интервью. Пять разделов книги содержат статьи об исследовании исторической политики и исторического сознания с акцентом на изменения после 1989 г., особенностях проговаривания, нарративизации памяти, изучении городских военных мемориалов, музеев и ветеранских веб-сайтов. Отдельные разделы посвящены анализу учебников новейшей истории в разных странах и гендерной проблематике.

Ключевые слова: коллективная память, историческая политика, Вторая мировая война, Афганская война, места памяти, нарративизация памяти

Конфликт между историей и памятью, без малого сто лет назад вызвавший к жизни штудии М. Хальбвакса, а затем, в конце XX в., и «переоткрытие» его идей, далеко не исчерпан. Об этом свидетельствуют и регулярно скандализирующие медиийную повестку различные сюжеты¹, и актуальные инициативы художников,

© Веселкова Н. В., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-3-196-212

1. Например, весной 2016 г. одним из таких сюжетов стало столкновение позиций (бывшего) директора Государственного архива РФ и министра культуры по вопросу о 28 панфиловцах и, шире, о «развенчании мифов»; летом — столкновение интерпретаций по поводу выпущенных Центробанком РФ монет «Города — столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков» с изображением советских памятников в Белграде, Будапеште, Варшаве, Вильнюсе и т. д., в некоторых случаях уже демонтированных.

активистов, ученых. Так, в 2014 г. для защиты профессионального исторического знания, содействия его распространению в условиях вала «мракобесных публикаций» и «политически ангажированных атак» в России было создано Вольное историческое общество (ВИО, 2014).

Выпущенный издательством Routledge в 2016 г. сборник «Коллективная память о войне» (Collective Memories in War) работает с памятью об исторических событиях на социологическом поле. Пожалуй, можно сказать, что один из авторов, А. Ваньке, в своей статье выразила его общий принцип: «Я не пытаюсь установить „истину“ [об Афганской войне], меня интересуют средства и механизмы воспроизведения памяти» (р. 178).

Данное издание — 21-й том в серии «Исследований в Европейской социологии» (Studies in European Sociology), выпускаемой Европейской социологической ассоциацией, и первый — с внушительным участием российских ученых (ими написаны 9 из 14 статей). Редакторы сборника — известные российские социологи: профессора Елена Рождественская и Виктория Семенова, старший научный сотрудник Института социологии РАН Ирина Тартаковская, а также профессор, декан факультета философии и социологии Варшавского университета Кшиштоф Косела. В основу статей российских участников легли материалы проектов: российско-польского «Историческая память как инструмент социализации и идентификации: сравнение России и Польши» (2009–2011 гг., под рук. В. В. Семеновой)² и российского «Межпоколенная социальная мобильность от XX века к XXI: четыре генерации российской истории» (2014–2016, под рук. В. А. Ядова); в текстах польских социологов использованы также данные массовых опросов по общенациональной выборке (OBOP 2007, CPOS 2010), информация о них суммирована в Приложении (р. 188–189). В ряде статей также даются ссылки на другие проекты, например у И. Шубрта — на большое исследование «Историческое сознание», проведенное в 2009–2011 гг. в Чешской Республике и соединяющее качественные и количественные методы (р. 31).

Введение сообщает о различии событийных фокусов: польские авторы сосредоточили внимание на Второй мировой войне, а российские — на советской войне в Афганистане (р. 3), но есть и другие отличия. Социологи из Польши и Чехии говорят об исторической политике своих стран, взаимодействии официальной и неофициальной памяти; российские исследователи почти не используют эту терминологию и анализируют прежде всего коллективную память определенного сообщества, ветеранов Афганистана (исключение составляют публикации М. Черныша и Е. Полухиной и А. Малюгина, но и здесь концепция исторической памяти не используется). Объединяет работы разных авторов интерес к теориям идентичности, общим пунктиром через книгу проходит направление критической

2. С некоторыми наработками польских и российских участников проекта, которые вошли в настоящий сборник, можно познакомиться в выпуске журнала «ИНТЕР» (2011, № 6), целиком посвященном феномену памяти в социальных исследованиях; статьи В. Семеновой — в книге «Власть времени» (Семенова, 2011).

мысли, питающееся идеями Грамши, Фуко, Делеза (гегемонии, знания-власти, де-конструкции и т. п.).

Сборник состоит из пяти частей. Хотя все тексты самостоятельны и не содержат отсылок друг к другу, первый раздел «Политика истории и памяти в различных социокультурных контекстах», как и положено, служит своего рода теоретическим введением. Открывает его работа **Михала Лучевского, Паулины Беднарц-Лучевской и Томаша Маслянки**, где сравнивается политика истории в Польше и Германии после 1989 г. Базовое понятие, вынесенное, как мы видели, также и в название раздела, — «политика истории» — определяется как идущая сверху вниз государственная практика, целью которой является создание, распространение и закрепление определенных образов прошлого. Данный феномен прослеживается через создаваемые государством места памяти (*sites of memory, SOMs*)³ — музеи, мемориалы, монументы. Английский язык позволяет подчеркнуто отличать это понятие от мест памяти в более широком смысле П. Нора (*realms of memory*, p. 11)⁴.

Авторы усматривают ряд параллелей между постнацистской Германией и посткоммунистической Польшей. Сравнение политики истории в двух странах осуществляется через три типа месседжей, которые реализуют государственные места памяти: заявления об идентичности, о связях с другими и программные заявления. Лучевский с коллегами следуют здесь методологии Ч. Тилли, заимствуя у него также концепцию WUNC-дисплея идентичности (Worthy, United, Numerous, Committed — достойные, единые, многочисленные, приверженные [Tilly, 2005: 12]). Все музеи и памятники рассказывают свои истории об идентичности. Пропущенные через этот дисплей польские истории позволяют заключить, что созданные после 1989 г. SOMы транслируют WUNC-формулу полностью, представляя поляков акторами активного сопротивления, а не жертвами (Музей Варшавского восстания). В случае с немецкими SOMами формула оказывается по-разному усеченной: WUN относится к евреям и рисует их беспомощными жертвами, UNC относится к немцам-нацистам и немцам-коммунистам, WUC характеризует немногочисленную оппозицию тем и другим (р. 14–15). Каждому варианту формулы сопоставлены свои SOMы, воплощающие историческую политику в двух странах.

Иржи Шуберт⁵ фактически тоже говорит о политике истории, описывая такие усилия чешского государства и других институций, как учреждение в 2007 г. Института исследований тоталитарных режимов (первоначально под названием

3. Аббревиатура, возможно, не самая удачная, поскольку уже занята «самоорганизующимися картами» (Self-Organizing Map — SOM) — понятие, используемое и в исследованиях памяти.

4. Словосочетание «места памяти», как известно, на английском фигурирует в разных вариантах, зачастую предпочтение отдается воспроизведению французского «les lieux de mémoire» (Winter, 1997; Truc, 2011). Ж. Трюк считает, что более уместно было бы говорить об «узлах памяти», словосочетании, которое Нора также использует (Truc, 2011: 156, note 4). В рецензируемом сборнике «места памяти» присутствуют едва ли не во всех возможных написаниях: *sites, realms, plases, loci*.

5. Позволим себе характеризовать статьи иногда не по порядку, для соблюдения тематической связности. И. Шуберт известен российскому читателю по ряду публикаций, в том числе: Шуберт, Пфайферова, 2011.

«Институт национальной памяти»), специального журнала и, с 2008 г., цифрового архива. В создании последнего, помимо данного Института и Чешского радио, принимала участие неправительственная ассоциация «Post Bellum» — журналисты и историки, собирающие устные истории очевидцев. На сегодня у архива 21 партнер, включая немало зарубежных. «Каждый, кто присоединится со своей коллекцией, становится частью ОБЩЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОЙ ПАМЯТИ», — сообщает сайт архива (Post Bellum, 2016). Шуберт оперирует понятиями «национальная память» и «историческое сознание», поясняя, что в текущих дискуссиях в Чехии историческое сознание понимается двояко: как набор сведений об истории, не предполагающий глубокого осознания, и как историческое мышление (р. 32). Именно этот последний подход взят за основу при анализе формирования взглядов на историю в Чешской Республике. Многочисленные количественные данные приводятся в трех таблицах и пяти графиках.

Михаил Черныш пишет о коллективной памяти и ее культурных предпосылках в России. Коллективная память определяется как совокупность концепций, целенаправленно создаваемых такими институциональными акторами, как государство, негосударственные организации и СМИ, а также людьми — носителями памяти (р. 18). Сегодня, как и в былые времена, коллективная память упорядочивает события по критериям добра и зла. По мере того как общество меняется, трансформируется и система категорий, на которой строятся оценки прошлых событий, вплоть до смены на прямо противоположные (р. 19–20). Ученый рассматривает коллективную память как языковую игру в ее связи с политическими интересами; с защитными психологическими механизмами; структурой идентичности; психологическими комплексами; историческими исследованиями, привлекая примеры разных стран и эпох. Скажем, для конкретизации мысли Н. Смелзера о защитных интерпретациях болезненных исторических моментов, когда прошлая травма вытесняется из общественного сознания, Черныш, со ссылкой на А.-М. Тьеесс, упоминает о сложном восприятии французами любых историй о насилии в колониях⁶. В современной России к таким вытесненным из памяти травмам автор относит сталинские репрессии и сотрудничество с Третьим рейхом на кануне войны. Пожалуй, сегодня можно спорить с утверждением автора о том, что «попытки отдельных интеллектуалов начать дискуссию по этим вопросам наталкиваются на индифферентность большей части общества» (р. 22). Среди трех различных способов воздействия профессиональных историков на коллективную память Черныш называет преподавание истории в школах.

Следующая часть — «П. Культурная память сквозь призму школьных учебников» — как раз касается этой темы (хотя учебники — конечно, еще не преподавание). П. Нора относит учебники, словари, хрестоматии к преходящим местам памяти, обусловленным педагогическими нуждами (Нора, 1999: 47). С 1981 г., когда

6. Петиция «Свободу исторической науке», дебаты по поводу «исторических законов» и др. коллизии во Франции конца 2000-х в статье А.-М. Тьеесс (ТЬЕЕСС, 2010), переведенной М. Чернышом, выглядят в наши дни весьма актуальными, особенно в контексте тем обсуждаемого сборника.

впервые вышла книга «Как рассказывают историю детям в разных странах мира» Марка Ферро, тема учебников не перестает вдохновлять исследователей (см., напр.: Огоновская, 2011; Филиппова, 2011). В 2016 г. выставка «Разные войны: школьные учебники истории о Второй мировой войне», экспонируемая одновременно в России и Европе, сравнивает учебники для старшеклассников из Германии, Италии, Литвы, Польши, России и Чехии⁷. В такой все более плотный и взыскательный контекст попадают публикации социологов из России, Польши и Украины, помещенные в данном разделе.

Елизавета Полухина и Александр Малюгин делятся опытом применения дискурс-анализа репрезентаций Афганской войны в российских школьных учебниках, изданных с 1990 по 2010 г., всего 16 наименований, разбитых по периодам правления: Горбачева, Ельцина, Путина и Медведева. Кратко изложен конфликт вокруг учебника И. Долуцкого. Анализ осуществляется в соответствии с подходом Э. Лакло и Ш. Муфф; рисунок 4.1 поможет читателю соотнести базовые термины: *моменты* в рамках отдельных дискурсов, *внешние элементы*, плавающие в пространстве избыточных значений — *поле дискурсивности* (р. 49). Выделяя и сравнивая *узловые точки* в дискурсе каждого периода, авторы приходят к выводу об изменении источников *артикуляции* — исключении востребованного в перестройку диссидентского дискурса. В заключение Полухина и Малюгин напоминают о феномене «шапки Клементиса», отсылая к русскому переводу Ж.-Ж. Куртина (1999). Французский ученый использует почерпнутую у М. Кундеры историю о том, как изображение казненного в 1952 г. министра иностранных дел Чехословакии В. Клементиса было вымарано со знаковой фотографии, еще недавно его прославлявшейся, для рассуждения о «порядке дискурса „государственных языков“, процеживающих воспоминания об исторических событиях» (Куртин, 1999: 95–96).

Если российские социологи констатируют сокращение поля интерпретаций исторических событий (р. 55–56), то в польских учебниках, по наблюдению **Илоны Голембевской**, напротив, заметна тенденция побуждать учащихся самостоятельно оценивать факты (р. 70), чем и отличался российский учебник Долуцкого, да и ряд других, созданных в то время. Исследовательница рассматривает характеристику событий Второй мировой войны: «освобождение Варшавы» 17 января 1945 г., Катынский расстрел (Katyn massacre) 1940 г. и Варшавское восстание 1944 г. — в 22 польских учебниках 1945–2011 гг. Выбор для анализа именно этих трех событий тщательно аргументируется. Наиболее значимые изменения в учебниках зафиксированы после 1989 г. Например, уже из названия главы учебника 1952 г. «Варшавское восстание. Попытка дипломатического саботажа. Провал планов захвата власти польской реакцией» (р. 67) явствует установка на классовый анализ, тогда как в новейших учебниках акцент сделан на борьбу за национальную независимость (р. 69).

7. Об открытии выставки в Екатеринбурге см.: Филиппова, 2016.

К аналогичному выводу на своем материале приходит **Оксана Даниленко**: в современных украинских учебниках конфликт между классами уходит на задний план, а «доминируют нарративы, изображающие различные способы обретения независимости» (р. 74). По сравнению с советскими временами изменилась не только трактовка, но и отбор событий, их детализация. Так, при рассказе о 1917 г. учебники теперь более подробно рассматривают Февральскую революцию, связанную с образованием независимой республики Украины, а события Октября считаются сугубо российскими и изложены скучно. Украинский социолог (О. Даниленко работает в Харьковском университете) прослеживает национальные издания не только во времени (1926–2011 гг.), но и сравнивает с белорусскими и российскими, рекомендованными к использованию в школах и вузах. В современных российских учебниках события 1917 г. ожидаются трактуются в контексте «революционного кризиса в России», главные конфликты, способы их решения и последствия структурно воспроизводят логику советских учебников, хотя оценка разительно изменилась (р. 75). Методологией служит разработанный автором «нарратив-конфликтологический контент-анализ», на мой взгляд, более похожий на разновидность нарративного анализа, особенно с учетом опоры на «Нарратологию» Вольфа Шмита (а в монографии, к которой исследовательница отсылает за детальным описанием метода (Даниленко, 2007), также и на Ойгена Розенштока-Хюсси, Юрия Лотмана).

III часть «Репрезентации памяти в социальном пространстве» рассказывает о музеях и монументах, твердых «останках» (Нора), в отличие от «нетвердых» виртуальных музеев и архивов, о которых упоминал Шуберт и пойдет речь в следующем разделе. Пространство памяти в Афганском военном музее **Ирина Тартаковская и Елена Рождественская** анализируют в традиции музейных (шире — культуральных) исследований, сложившейся под влиянием идей де Соссюра и Фуко (см., напр.: Mason, 2006). Это единственный текст в сборнике, снабженный фотографиями, причем две из них занимают по целой странице — «типичный „Красный уголок“» (fig. 7.1, р. 91) и «типичная „Зона выживших“» (fig. 7.3, р. 93), все из музея в Перово, Москва, сделаны И. Тартаковской. Самым сильным решением наблюдаемых музейных экспозиций авторы считают зеркало, помещенное в такой же рамке, как и портреты погибших на «Стене скорби» (fig. 7.2, р. 92). Оно несет посетителям мощный эмоциональный посыл: и ты мог быть среди них (р. 94). Само изображение на первый взгляд может показаться неудачным: отблеск зеркала на картинке похож на дефект любительского фото. Приглядевшись, однако, читатель получает хороший импульс поразмышлять о засвеченном, в разных смыслах, — в музее, в тексте — присутствии/отсутствии исследователя.

Для меня уколом-пунктумом, в бартовском смысле, стал персонаж «Зоны выживших» (fig. 7.3, р. 93). Это фигура-призрак, возникающая из надетых на вешалку-шест тельняшки с камуфляжной жилеткой, костылем под мышками и протезами вместо ног. Заломленный набок берет, поза по стойке «вольно» и прислоненная рядом гитара (сливаясь с другим экспонатом, она сначала кажется огромной бала-

лайкой) создают образ не пафосный, а скорее залихватский, конечно, если вынести за скобки абсурд и ужас, сквозящие там в каждом знаке. Слева в кадр попадает уходящее вглубь пространство помещения, тем самым закуток с манекеном еще больше выталкивается на первый план и жутковатый призрак предстает в своей коробочке, как будто в витрине, готовый к безопасному потреблению. (Другим пунктуумом, забегая вперед, оказалась первая же фотография, открытая на указанном Е. Рождественской сайте-мартиромологе челябинских афганцев.)

Эва Кристина Селлава-Колбовска предпринимает попытку социологического описания процесса создания локальной культурной памяти Второй мировой войны в Варшаве. Название ее текста «Война после войны...» продолжает тему конфликта интерпретаций, обозначенную в других статьях сборника. Комплекс исследовательских вопросов таков: «Чем становится прошлое в коллективных практиках и коллективной памяти и какого рода интерпретации создаются, набирают силу и институциализируются — когда, кем и с какой целью?» (р. 99). Для анализа выбрано около дюжины памятников, связанных с двумя событиями, которые автор считает показательными с точки зрения материальных проявлений процесса коммеморации. Это Варшавское восстание 1944 г. и событие, закавыченное у И. Голембевской как «освобождение Варшавы» (р. 61), а у Селлавы-Колбовской названо «окончанием немецкой оккупации» — 17 января 1945 г. (р. 99) (о роли номинаций читатель помнит из статьи Черныша). Установленные в послевоенной Польше мемориалы соответствовали двум табу: не отзываться плохо о Советском Союзе и хорошо о Варшавском восстании (р. 100). Судьба памятников рассматривается сквозь призму противоположных мемориальных установок: *vae victis*, горе побежденным, и *gloria victis*, слава побежденным. Автор подчеркивает, что произошедшие после 1989 г. изменения в стране не повлекли за собой «смертного приговора» просоветским монументам в Варшаве, их не разрушали и никуда не переносили; в том числе и памятник Советско-Польскому братству по оружию («Четверо спящих»), что не соответствует действительности с 2011 г., когда мемориал был демонтирован⁸.

Мемориальный ландшафт города стал меняться с 1956 г., а после 1989 г. освобождение Варшавы было переопределено как порабощение, что придало иное значение и памятникам. Варшавское восстание теперь отмечено в 355 местах, главным образом мемориальными досками, память о нем «становится видимой и доминирует в городском пространстве» (р. 106). На сегодняшний день разногласия существуют не столько между властями и населением, сколько между различными группами людей — носителей несовпадающей памяти. Другой проблемой является выходящая наружу после долгих лет подавления «плохая» коллективная память (р. 108), о чем много пишет и А. Ассман, на которую среди прочих Э. К. Селлава-Колбовска здесь ссылается.

8. Благодарю за консультацию К. Нендза-Щикониовску (см.: Нендза-Сіконьовська, 2016).

Статья Анны Стрельниковой посвящена российским военным мемориалам. Выработанные для увековечивания Второй мировой контексты освобождения и спасения оказываются неприменимы к Афганской войне, лишая соответствующие памятники необходимых рамок памяти, в смысле М. Хальбакса. Особенности памяти об этом событии, взаимосвязанные с размытой идентичностью «афганцев», находят отражение в проведенных с ветеранами Афганистана интервью и фокус-группах с 18-летними молодыми людьми (р. 112–113). Утверждение о периодических новостных сообщениях про разрушение афганских монументов представляется преувеличением, во всяком случае, из пяти сайтов, на которые ссылается автор (р. 116–117), только на одном обнаружился сюжет об утрате самодельного памятника (Рузанова, 2010).

По мере того как военные монументы теряют свое значение в городском пространстве, популярность приобретают новые развлекательные скульптуры (р. 119). Эта ситуация на первый взгляд противоречит насыщению польских городов памятными знаками о недавнем прошлом. Селлава-Колбовска, однако, тоже пишет, что «Четырех спящих» как будто «разоружили», для местных жителей монумент служил в большей степени привычным ориентиром, чем средоточием идеологических смыслов (р. 102). Можно предположить, что не только новые сооружения, вроде памятника Курской антоновке, призваны привлекать туристов, служить фоном для фотографирования, предоставлять возможность присесть и отдохнуть — подобный функционал постепенно приобретают и все остальные мемориалы (см., напр.: Рузанова, 2010).

Последние две части сборника объединяют размышления российских социологов относительно памяти об Афганской войне с точки зрения нарративизации (ч. IV) и гендерной проблематизации (ч. V). Общими сюжетными линиями анализа выступают идентичность «афганцев» через противопоставление «другим», замкнутость этой группы на себя и внутренняя неоднородность. При всей весомости проделанной авторами работы остается все-таки ощущение, что они не (вполне) рефлексивно воспроизводят «текущие установки» (р. 139) в отношении Афганской войны: забытая, странная, чужая война на чужой земле, война с неясной целью и непонятным противником.

Виктория Семенова («„Раненая память“ и коллективная идентичность»), как и Е. Рождественская в своей статье в данном разделе и других трудах, интерпретирует нарушение связности/когерентности в рассказах ветеранов как проявление пережитой травмы. «Раненая память» в заглавии помещает текст Семеновой в фарватер влиятельного направления, в рамках которого прорабатывается наследие П. Рикера (см., напр.: Fowler, 2005; Phillips, 2011). Помимо связи «память/идентичность» в данной статье — это рикеровская память-долг — «моральные аспекты мемориальной идентичности», «недостаточность памяти» (р. 135, 136) и т. п. Мир «других», которые «не хотят слышать» и «не могут понять», — это фактически весь публичный и официальный дискурс в отношении этой войны, в противостоянии которому выстраивается идентичность «афганцев» (р. 130–131).

Елена Рождественская («Афганские ветераны: резонанс памяти») отталкивается от работы американских социологов Элизабет Армстронг и Сюзанны Крейг, вводящих такие важные понятия, как «коммеморабельность», «мнемоническая способность» и др. (Armstrong, Crage, 2006). Проанализированные в данном ключе 18 интервью с членами «коммеморативной группы» (по самоназванию — патриотического объединения) «Панджшер» обнаруживают систематические различия в мнемонических способностях и ресурсах ветеранов (р. 141). Хотя ни один из информантов не сумел дискурсивно связать свою дооцененную жизнь, военный опыт и послевоенную адаптацию в когерентный жизненный путь, офицеры демонстрируют больший ресурс для связности благодаря образованию, профессиональной социализации, однако и в их случае воинская идентичность затмевает всякий иной опыт (р. 144). (Здесь уместно было бы уточнить, как строилось взаимодействие с интервьюируемыми. Если на них вышли через ветеранскую организацию и пригласили к участию в исследовании именно в качестве «афганцев», то вполне закономерно, что они строят свой рассказ вокруг этого опыта.) Поскольку исследовательница считает принципиальной достигнутую в современной социологии памяти перформативную реконцептуализацию коллективной памяти как коллективного действия, она подчеркивает, что рассказы руководителей сообщества ветеранов «содержат больше описаний их мемориализационных действий, идеологий, трудностей в их осуществлении и усилий по управлению процессами через личное участие» (р. 140).

Вторая часть статьи знакомит с анализом 117 некрологов с мемориального сайта Челябинской области (afgan.ru, 2016)⁹. Автор рассматривает структуру некрологов и возможности индивидуализирующих добавлений, отдельно выделяя примеры этико-семантической аскрипции, обосновывающей смысл индивидуальной и коллективной жертвы во исполнение «интернационального долга». Мотив помочь соседней стране как акт справедливости, по мнению автора, обнажает архетипическую крестьянскую формулу «помочь попавшему в беду соседу» (р. 147, 150).

Некрологи служат объектом возрастающего интереса ученых (см., напр.: Fowler, 2005; Орлова, 2009; 2013; Рейтблат, 2013; Разумова, 2015), однако нужно учитывать, что материалы указанного Рождественской интернет-ресурса в основе своей — записи в «Книге памяти о советских воинах, погибших в Афганистане» (Болотов и др., 1995–1999)¹⁰. Стоит зайти на этот сайт, чтобы оценить усилия энтузиаста-администратора, создающего на основе этой книги расширенную базу

9. Принципы отбора не поясняются, так что остается неясным, почему выбор пал именно на этот сайт и указанную совокупность текстов: общее ли это количество на момент исследования или каким-то образом сформированная выборка. В августе 2016 г. в Челябинском разделе значится 171 имя.

10. Различия официальной и неофициальной публичной памяти явствуют уже из названия этой книги: для официальной версии важно, что это *советские* воины, для «народной» — это павшие со всей большой страны. Кроме того, используемое на ветеранских сайтах название «Всесоюзная книга памяти павших на Афганской войне» прямо говорит о войне, тогда как в официальном названии речь идет о «погибших в Афганистане», слово «война» опущено.

данных о павших на Афганской войне, его призывы присылать воспоминания и фотографии, дабы исправлять неточности и «откровенную ложь».

О ветеранских веб-сайтах в рецензируемом сборнике повествует статья **Ирины Ксенофонтовой** («Ветеранские веб-сайты как зеркала забытой войны»), которую она посвятила своему отцу, ветерану советской войны в Афганистане. Автор относит свое исследование к набирающему популярность домену нетнографии, изучения онлайн-сообществ и виртуальной памяти. Включенные в исследование 27 сайтов были найдены по ключевым словам («Афанская война», «ветераны Афганской войны» и др.) и далее через перекрестные ссылки. Автор делит эти ресурсы на два типа и прослеживает их различия — сайты организаций и неофициальные странички, созданные отдельными людьми или группами. Думается, здесь можно говорить о проявлениях официальной и неофициальной памяти, присутствующих в публичном интернет-пространстве. Отдельно Ксенофонтова упоминает графический дизайн, как правило, использующий советскую символику, в духе ностальгических советских сообществ (р. 153). Социолог рассматривает ветеранские веб-сайты с точки зрения их функций: как пространство памяти (виртуальные архивы и мемориалы), виртуальные музеи, средства распространения знаний и пространства солидарности. Если статьи, построенные на биографических интервью, насыщены цитатами из транскриптов, то в данном случае приводятся выдержки из текстов анализируемых интернет-ресурсов.

Текст **Ирины Тартаковской** в разделе V «Память и гендер» озаглавлена «Конструирование маскулинности из духа войны», аллюзия на трактат Ницше задает тон обсуждению драматически противоречивой природы разбираемой социальной конструкции. Автор исходит, во-первых, из принятого в гендерных исследованиях понятия гегемонистической маскулинности по Т. Карригану, Р. Коннеллу и Дж. Ли как «системы практик, посредством которых определенные группы мужчин достигают позиций власти и благосостояния, а также производят и легитимируют социальные взаимоотношения, поддерживающие их господство», во-вторых, из понятия позднесоветского «кризиса маскулинности» (р. 163). Гегемонистическая маскулинность имеет смысл только относительно «других», ею не обладающих. Враги эту роль исполняют лишь отчасти, в Афганистане это были абстрактные дегуманизированные «духи». Главные «другие» — это товарищи по оружию, стоящие ниже в формальных и неформальных армейских иерархиях, как правило, новички (р. 167–168). Тартаковская, как и Рождественская, анализирует характерные различия между позициями кадровых военных и служащих срочной службы, однако о важности воинского братства говорят и те и другие. Воспоминания этого периода жизни становятся уникальным звеном маскулинной идентичности.

Александрина Ваньке пытается увязать тело, память и эмоции мужчин, приобретших непосредственный опыт войны. Ключом к решению этой задачи служат восходящее к П. Бурдье понятие «габитусная память», разрабатываемое немецким социологом Алоисом Ханом, и философия телесной памяти Дитмарса Кампера.

Интегрируя эти подходы, Ваньке формулирует свое определение телесной памяти — это «память, которая активируется в определенном месте и времени с помощью таких телесных воспоминаний, как боль ран, видимые шрамы, позы, воплощенные навыки и умения» (р. 178)¹¹. По мнению автора, главным элементом, структурирующим телесную память, является смерть. А главным локусом исследовательница считает кожу, этот «естественный материал для записи событий войны», а потому материал для регистрации и воплощения памяти, тело в буквальном смысле превращается в пишущую машину (р. 181, 182). Этими метафорами Ваньке пробуждает сонмище теоретических и литературных ассоциаций, начиная с трудов уже упомянутых авторов¹² и заканчивая, скажем, работой британского географа С. Пайла, который в психоаналитическом ключе изобретательно описывает пространственность кожи, милитаризованные тела и т. п. (Pile, 2011). Статья содержит типологию мест концентрации телесной памяти (от ран до татуировок) и уровней регуляции эмоциональности.

* * *

Настойчивая артикуляция мужского в последнем тексте заставляет задуматься о ролевом взаимодействии женщин-исследовательниц со своими информантами-мужчинами, в целом о позиции социолога на минном поле травмированной памяти. Признаться, мне не хватило проблематизации «режима „холодных очей“», впечатляющий пример которой можно найти у Рождественской в другом месте (Рождественская, 2011: особ. с. 96–97; см. также: Семенова, 2011: 69). Речь не идет о том, чтобы объять необъятное, однако то, что в целом в книге есть, ее замысел и содержательное наполнение, — все это лучше видно по контрасту с тем, что в ней отсутствует или затронуто лишь по касательной. Отсюда представляется небесполезным обозначить некоторые такие отсутствия.

Во-первых, заявленный фокус на Восточной Европе (р. 1)¹³, вероятно, обусловил отсутствие каких-либо обращений к глобальной памяти, сам феномен и концепция которой возникли из событий Второй мировой войны. Анализ ветеранских веб-сайтов и интернет-сообществ, как кажется, тоже «просит» привлечения подобных исследований относительно других войн в других странах.

11. О телесной памяти ветеранов см. блестящий фрагмент у Ф. Николаи: Николаи, 2016: 247.

12. «Вжигать, дабы осталось в памяти», — цитирует Д. Кампер «К генеалогии морали» Ницше и подытоживает: «Материалом для такой жестокой работы припоминания... служит прежде всего человеческое тело, поверхность кожи, на которой сама меметехника как бы миметически инкорпорируется» (Кампер, 2010: 41).

«Письмена, которыми большинство сообществ гравировало тела своих членов, — это боль. Она была... наиболее распространенным грифелем для этой цели» (Хан, 2011: 127–128). Рассказ Кафки «В исправительной колонии», где описана специальная машина для нанесения фразы приговора на тело осужденного, как будто предвосхищает эти ученые рассуждения.

13. Понятие «Восточная Европа» приводится авторами без оговорок относительно специфики его сконструированности, как это становится принято в современных публикациях; впрочем, в книге оно почти не используется.

«Коллективная память о войне», впрочем, содержит точки доступа к этой теме. У Семеновой есть отсылка к войне во Вьетнаме, у Селлава-Колбовской встреча-ем момент согласования масштабов: рассуждая о том, как важно разобраться с историей на «своем заднем дворе», она считает это залогом успешных решений и в «национальных масштабах» (р. 108–109). Черныш, хотя и обещает в заголовке статьи обращение к сугубо российским реалиям, формулирует на самом деле универсальные закономерности, отправляя читателя в своих примерах, как уже говорилось, то в Штаты, то во Францию или Германию...

В том, что касается масштаба самой Восточной Европы, он соблюден лишь номинально, поскольку большинство авторов работают с ситуацией каждый в своей стране, без каких-либо кросс-референций. Это особенно бросается в глаза на фоне двух статей, которые, напротив, сделали своим предметом сравнение (исторической политики в Польше и Германии и учебников в нескольких странах).

Во-вторых, временной фокус наведен на достаточно близкие события, участники и свидетели которых еще не ушли из жизни. Наряду с коммуникативной памятью в книге много говорится об оседании коммемораций в паттернах культурной памяти, однако о специфических особенностях *пост-памяти* практически ничего нет, только проходная ремарка в заключении у Селлава-Колбовской (р. 108).

Полем пересечения глобальной и пост-памяти является современная медиатизация. В статьях про ветеранские веб-сайты есть подступы к этой проблематике, Ксенофонтова пишет о наполненности сайтов старыми фотографиями, картами и т. п., однако ничего не говорится о мультимодальности — интеграции вербального, визуального, аудиального в объекте и методе исследования (Kress, van Leeuwen, 2001; Jones, 2012).

В-третьих, в сборнике довольно много касаний темы советского: она явственно присутствует в статьях раздела о памяти и гендере, вмурвана в (про-)советские мемориалы, мимолетно задета в «ностальгических сообществах».

Эти пункты следует считать не столько «недостачей», сколько возможными расширениями богатой тематики «Коллективной памяти о войне».

В тексте встречаются мелкие технические небрежности, порой затрудняющие восприятие: опечатки в ссылках и библиографическом описании (неверно указаны год для статьи Г. Люbbe [р. 23, 29], страница либо год для публикации Дж. Олика [р. 139]) и транслитерации литературы (р. 81). Пожелавший воспользоваться алфавитным индексом читатель на стр. 126, указанной для Алейды Ассман, обнаружит ссылку не на нее, а на Яна Ассмана, тогда как в действительности отсылки к ее работам присутствуют на страницах 11 и 108. Наконец, определенно не на пользу дела служит превращение «узловых точек» в дискурс-анализе по Э. Лакло и Ш. Муфф из «*nodal points*» в «*branch points*»; «дискурсивности» из «*discursivity*» — в «*discursiveness*». Новоявленные термины просто отсутствуют и в первоисточнике, и в изложении данного метода в руководстве М. Йоргенсен и Л. Филлипс (Laclau, Mouffe, 2001; Jörgensen, Phillips, 2002), к которым отсылают читателя авторы.

В целом книга оставляет самое благоприятное впечатление. Затрагивая многие важные пружины коллективной памяти, она вносит значимый вклад в быстрорастущий корпус работ по изучению памяти в ее различных масштабах.

Литература

- Бологов В. И. и др. (ред.). (1995–1999). Книга памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. В 2-х тт. М.: Военное издательство.
- ВИО. (2014). Манифест Вольного исторического общества. URL: <http://volistob.ru/static/manifest-vio> (дата доступа: 12.08.1016).
- Даниленко О. А. (2007). Язык конфликта в трансформирующемся обществе: от конструирования истории — к формированию социокультурных идентичностей. Вильнюс: ЕГУ.
- Кампер Д. (2010). Знаки как шрамы: графизм боли // Кампер Д. Тело. Насилие. Боль / Пер. с нем. Ст. В. Савчука. СПб.: Изд-во РХГА. С. 30–46.
- Куртин Ж.-Ж. (1999). Шапка Клементиса: заметки о памяти и забвении в политическом дискурсе / Пер. с франц. И. Н. Кузнецовой // Серио П. (ред.). Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс. С. 95–104.
- Мазуркевич С. (2015). Военное кладбище на Повонзках в Варшаве. Повстанческие участки. URL: http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/pamiec/cmentarz_ru.html (дата доступа: 12.08.2016).
- Нендза-Сіконьовська К. (2016). «Іронія та сміх є найкращими засобами боротьби із залишками тоталітаризму». URL: <http://tyzhden.ua/Culture/160878> (дата доступа: 12.08.2016).
- Николаи Ф. В. (2016). Память, нарратив и тактики самоидентификации ветеранов локальных конфликтов в России // Диалог со временем. Вып. 54. С. 238–250.
- Нора П. Между памятью и историей: проблематика мест памяти // Нора П., Озуф М., Плюмеж Ж. де, Винок М. Франция-память / Пер. с франц. Д. Хапаевой. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. С. 17–50.
- Огоновская И. С. (2011). Школьный учебник отечественной истории: учебные издания как исторический источник // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 12. С. 264–286.
- Орлова Г. (2009). Биография (при) смерти: заметки о советском политическом некрологе // Неприкосновенный запас. № 2. С. 188–202.
- Орлова Г. (2013). Смерть как биографический факт: об одном утраченном мотиве малого политического некролога // Притыкина Т. Б. (ред.). Право на имя: биографика XX века. Чтения памяти Вениамина Иоффе: избранное. 2003–2012. СПб.: Норма. С. 615–623.
- Разумова И. (2015). Танатологические мотивы в документальных текстах о времени социалистического строительства в Заполярье // Громов Д. В. (ред.). Memento Mori: похоронные традиции в современной культуре. М.: ИЭА РАН. С. 111–131.

- Рейтблам А. (2013). Некролог как биографический жанр // Притыкина Т. Б. (ред.). Право на имя: биографика XX века. Чтения памяти Вениамина Иоффе: избранное. 2003–2012. СПб.: Норма. С. 624–632.
- Рождественская Е. (2011). «Обыкновенный» Холокост, или Биография выжившего // Ярская В. Н., Ярская-Смирнова Е. Р. (ред.). Власть времени: социальные границы памяти. М.: Вариант. С. 88–100.
- Рузanova Н. (2010). Крушение. Памятник афганской войны отправлен в металлолом // Российская газета — Неделя: Сибирь. № 5282. URL: <https://rg.ru/2010/09/09/reg-sibir/pamyat.html> (дата доступа: 12.08.2016).
- Тьес A. M. (2010). Использование национальной истории в политических целях: на примере современной Франции / Пер. с франц. М. Ф. Черныша // Социологический журнал. № 1. С. 92–103.
- Филиппова О. А. (2011). Школьные буквари: политика идентичности в советской и независимой Украине // Ярская В. Н., Ярская-Смирнова Е. Р. (ред.). Власть времени: социальные границы памяти. М.: Вариант. С. 207–221.
- Филиппова Т. (2016). «Разные войны» — одна победа. URL: <http://yeltsin.ru/news/raznye-voyny-odna-pobeda/> (дата доступа: 12.08.2016).
- Шуберт И., Прайферова ІІ. (2011). Рамки и места коллективной памяти: старая тема, новые взгляды // Личность. Культура. Общество. Т. 13. Вып. 1. С. 77–85.
- afgan.ru (2016) Павшие в Афганской войне. Челябинская область. URL: http://afgan.ru/memorial/afghanistan-pavshie_chelyabinsk.html (дата доступа: 03.08.2016).
- Armstrong E. A., Crage S. (2006). Movements and Memory: The Making of the Stonewall Myth // American Sociological Review. Vol. 71. № 5. P. 724–751.
- Fowler B. (2005). Collective Memory and Forgetting: Components for a Study of Obituaries // Theory, Culture & Society. Vol. 22. № 6. P. 53–72.
- Jones R. H. (2012). Multimodal Discourse Analysis // Chapelle C. A. (ed.). The Encyclopedia of Applied Linguistics. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Jørgensen M., Phillips L. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: SAGE.
- Kress G., van Leeuwen T. (2001). Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Edward Arnold.
- Laclau E., Mouffe Ch. (2001). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.
- Mason R. (2006). Cultural Theory and Museum Studies // Macdonald S. (ed.) A Companion to Museum Studies. Oxford: Blackwell. P. 17–32.
- Phillips D. (2011). Wounded Memory of Hazara Refugees from Afghanistan Remembering and Forgetting Persecution // History Australia. Vol. 8. № 2. P. 177–198.
- Pile S. (2011). Spatialities of Skin: The Chafing of Skin, Ego and Second Skins in T. E. Lawrence's *Seven Pillars of Wisdom* // Body and Society. Vol. 17. № 4. P. 57–81.
- Post Bellum. (2016). Co je Paměť národa. URL: <http://www.pametnaroda.cz/page/index/title/what-is-memory-of-nations> (дата доступа: 12.08.2016).
- Tilly Ch. (2004). Social Movements, 1768–2004. Boulder: Paradigm.

Truc G. (2011). Memory of Places and Places of Memory: For a Halbwachsian Socio-Ethnography of Collective Memory // International Social Science Journal. № 62. P. 147–159.

Winter J. (1997). Review: Pierre Nora, ed., *Realms of Memory: Rethinking the French Past, Vol. 1: Conflicts and Divisions* (New York: Columbia University Press, 1996) // H-France, H-Net Reviews. October. URL: <http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=1354> (дата доступа: 12.08.2016).

Nodes and Springs of Memory

Natalya Veselkova

Associate Professor, Department of Applied Social Studies, Institute of Social and Political Sciences, Ural Federal University

Address: Mira str. 19, Ekaterinburg, Russian Federation 620002

E-mail: vesselkova@yandex.ru

The edited volume *Collective Memories in War* (2016), published by the European Sociological Association, is released in the Studies in European Sociology series, and introduces English-speaking readers with memory research in Russia and Poland (the majority of authors is represented by these countries), as well as the Czech Republic and Ukraine. The focus of the foreign authors is the policy of history and memory of various aspects of the Second World War, while the Russian sociologists primarily analyze the collective memory of the Soviet war in Afghanistan. The theoretical and methodological bases of the research are classics of Memory Studies (M. Halbwachs, P. Nora, J. Assman), the critical theory ideas of A. Gramsci, M. Foucault, and others, some articles using the conceptions of social movements and identity, trauma, the theory of language games, habitual memory, and so on. The empirical research is made using the following qualitative and quantitative methodologies: surveys with national samples in Poland and the Czech Republic, focus groups, observation, and biographical interviews. The five sections of the book contain articles on the politics of history and historical consciousness research with an emphasis on changes since 1989, the narrating of memories, studying urban war memorials, and museums' and veterans' websites. Separate sections are devoted to the analysis of modern history textbooks in different countries, and to gender issues.

Keywords: collective memory, policy of history, Second World War, Afghan War, places of memory, narrativization of memory

References

- afgan.ru (2016) Pavshiye v Afganskoy voynе: Chelyabinskaya oblast' [The Fallen in the Afgan War: Chelyabinsk Region]. Available at: http://afgan.ru/memorial/afghanistan-pavshie_chelyabinsk.html (accessed 3 August 2016).
- Armstrong E. A., Crage S. (2006) Movements and Memory: The Making of the Stonewall Myth. *American Sociological Review*, vol. 71, no 5, pp. 724–751.
- Bologov V. et al. (eds.) (1995–1999) *Kniga pamyati o sovetskikh voinakh, pogibshikh v Afganistane* [Memory Book of Soviet Soldiers Fallen in Afghanistan], Moscow: Military Publishing House.
- Courtine J.-J. (1999) Shapka Klementisa: zametki o pamyati i zabvenii v politicheskem diskurse [Clementice Hat: Notes on Memory and Oblivion in the Political Discourse]. *Kvadratura smysla:*

- francuzskaja shkola analiza diskursa* [Quadrature of Meaning: French School of Discourse Analysis] (ed. P. Sériot), Moscow: Progress, pp. 95–104.
- Danilenko O. (2007) *Yazyk konflikta v transformiruyushchemsyu obshchestve: ot konstruirovaniya istorii — k formirovaniyu sotsiokul'turnykh identichnostey* [Language of Conflict in a Transformed Society: From History Construction to the Formation of Social and Cultural Identities], Vilnius: EHU.
- FHS (2014) Manifest Vol'nogo istoricheskogo obshchestva [Free Historical Society Manifesto]. Available at: <http://volistob.ru/static/manifest-vio> (accessed 12 August 2016).
- Filippova O. (2011) *Shkol'nyye bukvari: politika identichnosti v sovetskoy i nezavisimoy Ukraine* [School Primers: Politics of Identity in Soviet and Independent Ukraine]. *Vlast' vremeni: sotsial'nyye granitsy pamyati* [The Power of Time: Social Borders of Memory] (eds. V. larskaia, E. larskaia-Smirnova), Moscow: Variant, pp. 207–221.
- Filippova T. (2016) "Raznyye voyny" — odna pobeda ["Different Wars" — One Victory]. Available at: <http://yeltsin.ru/news/raznye-voyny-odna-pobeda/> (accessed 12 August 2016).
- Fowler B. (2005) Collective Memory and Forgetting: Components for a Study of Obituaries. *Theory, Culture & Society*, vol. 22, no 6, pp. 53–72.
- Jones R. H. (2012) Multimodal Discourse Analysis. *The Encyclopedia of Applied Linguistics* (ed. C. A. Chapelle), Oxford: Wiley-Blackwell.
- Jørgensen M., Phillips L. (2002) *Discourse Analysis as Theory and Method*, London: SAGE.
- Kamper D. (2010) *Znaki kak shramy: grafizm boli* [Signs as Scars: The Grafism of Pain]. *Telo. Nasilie. Bol'* [Body. Violence. Pain], Saint Petersburg: RCHA, pp. 30–46.
- Kress G., van Leeuwen T. (2001) *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication*, London: Edward Arnold.
- Laclau E., Mouffe Ch. (2001) *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, London: Verso.
- Mason R. (2006) Cultural Theory and Museum Studies. *A Companion to Museum Studies* (ed. S. Macdonald), Oxford: Blackwell, pp. 17–32.
- Mazurkiewicz S. (2012) *Voyennoye kladbischche na Povozkakh v Varshave. Povstancheskiye uchastki* [Military Cemetery in Powązki, Warsaw. Rebel Areas]. Available at: http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/pamiec/cmentarz_ru.html (accessed 12 August 2016).
- Nędza-Sikoniowska K. (2016) "Ironija ta smih e najkrashhimi zasobami borot'bi iz zalistikhkami totalitarizmu" ["The irony and laughter are the best means to deal with the remnants of totalitarianism"]. Available at: <http://tyzhden.ua/Culture/160878> (accessed 12 August 2016).
- Nickolai F. (2016) *Pamyat', narrativ i taktiki samoidentifikatsii veteranov lokal'nykh konfliktov v Rossii* [Memory, Narration, and the Tactics of Self-identification of the Veterans of Local Conflicts in Russia]. *Dialogue with Time*, no 54, pp. 238–250.
- Nora P. (1999) *Mezhdu pamyat'yu i istoriyey: problematika mest pamyati* [Between Memory and History: Problematics of the Places of Memory]. *Frantsiya-pamyat'* [France-Memory], Saint Petersburg: SPSU, pp. 17–50.
- Ogonovskaya I. (2011) *Shkol'nyy uchebnik russkoy istorii: uchebnyye izdaniya kak istoricheskiy istochnik* [School Textbook of Russian History: Educational Publications as a Historical Source]. *Document. Archive. History. Modernity*, no 12, pp. 264–286.
- Orlova G. (2009) Biografiya (pri) smerti: zametki o sovetskem politicheskem nekrologe [(At) Death Biography: Notes about the Soviet Political Obituary]. *Neprikosnovennyj zapas*, no. 2, pp. 188–202.
- Orlova G. (2013) Smert' kak biograficheskiy fakt: ob odnom utrachennom motive malogo politicheskogo nekrologa [Death as a Biographical Fact: Of a Lost Motive for Small Political Obituary]. *Pravo na imya: biografika XX veka. Chteniya pamyati Veniamina Ioffe: Izbrannoye. 2003–2012* [Right to a Name: Biography of the 20th Century. Readings in Memory of Veniamin Ioffe: Selected Papers, 2003–2012], Saint Petersburg: Norma, pp. 615–623.
- Phillips D. (2011) Wounded Memory of Hazara Refugees from Afghanistan Remembering and Forgetting Persecution. *History Australia*, vol. 8, no 2, pp. 177–198.
- Pile S. (2011) Spatialities of Skin: The Chafing of Skin, Ego and Second Skins in T. E. Lawrence's Seven Pillars of Wisdom. *Body and Society*, vol. 17, no 4, pp. 57–81.

- Post Bellum. (2016). Co je Paměť národa. Available at: <http://www.pametnaroda.cz/page/index/title/what-is-memory-of-nations> (accessed 12.08.16).
- Razumova I. (2015) Tanatologicheskiye motivy v dokumental'nykh tekstakh o vremeni sotsialisticheskogo stroitel'stva v Zapolyar'ye [Thanatological Motives in Documentary Texts about the Time of Socialist Construction in the Arctic]. *Memento Mori: pokhoronnyye traditsii v sovremennoy kul'ture* [Memento Mori: Funeral Traditions in Modern Culture] (ed. D. Gromov), Moscow: IEA RAN, pp. 111–131.
- Reytblat A. (2013) Nekrolog kak biograficheskiy zhanr [Obituary as a Biographical Genre]. *Pravo na imya: biografiya XX veka. Chteniya pamyati Veniamina Ioffe: Izbrannoye. 2003–2012* [Right to a Name: Biography of the 20th Century. Readings in Memory of Veniamin Ioffe: Selected Papers, 2003–2012], Saint Petersburg: Norma, pp. 624–632.
- Rozhdestvenskaya E. (2001) "Obyknovennyy" Kholokost, ili Biografiya vyzhivshego ["Ordinary" Holocaust; or, A Biography of a Survivor]. *Vlast' vremeni: sotsial'nyye granitsy pamyati* [The Power of Time: Social Borders of Memory] (eds. V. Iarskaia, E. Iarskaia-Smirnova), Moscow: Variant, pp. 88–100.
- Ruzanova N. (2010) Krusheniye. Pamyatnik afganskoy voyny otpravlen v metallolom [The Crash. Afghan War Monument Put to the Scrap]. *Rossiyskaya gazeta — Nedelya: Sibir'* [Russian Newspaper — Week: Siberia], no. 5282. Available at: <https://rg.ru/2010/09/09/reg-sibir/pamyat.html> (accessed 12 August 2016).
- Thiesse A.-M. (2010) Ispol'zovaniye natsional'noy istorii v politicheskikh tselyakh: na primere sovremennoy Frantsii [The Political Usage of National History in Modern France]. *Journal of Sociology*, no. 1, pp. 92–103.
- Tilly Ch. (2004) *Social Movements, 1768–2004*, Boulder: Paradigm.
- Truc G. (2011) Memory of Places and Places of Memory: For a Halbwachsian Socio-Ethnography of Collective Memory. *International Social Science Journal*, no 62, pp. 147–159.
- Winter J. (1997). Review: Pierre Nora, ed., *Realms of Memory: Rethinking the French Past, Vol. 1: Conflicts and Divisions* (New York: Columbia University Press, 1996). *H-France, H-Net Reviews*. October. Available at: <http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=1354> (accessed 12 August 2016).

«Гендер и власть»: читая книгу Рейвин Коннелл в России

КОННЕЛЛ Р. (2015). ГЕНДЕР И ВЛАСТЬ: ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ И ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА / АВТОРИЗ. ПЕР. С АНГЛ. Т. БАРЧУНОВОЙ ПОД РЕД. И. ТАРТАКОВСКОЙ. М.: НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 432 С. (БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС».) ISBN 978-5-4448-0248-9

Ольга Здравомыслова

Исполнительный директор Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд),

Ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук (ИСЭПН РАН)

Адрес: Ленинградский пр., д. 39. стр. 14, г. Москва, Российская Федерация 125167

E-mail: olgzdrav@gorby.ru

В книге Рейвин Коннелл «Гендер и власть. Общество, личность и гендерная политика», опубликованной на русском языке в издательстве «Новое литературное обозрение», излагается теория и методология структурно-конструктивистского подхода в гендерных исследованиях. Коннелл исследует гендер как социальную структуру, формирующую модели фемининности и маскулинности. В понятии «структур» зафиксированы «ограничения, заключающиеся в способе социальной организации» (социальных институтах), то есть отражена «риgidность социального мира». В то же время структура может быть целенаправленным объектом человеческой практики. Динамика взаимовлияния структуры и практики определяет фундаментальное свойство гендерных отношений — их историчность. Если структура власти стремится обеспечить высокую степень упорядоченности гендерного порядка, то в поле практик развиваются многочисленные конфликты по поводу гендера и сексуальности, формируются социальные группы и движения сопротивления. Работая с феминистскими идеями и теориями, одновременно полемизируя с ними, Коннелл ставит вопрос о вовлечении людей в проекты преобразования гендерных отношений на основе критерия равенства. Важнейшая для Коннелл задача — «понять игру социальных сил, в которой гендеру принадлежит ведущая роль» — отсекает любую попытку найти единственное или универсальное объяснение. Этот подход открыл перспективы для сравнительных исследований, способных описать и объяснить формы организации гендерных отношений в разных культурах. Книга Коннелл проливает свет на исключительную значимость роли гендера в той «игре социальных сил», которые определяют ход и направления социальных трансформаций в современной России.

Ключевые слова: гендер, структура, практика, фемининность, маскулинность, гендерный порядок, консервативный поворот

Книга современного классика гендерных исследований Рейвин Коннелл «Гендер и власть. Общество, личность и гендерная политика» вышла в свет в издательстве

«Новое литературное обозрение» почти три десятилетия спустя после ее опубликования на английском языке (Connell, 1987).

«Гендерные» тексты трудны для перевода на русский, и это, безусловно, спрашивали в отношении книги Коннелл. В «конгломерате нашей языковой памяти» зачастую отсутствуют «выражения и ходы их развертывания» (Гаспаров, 1996: 2), необходимые для точного понимания авторского текста. Огромный пласт источников, на которые опирается Коннелл, делая их предметом анализа и критики, лишь фрагментарно знаком русскоязычному читателю. Тем не менее Татьяне Барчуновой (переводчица книги) и Ирине Тартаковской (научный редактор перевода) удалось создать в целом корректный перевод объемного, сложносоставного текста. Книга «Гендер и власть» — один из поворотных пунктов в истории гендерных исследований, поэтому ее перевод в России — несомненно, вклад в отечественное социологическое образование.

Структурно-конструктивистская концепция гендера, которую Коннелл разрабатывает и обсуждает в своей самой известной книге, появилась у нас значительно раньше, чем настоящее издание. В статьях, монографиях, учебных пособиях, написанных российскими авторами, подход Коннелл предстает в виде законченной теории и «полезной» исследовательской методологии: в наш социологический курс вошли концепция гендера как важнейшего измерения социальной структуры и понятия «гендерная композиция», «гендерный порядок», «гендерные режимы»; коннелловская критика полоролевого подхода и представление о «гегемонной матскулности» — ключевое для анализа патриархата¹.

Без этой аналитической и просветительской работы перевод и издание книги не могли бы состояться. Ее полный текст предоставляет русскоязычному читателю качественно новые возможности понять логику дискуссий о гендере, «возникших из социальных сражений за гендерное равенство» (с. 6). Вместе с тем книга Коннелл проливает свет на исключительную значимость роли гендера в той «игре социальных сил», которые определяют ход и направления социальных трансформаций в современной России.

Происхождение теорий гендера как проблема исследования

Концепт «гендер» пришел в Россию в конце 1980-х — примерно тогда же, когда появилось первое издание «Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics», тем не менее между русскоязычным текстом книги и его восприятием существует культурный барьер. Как будто предвидя это обстоятельство, Коннелл с самого начала сталкивает представление о гендере как «социальном факте и историческом процессе», адекватное фактам, выявляемым в исследованиях (с. 5), с обычным

1. Подробное, структурированное изложение подхода Р. Коннелл содержится в учебнике Е. А. Здравомысловой и А. А. Темкиной (Здравомыслова, Темкина, 2015: 294–462). В этой связи следует назвать также статью И. Н. Тартаковской «Гендерная теория практик: подход Р. Коннелл» (Тартаковская, 2007: 34–55).

представлением большинства людей, которым привычнее, удобнее и спокойнее считать модели женственности и мужественности «естественными». Замечание Коннелл, что «многие люди видят угрозу в самом понимании этих моделей как социальных» и «воспринимают свою собственную маскулинность и фемининность как аргумент в споре» (с. 30), справедливо в отношении любого из современных обществ — в том числе оно точно описывает ситуацию сегодняшней России. Однако Коннелл имеет в виду прежде всего западное общество, гендерные отношения которого являются объектом ее анализа. Она крайне осторожна в суждениях по поводу других обществ и настаивает на том, что теории гендера описывают западное модернное общество, поэтому использование их в ином контексте требует исследования и объяснения его исторических, культурных, политических особенностей.

Коннелл делает акцент на том, что происхождение современных теорий гендера, в том числе ее собственной концепции, определили три процесса: 1) утверждение светской морали — следствие Просвещения и результат «шока», вызванного Французской революцией; 2) рост влияния рационализма (науки и права) и внутри него — достижения биологии и психологии, сделавшие возможными научные исследования вопросов пола; 3) подъем движений за социальное равенство. Уникальным феноменом западной культуры эпохи модерна была взаимосвязанность этих процессов, благодаря чему в концепциях социальной природы гендера, созданных в эту эпоху, произошло радикальное переосмысливание «конфликта между природой и культурой, который является, конечно, традиционной темой западной мысли» (с. 267).

Надо подчеркнуть, что русская мысль эту тему не только не акцентировала, но заменила ее темой конфликта между Россией и Европой, Россией и Западом — его осмысливание стало точкой отсчета как для западников, так и славянофилов, определило логику, которая в общих чертах воспроизводится в современном «либеральном» и «консервативном» дискурсе. При этом традиционное направление русской мысли было в целом глубоко критическим в отношении рационализма западной цивилизации «как цивилизации вне религиозной», пытающейся «вместо прежнего божественного права» положить в основание общества права человека, которые «сводятся к двум главным: свободе и равенству, которые должны примиряться в братстве» (Соловьев, 1989: 7).

Эти темы, явно недооцененные авторами, занимающимися российскими гендерными проблемами, — необходимое звено в объяснении структурных особенностей и трансформаций российского гендерного порядка, равно как и видения гендерных проблем большинством населения, в том числе «консерваторами» и «либералами».

Коннелл ясно показывает, что теории гендера, с одной стороны, выступили как критика мощных, разветвленных направлений западной мысли, «начиная с томизма и заканчивая марксизмом, а также функционализмом и теорией систем» (с. 30), исходивших из идеи «естественности» гендерных различий и «унитарных

моделей» фемининности и маскулинности. С другой стороны, они развивались в общем поле феминистской критики и проектов преобразования социальных отношений в направлении достижения гендерного равенства.

Несмотря на очевидные различия между теориями гендера, которые, как замечает Коннелл, с течением времени «не конвергируют», а расходятся все дальше, все они заряжены критическим отношением к религиозно-философским и социально-научным традициям, а также радиальной критикой исторически сложившегося гендерного порядка. В свою очередь, сама Коннелл, разрабатывая представление о гендере как «структуре власти, совокупности социальных отношений, распространенных и устойчивых» (с. 148), постоянно полемизирует со своими предшественниками и современниками из разных научных областей, «начиная с экономики и кончая историей и психоанализом» (с. 6).

Однако важнейшая для Коннелл задача — «понять игру социальных сил, в которой гендеру принадлежит ведущая роль» (с. 30) — отсекает любую попытку найти единственное или универсальное объяснение. Книга «Гендер и власть» сделалась столь известной еще и потому, что она открыла перспективы для сравнительных исследований, основанных на методологии структурно-конструктивистского подхода, способных описать и объяснить формы организации гендерных отношений, «поразительно разнообразные в разных культурах» (с. 5).

Идея и логика концепции

Коннелл начинает с анализа конкретного случая девочки-подростка Делии Пирс из семьи австралийских рабочих и ставит вопрос: Делия — «нормальный ребенок», но откуда возникает, как формируется эта «нормальность»? Постепенно обнаруживается, что поверхностный слой того, что принято считать «обыкновенным», «нормальным», скрывает «проблемы и источники напряжения», которые воспроизводятся и изменяются от поколения к поколению. Становится ясно, что жизнь конкретной семьи и социума «подчиняются строгим паттернам или моделям» — в этом проявляется структура власти, определяющая представления об иерархии мужественности и женственности и влияющая на будущее конкретного подростка. Но этот процесс происходит не в статичной закрытой системе — на-против, сама система полна противоречий и конфликтов, она «меняется, даже в каких-то мелочах» (с. 10, 12).

От единичного случая «семьи Пирс» Коннелл переходит к анализу сравнительных статистических данных, раскрывающих масштабность и глобальный характер проблем неравенства, насилия, распределения власти, в которых проявляются модели гендерных отношений. Стоит отметить, что Коннелл продуктивно использует как качественные, так и количественные методы — в этом состоит отличие ее подхода от распространенной среди большой части исследователей идеи разделения и даже конкуренции качественных и количественных методов.

Полемизируя со многими феминистскими авторами, Коннелл доказывает, что проблемы и напряжения внутри отдельной семьи отражают «беспорядок и аномалии, скрытые за фасадом патриархата» (с. 149), а историческая динамика семьи не позволяет рассматривать домашний патриархат как ядро и центр патриархального комплекса (с. 153). Подтверждением этого могут быть, в частности, исследования, проведенные в России. Они показали, что патриархат имеет шаткую опору в современной семье: хотя роль мужчины-кормильца маркирует границы между мужской и женской ролями, сами границы постоянно пересматриваются и переоформляются в повседневных взаимодействиях (Здравомыслова, 2003: 88–116).

С исследования источников напряжения в отдельной семье начинается критика *стандартного нормативного случая*, которая становится одной из сквозных, организующих линий в книге. Именно в русле этой критики Коннелл формулирует принципиальные для структурно-конструктивистского подхода возражения против идеи «усвоения ролей и социальных предписаний» в ходе становления гендерной идентичности — то есть против ключевой идеи теории социализации и теории половых ролей. Их неточность и недостаточность для «подлинно социального анализа социальных процессов», доказывает Коннелл, не способен преодолеть либеральный феминизм (с. 260–261). Проблема состоит в том, что либеральные феминистки разделяют представление о «гомогенной, или гармоничной модели гендерной идентичности», с помощью которого невозможно объяснить «креативность и сопротивление». Поэтому они «готовы абстрагироваться от таких факторов социальной жизни, как выбор и сила», жесткое давление агентов социализации на личность ребенка и подростка, «отсутствие упоминания альтернатив» (с. 263–264). Развивая аргументацию, Коннелл использует выводы классического психоанализа, который рассматривается ею как важнейший источник собственной концепции. Коннелл показывает, что ни одна модель психосексуального развития, воплощенная в фемининности или маскулинности, не может считаться универсальной даже в пределах конкретного социального контекста (например, в европейских семьях, изучавшихся Фрейдом) (с. 279–280). Альтернативность путей психосексуального развития, открытая психоанализом, становится основанием концепции множественности путей формирования гендера — в противоположность теориям, базирующемся на представлении о норме и отклонении, или об «одной главной модели личности плюс девиации» (с. 279).

Из критики нормативного стандартного случая и гипотезы о гендере как структуре и социальном процессе, связывающем личный опыт и жизнь общества, вырастает сложная, насыщенная отсылками к фактам и теориям композиция книги-исследования «Гендер и власть». Она организована вокруг общего вопроса, который ставит Коннелл: как следует понимать социальную структуру, формирующую модели фемининности и маскулинности и являющуюся объектом «открытой» (публичной) и «скрытой» (не артикулированной публично) гендерной политики?

Согласно Коннелл, в понятии *структура* зафиксированы «ограничения, заключающиеся в способе социальной организации» (социальных институтах), то есть отражена «риgidность социального мира». Но поскольку «человеческое знание рефлексивно... структура может быть целенаправленным объектом практики» (с. 132). Развивая и переосмысливая здесь идеи П. Бурдье и Э. Гидденса, Коннелл прежде всего усиливает акцент на исторической динамике, на индивидуальных и коллективных стратегиях, направленных «против того, что их ограничивает» (с. 132). По Коннелл, динамика взаимовлияния структуры и практики определяет фундаментальное свойство гендерных отношений — их историчность, выступающая как понятие «более сильное, чем понятие социального изменения» (с. 196). Речь идет о том, что человеческая практика является постоянным источником ситуаций, в которых прежние модели отношений прекращают свое существование («ситуация уже никогда не будет такой, как прежде») и открываются новые возможности для изменений (с. 196).

Все наиболее влиятельные современные теоретические подходы устранили идею историчности гендера, поскольку исходили, как показывает Коннелл, из предпосылки об универсальной исторически инвариантной структуре. В теориях внешних факторов (марксистские теории) ее связывали с процессами общественного воспроизводства, определяющими подчиненное положение женщины (с. 63). В теории половых ролей речь шла об «инвариантной биологической структуре и гибкой социальной настройке» (с. 72), закрепляющей разделение и взаимодополнительность женской и мужской ролей. Наконец, в феминистских теориях гендерных категорий постулировалась единственная универсальная структура патриархата — «подчинение женщин и превосходство мужчин», что препятствовало пониманию изменений и противоречивости гендера как социального процесса (с. 85).

Коннелл выделяет три основные структуры, организующие гендерные отношения: *труд* (организация домашней работы и заботы о детях, половая сегрегация рынков занятости, дискриминация в сфере оплаты труда и профессионального продвижения); *власть* (формы контроля, принуждения, насилия в различных иерархиях — от государства до семьи); сфера эмоциональных связей и повседневных проявлений эмоциональных отношений (она обозначается психоаналитическим термином «катексис») (с. 127–159).

Эти структуры взаимосвязаны — каждая участвует в формировании моделей фемининности и маскулинности, взаимодействие между которыми строится вокруг «одного структурного факта — глобального доминирования мужчин над женщинами» (с. 249), выражавшего суть патриархата. Связав это с другим важнейшим фактом — многообразием форм женственности и мужественности, Коннелл рассматривает возможности и перспективы изменения патриархатного гендерного порядка в результате гендерной политики. «Необходимая и весьма распространенная часть социальной жизни» (с. 349), она охватывает многоуровневые процессы, центром которых выступают государство, рынок и работодатели, сфера

образования, семья и сексуальность, феминистские движения и движения за права сексуальных меньшинств.

Принципиальная возможность оспаривания и трансформации гендерного порядка обусловлены тем, что взаимодействие основных структур и практик создает не упорядоченную систему, а «единство исторической композиции» — «всегда незаконченное и находящееся в состоянии становления» (с. 160). Если структура власти в каждый конкретный момент стремится обеспечить высокую степень упорядоченности, то в поле практик развиваются многочисленные конфликты по поводу гендера и сексуальности, формируются социальные группы и движения — это сигнализирует о кризисных тенденциях гендерного порядка.

Его атрибуты (доминирование и зависимость, подавление и подчинение) суть проявление структуры власти как иерархии гегемонной и подчиненных форм мужественности (с. 150, 249), обеспечивающей доминирование мужчин. Коннелл подчеркивает, что *гегемонная маскулинность* основана не на грубой силе (хотя может с ней сочетаться), а на символической власти, укорененной в религии и идеологии, политике и повседневных практиках. На этом основании, с одной стороны, происходит исключение и наказание гомосексуалов, подрывающих «гегемонное определение маскулинности», посягая на «единодущие» мужчин в ее поддержке (с. 149). С другой стороны, исключается возможность формирования «гегемонной» фемининности, поскольку все формы женственности определяются только по отношению к подчинению: если *утрированная женственность* основана на полном согласии с ним, то другие формы различаются степенью несогласия с подчинением. С этим связаны как стратегии сопротивления, так и различные комбинации стратегий подчинения и кооперации (с. 249–250).

Логика «консервативных поворотов» и роль теории гендера

Публикация книги в России совпала с этапом российских социальных трансформаций, который называют «консервативным поворотом». В последние годы гендер играет в нем одну из системообразующих ролей, поскольку вопросы семьи, reproductive прав, прав сексуальных меньшинств и другие темы, обсуждаемые в исследованиях, стали центром агрессивного публичного дискурса о безальтернативности традиционной («унитарной», по Коннелл) модели гендерных отношений. Вместе с тем, перефразируя Коннелл, можно сказать, что по риторике «консерваторов» можно судить о противоречиях и кризисных тенденциях российского гендерного и в целом социального порядка. Поэтому в более точном смысле речь идет о том, что ведущие политические акторы, включая президента, используют традиционные гендерные нормы для контроля над обществом и формирования образа самой власти, которая пытается утвердить эти нормы как базовые для российской идентичности.

«Консервативный поворот» создает ситуацию острого вызова как для общественных движений, связанных с темой гендера, так и для исследователей («теоре-

тиков», по Коннелл) гендера. Ситуация осложняется тем, что еще в 1990-е годы обнаружились серьезные напряжения, связанные с идеологической и политической разносоставностью женского движения и расколом между движением и «теоретиками», большинство которых считало, что в России нет почвы для современного феминизма. Эти тенденции усилились в общем «консервативном» контексте нулевых годов — в результате концепт *гендер* оказался не вполне понятым и в целом невостребованным как инструмент социальной критики.

С одной стороны, язык гендерной социологии, или язык социального конструктивизма, стал рассматриваться исключительно в духе «анализа того, что есть: можно посчитать, можно взять интервью, а что делать в будущем?»². С другой стороны, произошла банализация гендерного подхода — утверждилось понимание «гендерного» как «самого расхожего определения любых наших представлений о том, что такое „пол“, удобного своей вместимостью, но так и не приобретшего критических потенций»³. В подобных интерпретациях «гендерное» не только противопоставляется «феминистскому» как источнику социальной критики и стратегии сопротивления, но в целом обесценивается как теоретическая перспектива и социальная практика.

Это полностью противоречит логике концепции Коннелл и духу ее книги. Работая с феминистскими идеями и теориями, одновременно полемизируя с ними, Коннелл открыто ставит вопрос о вовлечении людей в проекты преобразования гендерных отношений на основе критерия равенства, «прилагаемого ко всем практикам» и «принимаемого как направление, от которого нельзя отклоняться» (с. 388). В то же время Коннелл отдает себе отчет в том, что история идей о гендере и сексуальности не носит поступательного характера, что «западные паттерны гендерных отношений» не могут выступать универсальной моделью «для остального мира» (с. 378), а их распространение и даже усиление влияния не означало и не означает конца гендерного неравенства.

Этот конец «ни в коей мере не является неизбежным»: хотя невозможно «отмахнуться» от вопросов, поставленных феминизмом и движением за права сексуальных меньшинств, «вполне вероятно, что нас ждет обновленный высокотехнологичный патриархат», который закрепит доминирование мужчин над женщинами и «гегемонную гетеросексуальность» как естественные и неизменные основания социального порядка (с. 39–40, 376, 377). Предвидение Коннелл, несомненно, более убедительно звучит сейчас, чем в то, устремленное к демократическим переменам время конца 1980-х, когда была написана книга «Гендер и власть».

Однако понимание настоящего момента как точки конфликта и выбора побудило Коннелл проводить исследования и разрабатывать теорию гендера, способ-

2. Ирина Жеребкина. Выступление на конференции «Гендерные сюжеты в культуре и СМИ на постсоветском пространстве» 11 апреля 2016. Видеозапись конференции: <https://www.youtube.com/watch?v=PVznPcgQ4wc>.

3. Людмила Бредихина. «„Феминистская (арт)критика“: от теории к практикам и обратно» (<http://www.colta.ru/articles/literature/11998>).

ную стать инструментом анализа «структуры выбора и коллективных проектов, возникающих в результате этого выбора» (с. 377). Теория здесь — важнейшая часть практики освободительных движений и политики, «направленной на искоренение всех форм угнетения» (с. 395).

Хочется надеяться, что публикация книги Коннелл о социальной теории гендерса, основанной на практике, — это вклад в российскую дискуссию о гендерных отношениях и феминизме, увеличивающий ее интеллектуальный и гражданский потенциал.

Литература

- Бурдье П.* (2001). Практический смысл / Пер. с франц. А. Т. Бикбова и др. СПб.: Алетейя.
- Гаспаров Б. М.* (1996). Язык, память, образ: лингвистика языкового существования. М.: Новое литературное обозрение.
- Гидденс Э.* (2003). Устроение общества: очерк истории структуризации / Пер. с англ. И. Тюриной. М.: Академический проект.
- Здравомыслова Е. А., Темкина А. А.* (2015). 12 лекций по гендерной социологии. СПб: Изд-во ЕУСПб.
- Здравомыслова О. М.* (2003). Семья и общество: гендерное измерение российской трансформации. М.: УРСС.
- Соловьев В. С.* (1989). Чтения о богочеловечестве // *Соловьев В. С. Сочинения в 2-х тт. Т. 2.* М.: Правда. С. 3–172.
- Тармаковская И. Н.* (2007). Гендерная теория практик: подход Р. Коннелл // *Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. (ред.). Российский гендерный порядок: социологический подход.* СПб.: Изд-во ЕУСПб. С. 34–55.
- Connell R. W.* (1987). *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics.* Cambridge: Polity Press.

“Gender and Power”: Reading Raewyn Connell in Russia

Olga Zdravomyslova

Executive Director, International Foundation for Socio-Economic and Political Studies (Gorbachev Foundation)

Leading Research Fellow, Institute of Socio-Economic Studies of Population of the Russian Academy of Sciences (ISESP RAS)

Address: Leningradsky Prospekt, 39/14, Moscow, Russian Federation 125167
E-mail: olgazdrav@gorby.ru

Raewyn Connell's book *Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics*, published by the New Literary Observer Publishing House in Russian, presents a theory and the methodology

of structural constructivist perspective for gender studies. Connell examines gender as a social structure that forms models of masculinity and femininity. The concept of the structure fixes constraints and limits of social organization (social institutions) that reflects "the rigidity of the social world." At the same time, the structure may be a subject of purposeful practice. The mutual dynamics of the structure and practice determines the fundamental characteristic of gender relations, that of their historicity. The power structure seeks to provide a high degree of regulating the gender order. At the same time, numerous conflicts over gender and sexuality, formed social groups, and resistance movements have developed in the space of the practices. In discussing feminist ideas and theories, Connell raises the question of the involvement of the people involved in the transformation projects of gender relations based on equality criterion. One of Connell's key ideas is "to understand the game of social forces in which gender plays a leading role," cutting off any attempt to find a single or universal explanation. This approach has created prospects for Comparative Studies, which is able to describe and explain the forms of organization of gender relations in different cultures and societies. This conception sheds light on the exceptional importance of the role of gender in the "game of social forces" that determines the course and direction of social transformation in modern Russia.

Keywords: gender, structure, practice, femininity, masculinity, gender order, conservative turn

References

- Bourdieu P. (2001) *Prakticheskij smysl* [Practical Sense], Saint Petersburg: Aleteia.
- Connell R. W. (1987) *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*, Cambridge: Polity Press.
- Gasparov B. (1996) *lazyk, pamiat', obraz: lingvistika iazykovogo suschestvovaniya* [Language, Memory, Image: Linguistics of Language Existence], Moscow: New Literary Observer.
- Giddens A. (2003) *Ustroenie obshhestva: ocherk istorii strukturacii* [The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration], Moscow: Akademicheskij proekt.
- Solovyov V. (1989) Chteniia o bogochelovechestve [Reading about God-manhood]. *Sochineniia. T. 2* [Works, Vol. 2], Moscow: Pravda, pp. 3–172.
- Tartakovskaya I. (2007) Gendernaia teoriia praktik: podkhod R. Konnell [Gender Theory of Practice: R. Konnell's Approach]. *Rossiyskiy gendernyy poriadok: sotsiologicheskiy podkhod* [Russian Gender Order: A Sociological Approach] (eds. E. Zdravomyslova, A. Temkina), Saint Peterburg: EU Press.
- Zdravomyslova E., Temkina A. (2015) *12 lektsiy po gendernoy sotsiologii* [12 Lectures on the Sociology of Gender], Saint Petersburg: EU Press.
- Zdravomyslova O. (2003) *Sem'ia i obschestvo: gendernoie izmerenie rossiyskoy transformatsii* [Family and Society: The Gender Dimension of the Russian Transformation], Moscow: URSS.

Потерянное колено этнометодологии

FITZGERALD R., HOUSLEY W. (EDS.) (2015). ADVANCES IN MEMBERSHIP CATEGORISATION ANALYSIS. LONDON: SAGE. XI, 194 P. ISBN 978-1-4462-7072-1 978-1-4462-7073-8

Андрей Корбут

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник

Центра фундаментальной социологии

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: akorbut@hse.ru

У этнометодологии (ЕМ) давно есть постоянная пара — конверсационный анализ (СА). Социологи уже более-менее привыкли писать их вместе: ЕМСА. Если конверсационный анализ — «бриллиант в этнометодологической короне»¹, то обусловлено это как историческими обстоятельствами их появления, так и методологическим единством их исследовательской политики. И хотя сегодня их отношения не безоблачны, ЕМ и СА продолжают оставаться двумя ветвями одной программы исследований, берущей начало в работах Гарольда Гарфинкеля и Харви Сакса 1950–1960-х гг. Однако — о чем известно гораздо меньше — есть и третья ветвь программы, так называемый анализ категоризации членства (*membership categorization analysis*, MCA) — изобретение Сакса, которое по ряду причин не получило должного внимания и развития. Сборник «Новые исследования в области анализа категоризации членства» относится к крайне немногочисленному семейству монографий, посвященных этому третьему этнометодологическому подходу. Собственно, это всего пятая книга в данной области за 50 лет. Первой была монография Лены Джейюси «Категоризация и моральный порядок» (1984)², второй — сборник «Культура в действии: исследования в области анализа категоризации членства» (1997)³, третьей — книга Джорджии Леппер «Категории в тексте и речи: практическое введение в анализ категоризации» (2000)⁴, четвертой — исследование Питера Эглина и Стивена Хестера «Монреальская резня: случай анализа категоризации членства» (2003)⁵. Вместе с тематическим номером журнала

© Корбут А. М., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-3-223-233

1. *Livingston E.* (1987). *Making Sense of Ethnomethodology*. London: Routledge & Kegan Paul. P. 74.

2. *Jayyusi L.* (1984). *Categorization and the Moral Order*. Boston: Routledge & Kegan Paul.

3. *Hester S., Eglin P.* (eds.). (1997). *Culture in Action: Studies in Membership Categorization Analysis*. Washington: University Press of America.

4. *Lepper G.* (2000). *Categories in Text and Talk: A Practical Introduction to Categorization Analysis*. London: SAGE.

5. *Eglin P., Hester S.* (2003). *The Montreal Massacre: A Story of Membership Categorization Analysis*. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press.

«Исследования дискурса» (2012)⁶ и немногочисленными разрозненными статьями это практически весь корпус работ по МСА. В сравнении с собственно этнометодологической литературой и тем более с литературой конверс-аналитической это очень мало. Такое пренебрежение темой тем более примечательно, что именно ею первоначально занимался Сакс. Его диссертация⁷, первые публикации⁸ и многочисленные лекции⁹ были посвящены анализу практик категоризации членства, из которого затем родился анализ такой речевой практики, как разговор. Появление сборника «Новые исследования в области анализа категоризации членства» лишь раз подтверждает, что хотя интерес к данной области по-прежнему сохраняется, релевантных исследований крайне мало. При этом все опубликованные в сборнике статьи указывают на огромный потенциал МСА.

Но прежде чем перейти к рассмотрению этого потенциала и способов обращения с ним, необходимо прорисовать фон, который придаст объем как замыслу сборника, так и его значению. Как уже было сказано, анализ категоризации членства был придуман Харви Саксом в начале 1960-х годов. Работая в проекте по изучению деятельности Лос-Анджелесского центра предотвращения самоубийств, куда его пригласил Гарольд Гарфинкель, Сакс начал анализировать записи звонков на телефон доверия в этом центре. Одна из вещей, на которую обратил внимание Сакс, заключалась в повторяющейся жалобе людей, размышляющих о или находящихся на грани самоубийства: им «не к кому обратиться». Диссертация Сакса была посвящена тому, каким образом люди приходят к подобному выводу, часто становящемуся основанием для совершения суицида. По мнению Сакса, в основе данного вывода лежит работа категоризации: потенциальный самоубийца мог бы, например, обратиться к кому-то из близких родственников, но зачастую не может этого сделать, поскольку в данном случае категория «люди, к которым можно обращаться с такими вопросами» совпадает с категорией «люди, которые не заинтересованы в признании того, что их близкий хочет покончить с собой», поскольку наличие у кого-либо суицидальных мыслей или поступков может восприниматься

6. Stokoe E. H. (2012). Moving Forward with Membership Categorization Analysis: Methods for Systematic Analysis // *Discourse Studies*. Vol. 14. № 3. P. 277–303; Fitzgerald R. (2012). Membership Categorization Analysis: Wild and Promiscuous or Simply the Joy of Sacks? // *Discourse Studies*. Vol. 14. № 3. P. 305–311; Gardner R. (2012). Enriching CA through MCA? Stokoe's MCA Keys // *Discourse Studies*. Vol. 14. № 3. P. 313–319; Rapley T. J. (2012). Order, Order: A «Modest» Response to Stokoe // *Discourse Studies*. Vol. 14. № 3. P. 321–328; Silverman D. (2012). Beyond Armed Camps: A Response to Stokoe // *Discourse Studies*. Vol. 14. № 3. P. 329–336; Whitehead K. A. (2012). Moving Forward by Doing Analysis // *Discourse Studies*. Vol. 14. № 3. P. 337–343; Stokoe E. H. (2012). Categorical Systematics // *Discourse Studies*. Vol. 14. № 3. P. 345–354.

7. Sacks H. (1966). The Search for Help: No One to Turn to. PhD dissertation. Berkeley: University of California, Berkeley.

8. Sacks H. (1967). The Search for Help: No One to Turn to // Shneidman E. S. (ed.). *Essays in Self-Destruction*. New York: Science House. P. 203–223; Sacks H. (1972). An Initial Investigation of the Usability of Conversational Data for Doing Sociology // Sudnow D. (ed.). *Studies in Social Interaction*. New York: Free Press. P. 31–74; Sacks H. (1972). On the Analyzability of Stories by Children // Gumperz J. J., Hymes D. (eds.). *Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication*. New York: Rinehart & Winston. P. 325–345.

9. Sacks H. (1992). *Lectures on Conversation*. Oxford: Blackwell.

в обществе (включая самих родственников) как свидетельство вины тех, к кому он должен обращаться в подобных случаях. В результате потенциальный самоубийца обнаруживает, что тот, к кому он должен обращаться за помощью в первую очередь, — это тот же, кто может считаться другими или считать сам себя виновников проблемы, с которой к нему обращаются, откуда делается вывод: «Мне не к кому обратиться».

В своей диссертации и ряде основанных на ней публикаций (которые Сакс хотел даже издать в виде отдельной книги, но потом отказался от этой идеи¹⁰) Сакс описывает «машинерию категоризации», т. е. социальные механизмы, с помощью которых обычные члены общества категоризируют других людей в разнообразных повседневных ситуациях. Категоризация, по его мнению, осуществляется с помощью того, что он называл «механизмами категоризации членства» (*membership categorization devices*), которые представляют собой коллекции категорий, применяемых к определенным группам людей и/или к отдельным индивидам. Один из наиболее известных механизмов категоризации — «пол», включающий две категории — «мужчина» и «женщина». Разумеется, как и любой другой механизм категоризации, коллекция «пол» может меняться и в нее могут включаться новые категории, но это происходит не так уж легко и сегодня мы преимущественно оперируем двумя. Механизмы категоризации включают не только коллекции, но и правила их применения: правило экономии (для адекватной характеристики человека обычно достаточно одной категории) и правило консистентности (применимый к одному члену группы механизм категоризации будет обычно применяться и к другим членам). Кроме того, Сакс показывает, что с любой категорией соотносится определенная деятельность (*category-bound activity*), которая считается «характерной» или «присущей» данной категории. В повседневной жизни мы используем механизмы категоризации как для чтения и понимания текстов, так и в разговорах или при восприятии обыденных сцен. В своих лекциях Сакс работал преимущественно с транскриптами разговоров, но хрестоматийным примером, на котором он продемонстрировал возможности МСА, стали два первых предложения из истории, рассказанной девочкой двух лет и девяти месяцев и опубликованной в сборнике «Дети рассказывают истории: анализ фантазии»¹¹. Это была фраза: «Ребенок заплакал. Мама взяла его на руки» (*The baby cried. The mommy picked it up*). Мы не будем останавливаться на виртуозном анализе данного высказывания Саксом; с ним можно ознакомиться в соответствующей статье¹² или в лекциях¹³. В качестве иллюстрации того, как работает анализ категоризации членства, можно привести более простой пример: заголовок новостного сообщения «Житель Пензы получил 19 лет за убийство жены под воздействием амфетамина»¹⁴. В этом за-

10. Ibid. Vol. 1. P. 802.

11. Pitcher E. G., Prelinger E. (1963). Children Tell Stories: An Analysis of Fantasy. New York: International Universities Press.

12. Sacks. On the Analyzability of Stories by Children.

13. Sacks. Lectures on Conversation. Vol. 1. P. 223–266.

14. <http://ria.ru/incidents/20160722/1472644210.html>

головке мы читаем «жену» как «жену жителя Пензы», а «житель Пензы» — как «убийца» и «муж убитой жены». «Под воздействием амфетамина» может читаться как «причина» убийства, «убийство» — как «убийство, совершенное этим жителем Пензы», а «получил 19 лет» — как «приговор суда». Каким образом мы приходим к такому прочтению? В данном заголовке используются три механизма категоризации членства: «семья» (включающий категории «муж» и «жена»), «преступники» (включающий категории «убийца» и «жертва») и «жители» (включающий категорию «житель Пензы»). Категории «муж» и «жена» отличаются тем, что в нашем обществе их носителем в какой-либо момент времени может быть только один человек: у мужа может быть только одна жена, а у жены — только один муж. При этом мы применяем данные категории консистентно: если мы характеризуем жертву убийства как жену, а убийцу — как мужа, то речь идет о жене этого мужа, а не чьей-то другой жене. Читая «житель Пензы» как «преступник», мы ориентируемся на ту деятельность, которая с ним связана: он «получил 19 лет». «Получающий 19 лет» — это преступник, поскольку именно преступники «получают» сроки. Соответственно, если он получил срок, то убийство, о котором говорится далее, — это и есть его преступление. «Убийство» и «получение срока» — это действия, характеризующие преступников. Что позволяет, в свою очередь, понимать фразу «под воздействием амфетамина» как указание на причину совершения преступления, а «амфетамин» (если мы не знаем, что это такое) — как «наркотик». Категория «житель Пензы» не относится ни к коллекции «преступники», ни к коллекции «семья». Тем не менее ее применение в данном случае тоже носит систематический характер. Вообще, как и категории вроде «пол» и «возраст», категория «житель» может быть применена к любому. Не все люди являются «мужем» или «женой», но все являются «жителями» (в том смысле, что где-то проживают)¹⁵. При этом с «жителями» не связано какой-то специфической деятельности, кроме собственно «проживания». Однако эта категория недоступна непосредственно, как в случае пола и возраста. Мы не можем сказать, глядя на человека, жителем чего он является. Поэтому категоризация кого-то как «жителя» может быть безопасным способом идентификации его в случае, когда речь не идет о его наблюдаемых характеристиках. В данном случае применение категорий «житель Пензы» может быть связано еще и с тем, что речь идет о новостном заголовке, в котором географические категории играют особую роль (например, позволяя делить новости на «местные» и «международные»). Кроме того, то, что из заголовка видно, что речь идет о «России», может подсказывать читателю, как читать данный текст (например, что речь идет о «России-в-которой-запрещено-множественное»). Поэтому одной категории «житель Пензы» оказывается достаточно для характеристики индивида, хотя эта категория не связана с двумя другими коллекциями. Категоризировав индивида как «жителя Пензы», мы получаем возможность дальше применять к нему любые другие механизмы категоризации (это становится ясно, если мы заменим «жителя

15. Это не исключает возможности того, что некоторые люди могут относиться к категории «люди без определенного места жительства».

Пензы» менее универсальной категорией, например, «сталевар»). «Новостность» заголовка — то, что описываемое в нем событие достойно того, чтобы быть сообщенным, — связана с двумя обстоятельствами, в основе которых тоже лежат механизмы категоризации. Во-первых, с категорией «муж» не связана деятельность «убийство», а с категорией жена — «смерть в результате убийства». Но при этом наличие между убийцей и жертвой родственных отношений создает специфический фон, подчеркивающий «необычность» преступления. Конечно, речь идет не о статистике убийств жен мужьями, а о различных механизмах категоризации членства. Тем не менее этого недостаточно, чтобы стать «новостью». Если бы заголовок был «Житель Пензы получил 19 лет за убийство жены», читателю было бы сложно понять, «что в этом такого», поскольку мы знаем, что в новостях сообщают «что-то такое». Поэтому — и это второе обстоятельство — в заголовке появляется уточнение «под воздействием амфетамина», которое придает происходящему новостной характер. Свою роль при этом играет как то, о каком именно веществе идет речь (оно не настолько известно, как некоторые другие виды наркотиков), так и то, что на убийство жены «жителя Пензы» толкнуло именно употребление наркотика (то есть убийство было специфическим образом «немотивированным»).

Как можно видеть из приведенного примера, механизмы категоризации членства используются как автором высказывания, так и его читателем/слушателем. При этом мы достаточно часто категоризируем членство других людей, хотя делаем ли мы это всегда — открытый вопрос. В любом случае категоризация других людей вполне легко может быть рассмотрена (и так первоначально и рассматривалась самим Саксом) как один из повседневных методов, изучением которых занимается этнometодология. Анализ категоризации членства, как и в дальнейшем конверсационный анализ, изначально находился в русле этнometодологических исследований. Однако, судя по лекциям Сакса, его интерес к изучению категорий постепенно вытеснялся интересом к структурным особенностям организации разговора, хотя в той или иной степени он все время возвращался к практикам категоризации. В результате МСА был отделен от СА, а затем оттеснен на периферию. Поэтому после внезапной смерти Сакса исследование механизмов категоризации почти прекратилось. Лишь небольшое число исследователей продолжали работать в этой области, расширяя изначальные концептуальные рамки, предлагая новые понятия, собирая эмпирические данные. Наиболее значимой фигурой в этом отношении является представитель Манчестерской школы этнometодологии Род Уотсон. В ряде статей 1970–1980-х годов¹⁶ он формулирует три важные темы, которые в дальнейшем задали направление развития МСА и,

16. Watson D. R. (1976). Some Conceptual Issues in the Social Identification of «Victims» and «Offenders» // Viano V. C. (ed.). *Victims and Society*. Washington: Virage Press. P. 60–71; Watson D. R. (1978). Categorization, Authorization, and Blame-Negotiation in Conversation // *Sociology*. Vol. 12. № 1. P. 105–113; Watson D. R. (1983). The Presentation of Victim and Motive in Discourse: The Case of Police Interrogations and Interviews // *Victimology*. Vol. 8. № 1–2. P. 31–52.

судя по рецензируемому сборнику, продолжают его определять. Первая тема — ситуативный характер практик категоризации. Это тема, которая в дальнейшем получила развитие в первой монографии, посвященной практикам категоризации — книге Лены Джейюси «Категоризация и моральный порядок», — возникает потому, что предлагаемый в работах Сакса способ анализа слишком легко поддается культурологической интерпретации: можно решить, что Сакс предлагает анализировать культурные механизмы (даже «стереотипы»), релевантность которых определяется членством в той или иной социальной группе. Уотсон указывает на необходимость противостоять такой интерпретации, поскольку релевантность членских категорий обеспечивается ситуативными практиками их применения, а не культурой. Отсюда возникает вторая тема, которую уже несколько десятилетий развивает в своих работах Уотсон¹⁷: необходимость совмещения секвенциального (последовательностного) анализа и анализа категоризации членства. Речь идет о том, что осмысленность и понятность механизмов категоризации членства основывается на том, как они связаны с последовательностью конкретных действий в конкретных ситуациях. Очевидный пример — очередь, в которой категории «первый в очереди» и «последний в очереди» соотносятся с относительным положением человека в последовательности других людей и в последовательности действий. Наконец, третье направление развития МСА — расширение понимания как коллекций категорий, так и связанных с ними атрибутов. Уотсон отмечает, что следует говорить не только, как Сакс, о категориально-связанных видах деятельности, но в целом о категориально-связанных *предикатах*: видах деятельности, мотивах, обязанностях, правах и т. д. При этом сами механизмы категоризации могут относиться не только к людям, но и неживым вещам или местам, т. е. могут быть *не-персонализированными*.

Эти направления развития МСА, получив определенную поддержку как в работах Уотсона, так и в работах других исследователей, до недавнего времени оставались, однако, «потерянным коленом» этнometодологии. Несмотря на публикацию лекций Сакса в 1992 году и попытки вернуть анализ категоризации членства в активный корпус этнometодологических исследований в последующие годы, обсуждение соответствующих тем и эмпирическая работа в данной области активизировались лишь недавно, не в последнюю очередь — под влиянием «кризиса формализации» в СА. Превратившись в обширную область исследований, привлекающую исследователей из самых разных дисциплин (в первую очередь — лингвистики, социологии и психологии), конверсационный анализ начал утрачивать изначальную связь с этнometодологией и все больше формализоваться, превращаясь в «нормальную» науку, занятую поиском и накоплением эмпирических фактов с помощью формальных методов анализа. Реакцией части конверс-аналитического сообщества на такую формализацию (опасность которой не перестают подчерки-

17. Помимо указанных работ см.: Watson R. (1997). Some General Reflections on «Categorization» and «Sequence» in the Analysis of Conversation // Hester S., Eglin P. (eds.). Culture in Action: Studies in Membership Categorization Analysis. Washington: University Press of America. P. 49–76.

вать «собственно» этнometодологи¹⁸) стал поиск новых концептуальных ресурсов, в том числе — обращение к «забытому» наследию Сакса: анализу категоризации членства. Сборник «Новые исследования в области анализа категоризации членства» — свидетельство и результат таких поисков.

Книга состоит из семи статей, пять из которых представляют собой эмпирические исследования, а две (включая введение) носят более концептуальный характер. Авторы — как конверс-аналитики, так и этнometодологи. Поскольку сборник предназначен прежде всего для фиксации состояния исследований в области анализа категоризации членства, между статьями мало общего, поэтому их можно рассматривать по отдельности.

Наиболее широкая, концептуальная и в определенном смысле проблематизирующая работа — статья Рода Уотсона «Дереификация категорий» (р. 23–49). Уже из названия видно, что Уотсон указывает на ключевую угрозу для МСА — реификацию и деконтекстуализацию категорий, превращение их само собой разумеющейся «запас социального знания», просто извлекаемый участниками взаимодействия в конкретных ситуациях. Такому пониманию Уотсон противопоставляет «не-иронические, анти-когнитивистские, праксеологические, контекстально-чувствительные, натуралистские диспозиции» (р. 43) этнometодологических исследований, которые могут служить противоядием от формализации. В отличие от вводной статьи редакторов сборника Ричарда Фитцджеральда и Уильяма Хосли, где подчеркивается значение анализа категоризации членства для социологических исследований, например, для изучения идентичности, Уотсон указывает на то, что анализ категоризации членства не носит самостоятельный характер, это не отдельная дисциплина; он должен быть поставлен в ряд с собственно этнometодологией и конверсационным анализом как третье ключевое звено этнometодологических исследований, и, соответственно, его следует использовать в этнometодологических целях: для изучения повседневных способов ситуативной организации и производства социального порядка. Категоризация для Уотсона — средство методического достижения упорядоченности в каждой конкретной ситуации, а не «контекст» этой ситуации.

Статья конверс-аналитиков Элизабет Стокоу и Фредерика Аттенборо «Пропективная и ретроспективная категоризация: предложение категорий и выводы о категориях в социальном взаимодействии и новостных СМИ» (р. 51–70) изначально инспирирована стремлением показать полезность МСА для конверсационного анализа, поэтому авторы демонстрируют, что мы можем анализировать практики категоризации точно так же, как анализируются феномены организации разговора. Подробно анализируя обширный материал, начиная с обменов сообщениями

18. См.: Livingston E. (1987). *Making Sense of Ethnomethodology*. London: Routledge & Kegan Paul. P. 65–103; Lynch M., Bogen D. (1994). Harvey Sacks's Primitive Natural Science // *Theory, Culture & Society*. Vol. 11. № 4. P. 65–104; Lynch M. (2000). The Ethnomethodological Foundations of Conversation Analysis // *Text*. Vol. 20. № 4. P. 517–532; Watson R. (2008). Comparative Sociology, Laic and Analytic: Some Critical Remarks on Comparison in Conversation Analysis // *Cahiers de praxématique*. № 50. P. 203–244.

в Фейсбуке и заканчивая новостными сообщениями о террористической атаке в Норвегии, авторы показывают, что категоризация — это не практика «автоматического» применения готовых наборов категорий, а более гибкая и неопределенная деятельность, предполагающая предложение определенных категорий (или описаний, которые могут превращаться в категории), реакцию на них, их уточнение, отказ от них и т. д. Категории для них носят неискоренимо интеракционный характер, и в этом смысле можно утверждать, что категоризация подчиняется последовательности конкретных высказываний или действий. Отчасти такой тезис продолжает линию «дереификации категорий», намеченную Уотсоном, но при этом сам секвенциальный анализ не дереифицируется, а, наоборот, лишь усиливается. Стремясь показать, что поиск категорий в разговорах — это не «поиск иголки в стогу сена» (р. 56) (в том смысле, что не нужно перелопачивать горы эмпирического материала, чтобы обнаружить там практики категоризации), Стокоу и Аттенборо тем не менее ограничивают применимость анализа категорий членства, релевантность которых должна, с их точки зрения, основываться на их месте в последовательности реплик.

Статья Стокоу и Аттенборо направлена на решение одной более общей проблемы, с которой сталкиваются все, кто пытается анализировать практики категоризации членства: проблемы «ненаблюдаемости» категорий, точнее, их специфической наблюдаемости, отличающейся от прямой эмпирической наблюдаемости разговорных действий. Формальный конверсационный анализ строится на том, что поведенческие данные говорят сами за себя, что наблюдаемые феномены порядка разговора воспроизводятся из раза в раз в виде структурных эффектов, в силу чего можно собирать коллекции случаев, демонстрирующих определенный феномен. Однако работу категоризации с помощью такой процедуры обнаружить нельзя, поскольку категоризация не может быть сведена к совершению определенных эмпирически фиксируемых действий (хотя она *воплощается* в этих действиях). Работа категоризации заключается в производстве локального порядка, поэтому по отношению к ней всегда существует неопределенность: если категории не обязательно открыто упоминаются в разговоре, следует ли заключить, что категоризация осуществляется всегда, и не означает ли это, что исследователь приписывает наблюдаемым эмпирическим феноменам произвольные или здравосмыслилочные значения?

Один из способов избавления от этой двусмыслилности демонстрируется в статье Кристиана Ликопа «Работа категоризации в суде: „основополагающий“ характер анализа категоризации членства» (р. 71–98). В этой работе Ликоп, анализируя видеозапись заседания комиссии по досрочному освобождению осужденных за тяжкие преступления, показывает, что анализ категоризации членства — это не практика, совершаемая исследователем, а практика самих обычных членов общества. Детально описывая, каким образом психиатр пытается добиться от осужденного за сексуальное преступление демонстрации того, понимает ли тот, что совершил что-то неправильное, и в чем именно эта неправильность, с точки зрения

осужденного, состоит, Ликоп показывает, что отнесение себя и других людей к определенной категории составляет эксплицитную основу практик производства морального порядка: «добропорядочность» понимается в повседневной жизни как понимание и умение применять практики категоризации (например, в данном случае принцип «нельзя вступать в сексуальные отношения с несовершеннолетними» предполагает использование коллекции «возраст»). Категории — это как *условие*, так и *объект* повседневных действий.

Иное направление развития МСА указывают Эдвард Рейнольдс и Ричард Фитцджеральд в статье «Оспаривание нормативности: переосмысление категориально связанных, привязанных и предикативных свойств» (р. 99–122). Анализируя различные случаи того, что они называют «провоцированием спорности» (*enticing the challengeable*)¹⁹, они показывают, что отношения между категориями и категориальными свойствами (которые Уотсон называет «предикатами») более сложны, чем полагали ранее. Они выделяют три типа таких отношений: категориальную привязанность, категориальную связанность и категориальную предикацию. Первая предполагает, что между категорией и определенным свойством (деятельностью, правом, обязанностью, мотивом и т. д.) устанавливается слабое, спорное отношение, создаваемое самими участниками взаимодействия. Это отношение может быть подвергнуто сомнению, отвергнуто или переформулировано. Вторая — категориальная привязанность — предполагает эксплицитное провозглашение перманентной связи между категорией и каким-либо свойством. Наконец, категориальная предикация предполагает имплицитное, «априорное» подразумевание такой связи. Подобное концептуальное различие позволяет схватить ряд интересных особенностей организации социальных взаимодействий, однако предполагает, что у анализа категоризации членства есть прочные основания, на которые можно опереться, чтобы идти дальше. Между тем странный статус МСА и его долгое забвение были связаны, вероятно, как раз с неопределенностью этих оснований, в частности с двумя вопросами: 1) насколько ситуативны практики категоризации? и 2) можно ли свести категории к формулировкам? Уточнение того, что связи между категориями и категориальными предикатами более сложны, чем казалось раньше, не снимает остроты этих вопросов.

Насколько эти вопросы актуальны, можно оценить по статье Шона Ринтела «Всерелевантность в технологизированном взаимодействии: совладание пар с искажениями в ходе видеозвонков» (р. 123–150). Предмет анализа — реакция пар на «зависания», «подтормаживания» и прочие сбои в ходе общения через специализированное приложение для дистанционной видеосвязи. Для описания практик совладания Ринтел использует термин «всерелевантность» (*omnirelevance*), предложенный Саксом. По мнению Сакса, во взаимодействии могут встречаться категории, которые «всерелевантны», т. е. всегда доступны для характеристики участников взаимодействия. Скажем, во время лекции «всерелевантными» являются

19. Эмпирическим материалом послужили ролики с YouTube, например, записи словесных перепалок между протестующими и их оппонентами.

категории, относящиеся к механизму «обучение»: «преподаватель» и «студенты». Ринтель показывает, что в случае взаимодействия пар таким всерелевантным механизмом является «парность» (couple-ness), которая в том числе позволяет участникам взаимодействия безопасно использовать различные формы «подшучивания» или «подкалывания» друг друга. Такие всерелевантные механизмы категоризации позволяют, по мнению Ринтела, в каждый момент времени понимать, «кто-мы- такие-и-что-мы-делаем» (р. 125). Однако по статье видно, что такое использование понятия всерелевантности имеет свои недостатки. Опасность наделения тех или иных механизмов всерелевантностью заключается в том, что исследователь может приписывать всерелевантность исходя из своего знания ситуации (например, своего знания того, что это «пара»), а не из ситуативных действий участников. Если участники никогда открыто не формулируют происходящее — не называют это «видеозвонком» и не называют себя «парой» — каким образом мы можем определить, какие категории всерелевантны для их взаимодействия?

Одним из способов ограничения произвола в приписывании определенных практик категоризации участникам ситуаций может быть буквализация категорий, т. е. изучения тех обстоятельств, где участники сами используют термин «категория». Именно такую стратегию применяют Уильям Хосли и Робин Джеймс Смит в статье «Категоризация членства и методологические рассуждения во взаимодействиях членов исследовательской команды» (р. 151–173). Хосли и Смит анализируют, каким образом междисциплинарная группа исследователей обсуждает категории («коды»), которые они применяют в процессе обработки большой базы транскриптов интервью. В этих обсуждениях часто возникает то, что авторы называют «головоломками реальности»: когда один ученый видит в данных (и применяет соответствующую категорию) то, что другой там не видит. В результате им приходится решать эту головоломку так, чтобы не ставить под вопрос осуществимость проекта. При этом ученые используют механизм категоризации «правильное кодирование», включающий такие категории, как «недостаточное кодирование» и «излишнее кодирование», однако авторов интересует именно того, как, согласовывая технические и моральные аспекты своей практики, ученые напрямую апеллируют к «категориям» как организационному аспекту их деятельности. Такое буквальное понимание категорий позволяет обойти стороной ряд болезненных вопросов, связанных с анализом категорий членства, однако не избавляет от них.

Какой же «диагноз» можно поставить МСА на основании данного сборника? Во-первых, происходит расширение области применения МСА в конверсационном анализе. Однако часто это расширение происходит за счет подчинения практик категоризации формальным структурам разговора, конструируемым исследователем. Во-вторых, практики категоризации теперь рассматриваются не только как объект исследовательского внимания, но и как объект анализа, оценки, коррекции, стимулирования, сопротивления и т. п. самих участников повседневных ситуаций. Это открывает большие возможности в плане тематизации категорий

как ситуативных инструментов производства локального порядка. В-третьих, предпринимаются попытки уточнить понятийный аппарат МСА, однако эти попытки все еще недостаточно радикальны. Со временем Сакса серьезных прорывов (за исключением, пожалуй, того, что сделал Род Уотсон) в области концептуальных — точнее, описательно-эмпирических, «наблюдательных» — оснований МСА не было. Наконец, в-четвертых, благодаря «Новым исследованиям в области анализа категоризации членства» становится ясно, что наиболее продуктивным направлением дальнейшего развития МСА будет то, которое позволит рассматривать категории как конкретные достижения, а не универсальные механизмы. Категории не должны привлекаться для понимания происходящего в социальных взаимодействиях, а должны сами становиться объектом этого понимания.

Таким образом, каждая из представленных в рецензируемом сборнике работ не только предлагает интересные эмпирические наблюдения, касающиеся организации повседневных практик категоризации, но и указывает, в каком направлении должен развиваться анализ категоризации членства. Зачастую эти направления несовместимы, однако они в любом случае затрагивают круг важных вопросов, над решением которых стоит работать. Данный сборник убедительно показывает, что этнometодологические исследования не перестают развиваться, и возвращение к истокам этнometодологии может быть чрезвычайно продуктивным в плане обнаружения новых тем, проблем, объектов для анализа, понятий. Это доказывает, что первоначальный этнometодологический «импульс» не утратил своей радикальности и до их пор способен порождать открытия в области исследований повседневной жизни.

The Lost Tribe of Ethnomethodology

Andrei Korbut

Senior Research Fellow, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: akorbut@hse.ru

Review: Richard Fitzgerald, William Housley (eds.) *Advances in Membership Categorisation Analysis* (London: SAGE, 2015).

Неформально о неформальном

БАРСУКОВА С. Ю. (2015). ЭССЕ О НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, ИЛИ 16 ОТТЕНКОВ СЕРОГО. М.: ИЗД. ДОМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ. 215 С. ISBN 978-5-7598-1262-3

Леонид Бляхер

Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии
Тихоокеанского государственного университета
Адрес: ул. Тихоокеанская, д. 136, г. Хабаровск, Российская Федерация 680035
E-mail: leonid743342@mail.ru

Книга С. Ю. Барсуковой — это сборник ярко и талантливо написанных рецензий на хорошие и очень хорошие тексты, так или иначе связанные с одним из самых изучаемых феноменов, который тем не менее остается непонятным, — неформальной экономикой. Даже при поверхностном чтении очевидно, что здесь есть какая-то загадка, тот факт, что эти рецензии оказались под одной обложкой, создает качественно иной эффект. Читателю предстоит поразмышлять о таком сложном явлении нашей жизни, как неформальность.

Усиливающийся в последние десятилетия XX века интерес к неформальной экономике в 1990-е годы докатился и до отечественной социологии, став едва ли не «фирменным знаком» науки об обществе. Интерес этот имеет множество причин. На мой взгляд, едва ли не основным из них является недостаток языка мейнстримных экономических и социологических моделей для описания процессов, связанных с тем, что в тот период называли «транзитом». «Крыши» и «семья», блат и «тень» — это и многое другое не желало согласовываться с расхожими представлениями о переходе от плановой экономики к рыночной. Потому отечественные социологи (менее чем экономисты, интегрированные в государственные структуры) обратились к сфере, где антропология начинает проникать в традиционные области интересов социологии и экономики, — к неформальности. В таком подходе и виделся путь, на котором возможно понимание «другой логики» поведения социальных агентов, организаций, структур. К тому времени область эта уже имела серьезную историю и определенную институционализацию в рамках как исследовательского, так и управляемого мирового опыта.

Первоначально речь шла об организации хозяйства в экзотических сообществах, расположенных в Азии, Африке и Латинской Америке¹. Здесь и происходило вторжение антропологов и этнографов в традиционную вотчину социологов и экономистов. Впрочем, вторжение, вполне оправданное экзотичностью этих об-

© Бляхер Л. Е., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: [10.17323/1728-192X-2016-3-234-240](https://doi.org/10.17323/1728-192X-2016-3-234-240)

1. Hart K. (1973). Informal Economy Opportunities and the Urban Employment in Ghana // Journal of Modern Africa Studies. Vol. 11. № 1. P. 61–89.

ществ. Постепенно следы неформальности стали обнаруживаться в рамках много-кратно описанных и изученных обществ с понятной формальной структурой. Тут начинается взрыв исследований неформальности.

Однако по мере того, как неформальная экономика превращалась в популярное направление исследований самых разных социально-хозяйственных систем, понятие становилось все менее определенным. Исследовательский охват оборачивался методологической размытостью изучаемого явления. Кто-то предпочитал говорить о «неформальном секторе», четко выделяя полюса формальности и неформальности, кто-то — о неформальном контексте, в который погружены формальные правила². Все понятнее становилось, что в рамках проблематики, задаваемой концептом «неформальная экономика», анализируются совершенно разные, не всегда соотносимые процессы и явления.

Общее здесь только то, что все они находятся за пределами легальной «формы». Хозяйство восточного базара и отечественное крестьянское домохозяйство, блат и «раздаток», политические союзы, лоббирование и многое другое оказывалось объединено в одно исследовательское направление. Сходство между ними действительно обнаруживалось, но различий было ощутимо больше. Особенно очевидно это становилось тогда, когда от общих соображений авторы переходили к описанию конкретных практик, работы неформальных институтов.

В этих условиях и возникает необходимость сопоставления разных подходов, осмыслиения их различий, разделения исследовательских направлений, исследовательских техник, определение границ их применения. Но хотя необходимость такого сопоставления была осмыслена и частично реализована еще на рубеже столетий, полноценный анализ в рамках российской социологии был отложен более чем на десятилетие. Причины такой паузы были не только «цеховые» и методологические. Изменились — или нам показалось, что изменились — сама реальность, сам способ хозяйствования³. Неформальность из смыслового центра экономико-социологических обсуждений начала оттесняться на далекую периферию, оказалась коррупцией, с которой, как известно, нужно бороться, а не изучать. Однако стоило нефтегазовой пленке стать тоньше, как на поверхность вновь вышла неформальность, а осмысление традиции ее исследования выдвинулось в число первоочередных задач. Эту задачу и стремится решить С. Ю. Барсукова.

Текст книги не вполне обычен. Это — пристрастное рецензирование наиболее интересных работ, задающих направления исследования той части реальности, которая лежит за пределами легальных и формальных структур. Отбор работ связан с личными пристрастиями. По признанию автора: «Чистый субъективизм в отборе, но это единственный способ получить удовольствие от чтения, которое

2. Bromley R. (1978). Organization, Regulation and Exploitation in the So-Called «Urban Informal Sector»: The Street Traders of Cali // World Development. Vol. 6. № 9–10. P. 1161–1171; Норт Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. А. Н. Нестренко под ред. Б. З. Мильнера. М.: Начала.

3. Радаев В. В. (2002). Как легализовать российский бизнес // Управление персоналом. № 5. С. 53–57.

конвертировалось в радость размышления над прочитанным» (с. 10). Однако просмотр списка рецензируемых книг свидетельствует, что пристрастия Светланы Юрьевны удивительным образом совпали со списком книг, бывших или становившихся предметом обсуждения в профессиональном и не очень профессиональном сообществе, причем не просто содержащих описание феномена неформальности, но представляющих обозначенную или эксплицируемую позицию или полемику по поводу такой позиции.

Именно такой подбор текстов позволил превратить сборник рецензий в книгу — важную и ожидаемую. При этом если жанры работ, рецензии на которые включены в «Эссе о неформальной экономике», существенно разнятся, ощущение единого и целостного текста не исчезает. Напротив, соединение под одной обложкой академических экономических и социологических исследований и мемуаров, публицистики и исследований фольклора создают эффект погружения в тему, в тузыбкую реальность, которая обозначается термином «неформальная экономика».

Книга Барсуковой разделена на пять частей. Наиболее концептуально нагружена первая часть: «Неформальная экономика: причины развития в зеркале мирового опыта». Здесь представлены тексты, формирующие теоретические подходы к феномену неформальности. Открывает первую часть размышление над проблематикой, задаваемой классической монографией Дж. Скотта⁴. Это знаменательно. Несмотря на невероятную популярность Скотта у представителей самых разных направлений обществоведения, он — антрополог. Именно с антропологической площадки начался старт изучения неформальной экономики. Совмещая изложение идей Скотта с собственными размышлениями, автор показывает, как и почему формируется и воспроизводится неформальность в мире, почему все попытки описать ее с помощью статистических данных (на языке бюрократии) проваливаются, как и все «программы поддержки». «Смирительная рубашка государственного образца» не уничтожает неформальные практики, но генерирует новые. «На каждый тезис власти находится антитезис шумного и неупорядоченного реального мира. При этом закон может быть аннулирован, а порожденная им неформальная практика войдет в корпус обычаем, неподвластных росчерку пера правителя» (с. 21). Итак, неформальность — неотъемлемая характеристика живого мира, противостоящая безжизненной бюрократической системе. Но этот подход — при всей его эвристичности — лишь очерчивает круг того, чем неформальность не является. Ответ же на вопрос о позитивных характеристиках неформальности, о подходах к ее изучению повисает в воздухе.

Ответить на него автор и стремится в ходе размышлений о связях формальной и неформальной экономик⁵. Здесь используемый метод анализа выступает

4. Скотт Дж. (2005). Благими намерениями государства: почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни / Пер. с англ. Э. Н. Гусинского и Ю. И. Турчаниновой. М.: Университетская книга.

5. Guha-Khasnobi B., Kanbur R., Ostrom E. (eds.). (2006). Linking the Formal and Informal Economy: Concepts and Policies. Oxford: Oxford University Press.

наиболее наглядно. Изложение текста — не самоцель. Барсукова прослеживает становление исследовательского поля, обозначенного концептом «неформальная экономика», определяет, как и почему менялось содержание понятия. Автор демонстрирует, как идея особых правил игры для периферийных социальных систем постепенно двигалась в сторону все более широкого применения, превращаясь в сознании носителей власти в инструмент по уменьшению бедности в обществах. Но эта идея достаточно далека от реальности. Государственные программы поддержки «неформального сектора» предполагают его включение в формализованное пространство. На практике это ведет к разрушению неформальной структуры, росту издержек, даже если внешне ситуация выглядит иначе.

Неформальность — то, что не есть формальное — «оправдывается», обретает набор позитивных определений. Неформальная экономика оказывается основным инструментом трудоустройства и пространством экономической деятельности социальных групп с низким доходом. Она достаточно тесно интегрирована с экономикой вполне легальной и формальной, поскольку предоставляет последней существенные возможности для снижения издержек. Она гибче реагирует на изменения внешних условий, обладает большей устойчивостью и т. д. Неформальная экономика все меньше воспринимается как некий выделенный «сектор», но все больше — как важная составная часть социальных «правил игры», институтов. Противопоставление «секторального» и «институционального» подходов стало важным элементом становления исследований неформальной экономики. Демонстрация возможностей и сфер применения этих подходов проводится Барсуковой необычайно тонко.

Через весь текст «Эссе о неформальной экономике» проходит тема восприятия неформальности как «коррупции»⁶. В сборнике, составленном И. Б. Олимпиевой и О. В. Паченковым, она выходит на авансцену в крайне своеобразной интерпретации. Традиционный посыл о необходимости борьбы с коррупцией трактуется здесь как изначально теоретически ошибочный, когда речь идет о странах за пределами «мирового центра». Борьба с коррупцией сравнивается с поведением благородного идальго, сражающегося с ветряными мельницами. Чем же является коррупция в этих странах? Рецензент достаточно четко эксплицирует позицию, так или иначе присутствующую в книге: коррупция — следствие имитации политических и социально-экономических институтов, навязанных странами «мирового центра». Традиционная «почва» стран «мировой периферии» попросту переваривает эти институты, заставляя их работать так, как предполагается в данном социуме. «Социальные логики переварили „пришлые“ законы в кашу неформальных практик, еще раз доказав, что игнорирование подобных законов — не следствие варварства страны, а свидетельство их искусственности в контексте культурных норм развивающихся стран. Коррупция не-Запада — результат замера ситуации западными мерками» (с. 39).

6. Олимпиева И. Б., Паченков О. В. (ред.). (2007). Борьба с ветряными мельницами? Социально-антропологический подход к исследованию коррупции. СПб.: Алетейя.

Но даже «национальные нормы» далеко не всегда способны лечь в основу кодифицированных правил — ведь норм много. Кодификация и наделение особым статусом одной из них неизбежно ведут к тому, что группы, которым они свойственны, будут стараться найти способ реализовать их. Последнее тоже может быть интерпретировано как коррупция.

Оппозиция «формальное — неформальное» в данном контексте размыается, превращается в сложный континуум, где члены бинарного противопоставления выступают лишь как крайние точки, своего рода идеальные типы, не существующие в реальности. Важно, что такая ситуация становится сегодня все более типичной. «Правильные» экономики все более срастаются с толщей неформальных практик, активно включаются в неформальные взаимодействия. Этот все более сложный мир и рисует Барсукова, анализируя книгу Ричарда Сеннета⁷. В этом мире противоречие между всеобщими бюрократическими нормами и уникальностью условий человеческой жизни, бесконечным разнообразием социальных связей становится все более ощутимым. Неформальность, обнаруженная на периферии социального бытия, все стремительнее движется в смысловой центр, размывая бюрократические препоны.

Рецензируемая книга — не просто анализ подходов к неформальной экономике. Все мысли Барсуковой вращаются вокруг одного уникального социального пространства — российского. Особенностям этого пространства, его неформальности посвящены остальные части книги.

Если первая часть при всей эмпирической насыщенности работ «собеседников» Барсуковой представляет — во всяком случае, в ее интерпретации — размышления общетеоретические, то последующие части все более приближают наш взгляд «к земле», к конкретным проблемам и конкретным практикам.

Вторая часть, составленная из размышлений над работами О. Бессоновой, А. Леденевой, С. Кордонского и специфического исследования советского анекдота М. Мельниченко⁸, задает систему координат восприятия феномена российской неформальности. Работы эти очень разные, но они направлены на одно — описание той самой почвы (не сектора, но пространства, организованного системой специфических институтов). Особенности сословной (или квазисословной) системы в России С. Кордонского в интерпретации Барсуковой неожиданно попадают в тант с «раздатком» О. Бессоновой и «блатом», трактуемым А. Леденевой, становятся гранями одного феномена, имя которому — российское общество. Особый социум, где «гражданское общество» располагается в саунах и охотничих зимовьях, а публичными пространствами выступают рестораны и трибуны стадионов, но не площади или избирательные участки. Самое главное, что общество это край-

7. Сеннет Р. (2004). Коррозия характера / Пер. с англ. В. И. Супруна. Новосибирск: Тренды.

8. Бессонова О. (2006). Раздаточная экономика России: эволюция через трансформации. М.: РОССПЭН; Кордонский С. (2008). Сословная структура постсоветской России. М.: Институт Фонда «Общественное мнение»; Ledeneva A. (1998). Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge: Cambridge University Press; Мельниченко М. (2014). Советский анекдот (указатель сюжетов). М.: Новое литературное обозрение.

не разнородно, многослойно, причем каждый слой обладает собственной неформальностью, дающей возможность существовать формальным практикам. Для каждого из этих слоев его неформальность — нормальна и естественна. «Чужая» же неформальность — коррупция в самой недопустимой форме. Многослойность общества и, соответственно, многослойность неформальности и задает рамку для осмыслиения явления.

Его проявления разнообразны. Это и неформальность крупного бизнеса в академическом исследовании Я. Ш. Паппэ и Я. С. Галухиной⁹; и сложные стратегии дистанцирования бизнеса от государства, которые рассматривает в своей книге Э. Панеях¹⁰, и литературно-публицистическое изложение срастания бизнеса и власти в воспоминаниях А. Коха и И. Свинаренко¹¹.

Отдельная тема — рецензии на книги, связанные с правоприменением, точнее, с принуждением к исполнению правил. Энфорсеры (бандиты, коррумпированные чиновники, «влиятельные» люди и легальные правоприменители) отличаются по степени легальности, но не по технологии воздействия. Последняя оказывается на удивление сходной во всех вариантах. Более того, именно формализованное право становится самым неэффективным инструментом принуждения к исполнению правил. Огромная часть реальности при этом попросту выпадает из-под контроля. Ее не видят.

Эта часть предстает в книге Барсуковой в последнем разделе, посвященном неформальной занятости¹². За пределами государства, его недремлющего ока, бурлит живая жизнь. Она не попадает в отчеты, не оказывается на статистических показателях. Но именно благодаря ей формальные институты, даже неудачно спроектированные и криво реализуемые, не могут уничтожить общества. Именно поэтому стремление понять Россию — это прежде всего стремление понять ее неформальную сторону — ту, которая живет «в тени». И книга Барсуковой — важный этап на пути такого понимания.

Почему сборник рецензий воспринимается отнюдь не только как «мостки» к текстам, которые он рассматривает? Почему это — книга? Ответ, как мне кажется, дает сам автор, правда, в отношении книги Ричарда Сеннета. Но мысль эта легко и естественно переносится на манеру изложения Барсуковой: «По жестким канонам социологического исследования судить книгу можно строго (вопросы о выборке, о репрезентативности наблюдаемых случаев даже не обсуждаются автором). Верующим в единообразие „научного продукта“ книгу лучше не трогать, дабы не раздражаться. Видящим в социологии пограничье с искусством, где есть место про臻нию и стилевой свободе, книга даст повод к размышлению» (с. 14).

9. Паппэ Я. Ш., Галухина Я. С. (2009). Российский крупный бизнес: первые 15 лет. Экономические хроники 1993–2008 гг. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ.

10. Панеях Э. (2008). Правила игры для русского предпринимателя. М.: Колибри.

11. Кох А., Свинаренко И. (2005). Ящик водки: в 4-х тт. М.: Эксмо.

12. Гимпельсон В. Е., Капельюшников Р. И. (ред.). (2014). В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда. М.: Изд. дом ВШЭ; Плюснин Ю., Заусаева Я., Жидкович Н., Позаненко А. Отходники. М.: Новый хронограф.

В истории общества (а еще более в истории науки об обществе) достаточно явно выделяются два периода. В одном общество вполне укладывается в наши представления о нем. Строгие научные категории позволяют создавать модели, находящие отклик не только среди собратьев по цеху, но и среди управленицев, да и управляемых. Это происходит в периоды относительной стабильности, взятой и линейной логики развития, или, по крайней мере, позволяющей мыслить себя в качестве линейной. Иначе обстоит дело в эпохи взрывные, динамичные, где разные части социального мира начинают дрейфовать по несогласованным траекториям, закручивая вокруг себя реальность. В этот период не только управляющие и управляемые, но и сам исследователь оказываются в состоянии «научной шизофrenии»: я (как эмпирическая личность) понимаю, что мои исследования неадекватны наличной ситуации. Но я (как ученый) эту неадекватность ни обозначить, ни описать не могу. Здесь на помощь «строгой науке» и приходит текущий и образный язык искусства, позволяющий если не концептуализировать, то, по крайней мере, «ухватить» ту реальность, в которую мы все погружены.

Но проблема еще и в том, чтобы, используя язык образов, остаться в пределах академического сообщества, чтобы твои работы были восприняты коллегами. Светлана Барсукова нашла оптимальный путь соединения академической традиции и художественной свободы. Думаю, именно в этом спрятана тайна притягательности ее книги «Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого».

Informally on Informal

Leonid Blyakher

Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии

Тихоокеанского государственного университета

Адрес: ул. Тихоокеанская, д. 13б, г. Хабаровск, Российская Федерация 680035

E-mail: leonid743342@mail.ru

Review: Svetlana Barsukova, *Jesse o neformal'noj ekonomike, ili 16 ottenkov serogo* [Essays on Informal Economy; or, 16 Shades of Grey] (Moscow: HSE, 2015) (in Russian).

Забытое наследие Хоркхаймера

ABROMEIT J. (2011). MAX HORKHEIMER AND THE FOUNDATIONS OF THE FRANKFURT SCHOOL. NEW YORK:
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 456 P. ISBN 978-1-1394-9936-1

Антон Шаблинский

Магистрант Московской высшей школы социальных и экономических наук
Адрес: пр-т Вернадского, д. 82, корп. 2, г. Москва, Российской Федерации 119571
E-mail: ogoshebik@gmail.com

«Диалектика просвещения», написанная совместно Максом Хоркхаймером и Теодором Адорно, считается программной работой первого поколения франкфуртской школы. Однако до сих пор ее появление не предлагалось рассматривать как разрыв с принципами ранней критической теории, изложенными в эссе Хоркхаймера 1930-х годов. В литературе редко уделяется внимание и разногласиям Адорно и Хоркхаймера по поводу методологии критической теории¹. В новой книге Джона Абромайта «Макс Хоркхаймер и основания франкфуртской школы» не только подробно освещены теоретические споры, развернувшиеся между Адорно и Хоркхаймером в 1930-х годах, но и дан анализ концепций ранней критической теории. Кроме того, в книге заявлен довольно сильный тезис о концептуальном разрыве между ранними работами Хоркхаймера и «Диалектикой просвещения» (р. 1).

Из исследования Абромайта (профессора Государственного колледжа Буффало, специализирующегося на интеллектуальной истории Европы Нового времени) мы узнаём, что с конца 1920-х по конец 1930-х между Адорно и Хоркхаймером существовали непреодолимые разногласия (которые разрешились только в начале 1940-х, когда Хоркхаймер «взял на вооружение» концепцию «государственного капитализма»). Хоркхаймер исповедовал принцип исторической контекстуализации. Рассуждая о преобладающих философских течениях в начале XX века, он указывал на исторически обусловленные особенности философских идей, выработанных в буржуазном обществе. Адорно, в свою очередь, был равнодушен к этому принципу и делал акцент на преемственности буржуазной мысли, уходящей глубоко в античность. Абромайт обращает внимание и на другие разногласия, препятствующие совместной работе философов в течение 1930-х. Хоркхаймер критиковал подход Адорно, направленный на выявление исторического и социального содержания философского текста посредством анализа содержащихся в нем аргументов. Он находил такой подход неудачным, не позволяющим «схватить» идеологические аспекты того или иного философского труда.

© Шаблинский А. И., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

doi: 10.17323/1728-192X-2016-3-241-246

1. См., например: Wiggershaus R. (1994). The Frankfurt School: Its History, Theories and Political Significance. Cambridge: MIT Press.

Подробнее концептуальные подходы, ставшие предметом теоретических споров между Адорно и Хоркхаймером, автор (в прошлом изучавший истоки критической теории Герберта Маркузе и Эриха Фромма) анализирует в семи объемных главах. Абромайт внимательно прослеживает, как формировались положения критической теории Хоркхаймера в 1920–1930-х годах², сочетая два подхода к интерпретации ранних работ философа. Во-первых, он рассматривает его эссе и афоризмы как последовательный уход от философии сознания, направления, преобладавшего в академической среде Веймарской республики, и тем самым вступает в полемику с некоторыми исследователями (в частности, с Юргеном Хабермасом), отмечавшими, что Хоркхаймер в работах 1920–1930-х годов не выходил за рамки философии сознания (р. 87). Во-вторых, Абромайт предлагает анализировать ранние труды Хоркхаймера в более широком контексте, учитывая некоторые личностные черты мыслителя. Хоркхаймер вёл «двойную жизнь» (р. 60), оставаясь в русле течений, популярных в академической среде (тема его диссертации действительно не выходила за рамки философии сознания), и разрабатывая свою теорию буржуазного общества (в частности, работал над афоризмами, впоследствии объединенными под заглавием «Сумерки» [«Dämmerung»]), построенную на материалистическом понимании философии модерна.

Критика философии сознания была тесно связана с рецепцией Хоркхаймером марксистских концепций (в частности, концепции идеологии). Абромайт указывает, что выбор данного направления критики не только был обусловлен стремлением Хоркхаймера объяснить роль философии сознания в современном обществе, но и ознаменовывал переход к критике капиталистического общества в целом. Более того, автору удалось продемонстрировать, что Хоркхаймер подходил к трактовке марксистских концепций не механистично, а старался рассматривать их применительно к существующей социальной ситуации. Так, Хоркхаймер критиковал Лукача с его концепцией пролетариата как «субъекта-объекта» истории, указывая, что пролетариат больше не является единым классом, но расколот на подгруппы. Это не позволяло рабочему классу играть роль, предписанную Марксом (р. 179–180). Данная проблема была одной из центральных в социологическом исследовании немецкого рабочего класса, организованном Институтом социальных исследований в 1929 году. Руководил исследованием Эрих Фромм.

Абромайт предлагает по-новому оценить вклад Фромма в становление ранней критической теории Хоркхаймера. Он обращает внимание на несколько ранних концепций Фрейда, воспринятых и развитых Фроммом и оказавших сильное влияние на ключевые цели и методы ранней критической теории. Среди них концеп-

2. Абромайт пишет, что ранняя критическая теория может внести серьезный вклад в исследование разнообразных форм предрассудков в современном капиталистическом обществе. Более того, обращение к ранним работам Хоркхаймера поможет преодолеть ограничения «лингвистического поворота» или «культурного поворота», ставших предметом дискуссий в последние десятилетия. В этом смысле критическая теория Хоркхаймера предлагает интересную модель, которая, опираясь на марксистскую теорию, определяет современное общество как капиталистическое и в то же время признает «относительную автономию» культуры и психических структур индивидов (р. 11–13).

ция воображаемой компенсации и концепция влечений; различие между наследуемым психическим устройством и жизненным опытом личности. В то же время Абромайт отмечает, что между Фроммом и Хоркхаймером были разногласия по ряду теоретических вопросов, которые проявились наиболее явно лишь в конце 1930-х годов. Автор анализирует теоретический спор между Фроммом и Хоркхаймером весьма подробно, рассматривая аргументы обоих мыслителей, и в то же время старается описывать дискуссию отстраненно. Лишь опираясь на контекст всей работы, можно понять, что ему ближе позиция Хоркхаймера.

Одним из самых значимых проектов ИСИ, в котором приняли участие Эрих Фромм, Макс Хоркхаймер, Герберт Маркузе, Лео Лёвенталь, Карл Виттфогель, стали «Исследования авторитета и семьи» («*Studien über Autorität und Familie*»)³. Абромайт, однако, рассматривает данный труд лишь в рамках одного аспекта: развития концепции буржуазной антропологии, выработанной Хоркхаймером при участии Фромма. Согласно Абромайту, эта концепция была противопоставлена Хоркхаймером философской антропологии. Последний видел роль антропологии в исследовании личностных черт, характерных для члена определенной социальной группы в определенную историческую эпоху, а не в «отыскании» универсальных человеческих качеств.

Описывая конкретные личностные черты, Хоркхаймер опирался на психоанализ, в частности на концепцию влечений. Как отмечает Абромайт, эта концепция, впервые предложенная Фрейдом, была развернута Фроммом в эссе «Развитие христианской догмы» («*The Development of the Dogma of Christ*»). Согласно её основным положениям, существуют либидозные влечения и влечения, вызванные инстинктом самосохранения. Если жажду, голод и т. п. можно удовлетворить лишь определенным образом, либидозные влечения могут быть удовлетворены различными способами, в том числе путем воображения. Эти влечения представители подавляемых классов обязаны удовлетворять лишь способами, безвредными для господствующих классов (буржуазии), что негативно оказывается на развитии «Я». Более того, подавленные влечения преобразуются в негативную эмоциональную энергию (гнев, страх, ярость), которую представители господствующих классов стараются направлять на неугодных индивидов (Хоркхаймер приводит в пример Якобинский террор). Согласно Абромайту, Хоркхаймер предвосхитил концепцию излишней (прибавочной) репрессии, ставшую ключевой для работы Маркузе «Эрос и цивилизация».

Говоря о концептуальном разрыве между эссе Хоркхаймера 1930-х годов и «Диалектикой Просвещения», Абромайт стремится доказать, что «отказ» от принципов ранней критической теории произошел даже раньше: сразу после принятия Хоркхаймером концепции государственного капитализма, предложенной его коллегой и другом Фридрихом Поллоком (р. 394). Концепция основывалась на тезисе, что господствующая социальная группа установила контроль над экономической

3. Horkheimer M. (1936). *Studien über Autorität und Familie*. Paris: F. Alcan. P. 947.

динамикой капитализма, над внутренними противоречиями между отношениями производства и производительными силами. Контроль над этими противоречиями фактически приводил к их устраниению. Таким образом, марксистская теория больше не могла объяснить существующее положение вещей. Теперь критика государственного капитализма и объяснение универсальных тенденций, его породивших, должны были осуществляться на более фундаментальном уровне. Абромайт, разбирая эссе «Авторитарное государство» («Authoritarian State»), «Евреи и Европа» («Jews and Europe»), демонстрирует, что Хоркхаймер переходит к критике инструментального разума, выполняющего в западной цивилизации функцию самосохранения путем доминирования над внешней и внутренней (человеческой) природой. Каузальный ряд в рамках такого объяснения оказывается повернутым вспять: капитализм перестает быть причиной инструментального разума (такой разум всегда был присущ западной цивилизации), но становится его следствием. Абромайт объясняет, что подобный тезис предполагает недифференцированный подход к различным философским идеям модерна и фактически отказ Хоркхаймера от принципа исторической контекстуализации. Он даёт однозначную оценку новой критической теории, отмечая, что без этого принципа она стала крайне абстрактной.

Чем подход Абромайта к интерпретации ранних работ Хоркхаймера отличается от подходов других авторов? Хотелось бы выделить два ключевых момента. Во-первых, многие исследователи франкфуртской школы, рассматривая работы Хоркхаймера 1930-х годов, сосредотачивали внимание на его методологических соображениях (в частности, анализируя эссе «Традиционная и критическая теория» и речь ученого на церемонии вступления в должность директора ИСИ)⁴. Абромайт, в свою очередь, делает акцент на философских основаниях этих работ. Он подробно анализирует концепции «диалектики буржуазного общества» и «буржуазной антропологии», ставшие, на его взгляд, ключевыми для критической теории в 1930-х годах. Во-вторых, рассуждая о месте психоанализа в теории Хоркхаймера, Абромайт становится в оппозицию к авторам, утверждавшим, что психология не играла значительной роли в ранней критической теории Хоркхаймера⁵. Абромайт отстаивает противоположный тезис, утверждая, что уже в начале 1930-х годов Хоркхаймер обращается к социальной психологии Фромма, чтобы выступить против кантовского схематизма. Психоанализ (реинтерпретированный Фроммом) становится основой эпистемологии Хоркхаймера.

Вместе с тем Абромайт, говоря о сильных сторонах ранней критической теории, порой смещает фокус с концепции «диалектики буржуазного общества», развиваемой в ранних эссе Хоркхаймера, на приверженность последнего идеалам

4. См., например: Jay M. (1973). *The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923–1950*. Boston: Little, Brown; Wiggershaus R. (1994). *The Frankfurt School: Its History, Theories and Political Significance*. Cambridge: MIT Press.

5. См., например: Stirk P. (1992). *Max Horkheimer: A New Interpretation*. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Просвещения. Смена фокуса может несколько сбить с толку читателя. Кажется, что происходит универсализации принципов Просвещения, которой Хоркхаймер пытался избежать. Следуя идее о «диалектике буржуазного общества», он делал акцент на том, что идеалы Просвещения лишь в определенный исторический период играют «освободительную роль». Впоследствии они, наоборот, используются господствующими социальными группами для укрепления своей власти, усиления репрессии. Иногда в тексте Абромайта эта «диалектика» теряется, хотя автор, безусловно, раскрывает данную идею в центральных главах книги. Другое критическое замечание, тоже скорее стилистического характера, касается тезиса Абромайта о разрыве между ранней критической теорией и «Диалектикой просвещения». Ключевой аргумент об изменении Хоркхаймером каузальных отношений между инструментальным разумом и капитализмом (теперь инструментальный разум, «всегда характерный для западной цивилизации», обуславливает появление капитализма, а не наоборот) оказывается затерян на фоне повторяющихся замечаний об отказе Хоркхаймера от принципа исторической контекстуализации. Однако именно указанные изменения в каузальной цепочке побуждают Хоркхаймера забыть про контекстуализацию. Так почему бы не выдвинуть этот аргумент на передний план? Наконец, нельзя не вспомнить, что некоторые авторы пишут о том, что концепция «диалектики буржуазного общества» вовсе не была оставлена, но получила свое развитие в «Диалектике просвещения». Однако у Абромайта это никак не обозначено. Для него «Диалектика просвещения» *a priori* «пессимистичная работа», которая пренебрегает историческим содержанием идеалов Просвещения. Но, как замечает Штоцлер, это лишь одна из интерпретаций, преобладающих в англоязычной литературе⁶.

Указанные замечания ничуть не умаляют вклада Абромайта в исследование ранней критической теории. Рассматриваемая книга предлагает читателю, уже знакомому с творчеством Хоркхаймера, взглянуть на ранние работы философа по-новому: увидеть в них концептуальные подходы, отличные от тех, с которыми принято ассоциировать первое поколение Франкфуртской школы. Для тех же, кто не знаком с трудами Хоркхаймера, эта книга будет отличным путеводителем, дающим представление не только о его ранней критической теории, но и об интеллектуальной среде, в которой философ жил и работал.

6. Stoetzler M. (2013). Identity, Commodity, Authority: Two New Books on Horkheimer and Adorno // datacide. № 13. P. 43–60.

The Forgotten Heritage of Horkheimer

Anton Shablinskii

MA Student, Moscow School of Social and Economic Sciences

Address: prospect Vernadskogo, 82, building 2, Moscow, Russian Federation 119571

E-mail: ogoshebik@gmail.com

Review: John Abromeit, *Max Horkheimer and the Foundations of the Frankfurt School* (New York: Cambridge University Press, 2011).

SANSI R. (2015). ART, ANTHROPOLOGY AND THE GIFT. LONDON: BLOOMSBURY. 188 P. ISBN 978-0-85785-535-0

Найл Фархатдинов

PhD, старший научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российской Федерации 101000
E-mail: nfarkhatdinov@hse.ru

Книга Рожера Санси «Искусство, антропология и дар» — еще одна попытка раскрыть взаимоотношения современных художественных практик и антропологических исследований. Книга затрагивает темы недавних публикаций, авторы которых предпринимали ревизию конвенциональных подходов к анализу искусства с антропологических и социологических позиций¹. Согласно таким подходам, искусство в самом широком смысле является объектом исследования, встроенным в социальные структуры и отношения и, как следствие, содержащим следы социального. Исследователи видят свою задачу в расшифровке этих следов и демонстрации условности «эстетического» измерения. Критике такой исследовательской модели посвящена большая часть современной литературы по теоретической социологии и антропологии искусства. Достаточно отметить лишь, что прежде всего критикуется односторонний характер отношений двух практик — исследователи занимаются объективацией искусства и это приводит к тому, что миры искусства и художественная практика становятся предметом разоблачения. Такой подход, в свою очередь, вызывает объяснимое отторжение со стороны мира искусств², тем не менее испытывающего интерес к социологическим и антропологическим проблемам.

«Искусство, антропология, дар» не является классической книгой по антропологии, объем собственно антропологической части по сравнению с теоретическими и критическими рассуждениями незначителен. В центре внимания Рожера Санси оказываются прежде всего интеллектуальные ресурсы, которые, на его взгляд, создают необходимый контекст определенного типа современного искусства — искусства, чувствительного к антропологическим темам. Для таких

© Фархатдинов Н. Г., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

doi: 10.17323/1728-192X-2016-3-247-254

1. Schneider A., Wright C. (eds.). (2010). *Between Art and Anthropology: Contemporary Ethnographic Practice*. Oxford: Berg; Schneider A., Wright C. (eds.). (2005). *Contemporary Art and Anthropology*. Oxford: Berg. Также см. выпуск журнала «Laboratorium» (2013, № 2), посвященный «этнографическому концептуализму».

2. Реакции на подобные разоблачения в антропологическом и социологическом подходах различны. Современные антропологи не ограничены институциональной системой искусства, которая существует в европейских странах и США, социологи же рассматривают искусство прежде всего в его исторически обусловленных организационно-рыночных границах (см.: White H., White C. [1965]. *Canvases and Careers: Institutional Change in the French Painting World*. New York: Wiley).

художников интерес в искусстве состоит не в самом искусстве как таковом, а в искусстве как методе и «способе делать вещи». Иными словами, это не художники в привычном понимании традиционной социологии искусства, но скорее заинтересованные участники социальных процессов, которые становятся предметом их художественных исследований. Многие из них, пишет Санси, работают как этнографы: для выставочного проекта «Все растения района» (*«All plants in the neighbourhood»*) художник Цандер Янута (Zander Januta) проводил многочисленные интервью с жителями района Барселоны, спрашивая их об «отношении к своим растениям». Для художника было важно способствовать установлению связей внутри соседского сообщества, и его проект с растениями был способом достичь этой цели: жители совместными усилиями создавали «эфемерный» сад. Санси приводит пример этой работы 2013 года и отмечает, что такого рода взаимодействия появились ранее — еще в начале 2000-х; он связывает их с эстетикой взаимодействия Николя Буррио, который рассматривал социальные отношения как форму искусства.

Санси обозначает подобный длительный интерес со стороны художников к этнографическим и социологическим практикам «социальным поворотом» в современном искусстве. В свою очередь, наблюдается и обратный интерес — антропологи также возлагают надежды на искусство, предполагая, что именно через различные формы совместной работы с художниками социологи и антропологи смогут продвинуться в решении проблем, с которыми столкнулись антропологи, — критикой репрезентации, антропологического метода и этноцентризма. Санси начинает свою книгу с обсуждения тем, общих как для современной художественной практики, так и для социальных исследователей. В первую очередь речь идет об этнографическом методе, который традиционно был близок художественным, прежде всего литературным практикам, и сегодня зачастую рассматривается как синоним «исследования» в художественном контексте. Такая «методологическая» направленность определяет то, что и для антропологов, и для художников социальные отношения являются ключевым материалом для исследования и создания объектов искусства. Более того, в последнем случае они и есть воплощение того вида искусства, которое возможно после институциональной критики. Это одно из ограничений анализа — Санси интересует определенное искусство, поэтому все рассуждения Санси строятся исходя из того, что авангардное искусство, начиная с сюрреализма и ситуационизма, занимается проблематикой, близкой к антропологии.

Помимо этнографического метода, интерес в области визуального является общим как для антропологических исследований (особенно в последнее время с учетом поворота к разного рода невербальным источникам данных), так и, разумеется, для современных художников, которые, несмотря на исследовательский характер своей практики, по-прежнему представляют результаты деятельности в форме объектов — визуальных и мультимедийных инсталляций, документирующими их практику. Рефлексия политики идентичности также объединяет антропо-

логов и современных художников. При этом художники, критиковавшие институциональную систему искусства, обращаются к антропологии, которая, на их взгляд, оказывается более чувствительна к различиям и практикам, лежащим вне доминирующих систем признания.

Ключевой сюжет, который задает рамку для обсуждения современных художественных практик, это возникновение эстетики взаимодействия, которая удачно «рифмуется» с работами Мэрилин Стрезерн. Для ее работ свойственен исследовательский фокус на отношениях, в результате которых возникают стабильные социальные сущности — например идентичность. При этом для Санси фундаментальным типом отношений для антропологов и художников являются отношения дара.

Книга Санси — обзор интеллектуальных ресурсов, необходимых для построения фундамента уже возникших «новых» антропологий и художественных практик. Ее задача проговорить то, что за последнее время стало уже общим местом в этих областях, и тем самым показать неслучайный характер существующих взаимодействий. В каждой главе Санси последовательно раскрывает пересечения современной художественной практики с антропологическими исследованиями и теориями, которые повлияли на них. Перспектива, с точки зрения которой Санси кодифицирует эту область, — относительно нова. Это перспектива исследований дара и обменных отношений в целом, и об этом Санси заявляет в вводной главе. Обзорный характер книги делает ее менее оригинальной и сводит ее основную функцию к навигационной — если художнику или исследователю необходимо достаточно быстро сориентироваться в литературе и найти необходимые тексты, книга станет довольно-таки удобной начальной точкой. Каждая глава содержит обширные интерпретации теорий и описания примеров из практики современных художников, которые, так или иначе, затрагивают похожие сюжеты.

Ключевые интеллектуальные параллели, о которых говорится в книге, — это дадаизм, сюрреализм, ситуационисты. Обсуждению этих течений посвящена вторая глава. Развитие этих художественных течений, по мнению Санси, созвучно тому, как устроена антропологическая исследовательская практика. Речь идет об «этнографическом повороте» в искусстве, очертания которого можно было наблюдать уже в практиках сюрреалистов, дадаистов и ситуационистов. Так же как и антропологи, художники этих направлений работали с повседневностью и пытались выявить наиболее фундаментальные отношения с социальной реальностью и материальными объектами, т. е. то, что в антропологическом контексте называется универсалиями. Однако в отличие от антропологов, чей взор был направлен на другие культуры и группы, художники работали прежде всего с самими собой и своей художественной практикой — это могли быть реди-мейды или «найденные объекты», которые отсылали к ситуации столкновения с повседневностью в форме хэппенингов, перформансов или интервенций.

Третья глава посвящена различным способам рассмотрения произведения искусства за пределами репрезентации. Проблема анализа искусства как текста

ставится как в социологии, так и в антропологии, для которой знакомство с эстетическими объектами других культур, нежели европейской, показало, что текстуальный анализ этих объектов не может рассматриваться как универсальный инструмент. Опираясь на идеи Альфреда Джелла, который рассматривает произведения искусства как ловушки (*traps*) и сети (*nets*), Санси фокусируется на одном из способов альтернативного анализа — анализе произведения искусства через действие. Вслед за Джеллом он говорит о том, что произведение искусства не только возникает в результате определенных социальных причин или практик (в том числе интенций автора), но и имеет определенные социальные эффекты, зачастую не предусмотренные художником. Иными словами, произведения искусства, как и ловушки, предполагают определенные сценарии действия, в которые встроены фигуры художника (охотника) и аудитории (жертвы). Переопределение антропологии искусства в сторону теорий действия приводит, по мнению Санси, к пересмотру понятия эстетического. В отличие от социологов, которые в целом разделяют критический подход к эстетике, в антропологическом сообществе не сложилось единого подхода к тому, как трактовать понятие «эстетическое»³. К этой дискуссии Санси обращается в четвертой главе.

Объектом критики Санси выбирает Бурдье, который рассматривал эстетическое в редукционистских терминах иставил знак равенства между социальным и эстетическим. Основной аргумент Санси состоит в том, что для теории культурного производства Бурдье не существует и не должно существовать таких художественных течений, как дадаизм и сюрреализм, поскольку именно они ставят под вопрос социальный статус эстетического и его автономию. При этом аргументы Санси направлены на одну часть теории Бурдье. Он не рассматривает подробно понятие габитуса, тогда как именно определенная исторически контингентная конфигурация габитуса позволяет ключевым фигурам в поле действовать вопреки правилам поля и переопределять его устройство. Тем не менее для преодоления редукционизма Бурдье Санси обращается к философии Жака Рансьера, для которого эстетическое не противопоставляется социальному или политическому, но предшествует и, следовательно, является фундаментом для различного рода общностей. Искусство — это не автономная область сама по себе, но результат определенного эстетического режима, в рамках которого чувственный опыт оказался в этой автономной сфере. Санси в целом разделяет представление Рансьера, но отмечает, что, как и, допустим, для Джелла, для Рансьера ключевым субъектом действия выступает по-прежнему человек, при этом вещь — произведение искусства — как таковая не рассматривается. Иными словами, самый общий вопрос — как произведения искусства трансформируются в результате человеческих действий — не ставится.

В поисках способа описания процессов таких трансформаций в пятой главе Санси обращается к теориям дара. В центре внимания антропологическая кон-

3. См., например: *Ingold T. (ed.). (1996). The Key Debates in Anthropology. London: Routledge. P. 249–294.*

цепция Марселя Мосса и философский подход Жака Деррида. Санси отмечает, что поиск «чистой» формы дара порой приводит к обратному результату и в случае художественных практик становится особенно ясно, что то, что изначально строится как дар, впоследствии носит характер принуждения и долга. Художники, работающие в рамках эстетики взаимодействия, не вступают в равные отношения с другими сообществами. Эти различия могут быть нейтрализованы, но в рамках существующих систем иерархий внутри мира искусства, так или иначе, будут воспроизведены в соответствии с идеей авторства, принадлежности работы тому или иному художнику и, например, возможности ее продать. Для преодоления этих различий Санси предлагает обратиться вновь к ситуационистам. Ситуационистская практика исходила из того, что единственный способ преодолеть институт собственности состоит в атаке на этот институт. Ссылаясь на Рауля Ванейгема, Санси упоминает один из примеров такой чистой формы дара: воровство. При этом украденная вещь не противопоставляется товару, т. к. она сама по себе утрачивает черты товара, поскольку уже не была встроена в товарно-денежный обмен. Таким образом, сама деятельность по «производству» чистой формы дара является трансформирующей — происходит переопределение отношений, в которые встроены все объекты и участники взаимодействия.

В шестой главе Санси обращается к другому различению, которое также пересматривается как в области социальных и политических наук сегодня, так и в области современного искусства, — различию труда и других практик. В современном искусстве проблема труда связана с природой художественного производства — традиционное представление о том, что за тем или иным произведением искусства стоит определенная ремесленная или промышленная практика, сменяется другой идеей, в соответствии с которой результатом работы и труда художника могут быть вовсе не материальные объекты, а что-то другое. Искусство в этом случае может выступать как средство достижения социальных или политических целей, а выставка современного искусства представлять документацию процесса достижения этих целей. Для многих социальных теоретиков современные художественные практики стали моделью того, как может выглядеть труд в современном — как описывает Санси вслед за другими теоретиками, постфордистском — мире. Санси обращается к таким теоретикам искусства, как Борис Гроис, и связывает проектный характер современной художественной практики с биополитикой. Иными словами, искусство как нематериальное производство предполагает определённую биополитику — вместо объектности традиционного искусства (живописи или скульптуры, например), которая позволяет художнику иметь довольно-таки стабильную идентичность, связанную с произведениями искусства, наблюдается особый фокус на незавершенность, постоянное движение и проектность деятельности. Это не позволяет провести четкую границу между различными произведениями искусства и другими практиками и, по Санси, дает возможность критически посмотреть в целом на границу между искусством и жизнью, поскольку сама жизнь становится искусством.

Последние две главы посвящены рассмотрению того, как современные художественные практики повлияли на антропологические исследования и этнографию в частности. Санси отсылает к ставшим уже классическими рассуждениям Джорджа Маркуса о том, что традиционная «эстетика» этнографического исследования, основанная на опыте «первого контакта»/«встречи», оказывается неадекватной современному миру — в условиях глобализации антрополог не встречается с отдаленными и изолированными группами людей, а зачастую проводит исследования в знакомых для него условиях. Это, по Санси и Маркусу, предполагает иную «эстетику» действия: вместо объективизирующего наблюдения и документации — участие и сотрудничество, как это скорее принято в художественной среде. При этом Санси отмечает, что институционально антропология и искусство по-прежнему не сводятся друг к другу и сохраняют относительную автономию. Фундаментальной же особенностью, которой обладает и антропология, и современное искусство, является то, что они могут работать с различными формами утопий и воплощать в этих формах воображаемое. Для антропологии эта работа проявляется, так или иначе, в попытке описать, объяснить, а тем самым помыслить другой опыт — будь то через конвенциональные формы этнографии или формы совместной деятельности с сообществами. Современное искусство, которое активно работает с социальными отношениями, также сфокусировано на производстве определенных утопических ситуаций — это может быть образом будущего для определенного сообщества или же попыткой преодолеть текущие разногласия или создать условия для этого. В обоих случаях, пишет Санси, существует риск, что стремления антропологов и художников окажутся «захвачены» и использованы в целях сохранения текущих состояний. В случае искусства речь идет о том, что креативные пространства, направленные на извлечение прибыли, заменяют пространства, в которых существует не связанная с рынком художественная деятельность. Практики участия антропологов в решении социальных проблем и их критическая роль в формировании повестки также замещается производством «экспертов», которые, как описывает Санси, следуют логике рыночных механизмов, идущих вразрез с идеями соучастия. Это процессы, которые классическая критическая теория описала бы как коммодификация.

Антропология и современное искусство, по мнению Санси, оказались в ловушке: если бы были завершены те интеллектуальные и художественные революции, с которыми две области столкнулись примерно в одно и то же время, обе практики растворились бы. Каждый мог бы быть художником, как и каждый мог бы быть антропологом. Следовательно, развитие дисциплин, которое позволяет им каким-то образом существовать в новых условиях и сохранять критическое отношение к этим условиям, предполагает постоянное движение к своему исчезновению. Чем ближе они находятся к этой финальной точке, тем лучше они, по Санси,правляются со своими задачами.

Review: Roger Sansi, *Art, Anthropology and the Gift* (London: Bloomsbury, 2015)

Nail Farkhatdinov

Senior Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: nfarkhatdinov@hse.ru



Энтони Смит (1939–2016) и его научное завещание

Некролог

Эмиль Паин

Доктор политических наук, профессор Национального исследовательского университета
 «Высшая школа экономики», генеральный директор
 Центра этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ)
 Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
 E-mail: painea@mail.ru

Сергей Простаков

Аспирант факультета социальных наук Национального исследовательского университета
 «Высшая школа экономики», независимый журналист, соавтор проекта «Последние зо»
 Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российской Федерации 101000
 E-mail: sprostakov@gmail.com

Так уж случилось, что на наших глазах теория наций и национализма чуть ли не ежегодно теряет своих ключевых исследователей. В 2012 году скончался Эрик Хобсбаум, обогативший ее, в частности, концепцией «изобретения традиций». В конце 2015 года не стало Бенедикта Андерсона — автора «Воображаемых сообществ», возможно, самого прославленного труда в этой области исследований, хотя многим он известен только по названию. А 19 июля нынешнего года пришло еще одно печальное известие: умер Энтони Смит, профессор Лондонской школы экономики, посвятивший всю свою научную жизнь исследованию природы нации и феномена национализма.

В наши дни вклад Э. Смита в науку стал более очевидным, чем, скажем, еще десять лет назад. Сегодня, наблюдая всемирный взрыв национализма и традиционализма, проявляющийся в таких разных, но связанных между собой явлениях, как Brexit и джихадистский терроризм, мигрантофобия и активизация политического (правого и левого) радикализма, становится понятной глубочайшая связь современной политики с традиционной культурой, в том числе и этнической. Именно анализу этой связи посвятил свою научную карьеру Энтони Смит. Можно с уверенностью сказать, что без его трудов современные представления о нации и национализме были бы менее полными. И безусловно, более однобокими. Именно Смит одним из первых указал на несовершенства конструктивистских подходов, господствовавших в 1970–1990-е годы в изучении проблематики наций

© Паин Э. А., 2016

© Простаков С. А., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-3-255-260

и национализма. Он старател�о доказывал их ограниченность, проявляющуюся в пренебрежительном, если не сказать брезгливом, отношении к этническим компонентам нации и их исторической устойчивости. В ответ на аргументы своих коллег-конструктивистов об «изобретении» наций в начале XIX века политическими элитами Смит всякий раз приводил исторические доказательства, свидетельствующие о том, что культурную основу нации нельзя просто так выдумать для решения сиюминутных проблем. Тем более нельзя ее протянуть в будущее без опоры на малозаметные, но очень важные основания: зависимость современности от предшествующего развития, в том числе и от культурных традиций, языковой близости, этнических символов, особых механизмов этнической мобилизации. Именно этот подход, который Смит отстаивал на протяжении многих лет и который позволяет снять многие противоречия между сторонниками примордialизма и конструктивизма, в последнее время находит все больше сторонников. Например, Майкл Уолцер, выступивший с критикой концепции Хобсбаума, так писал о знаменитой фразе идейного лидера движения Рисорджименто (Объединение Италии) Массимо д'Адзельо «Мы создали Италию, теперь осталось создать итальянцев»: «Италию было куда легче создать из неаполитанцев, римлян и миланцев, чем из ливийцев и эфиопов¹. О важности общего культурного наследия, или, скорее, психологической готовности делить его с другими членами национального сообщества ныне говорят и другие теоретики. В своей последней книге Бернард Як пишет, что нация представляет собой особое «межпоколенное сообщество (an intergenerational community), члены которого связаны друг с другом чувствами взаимной заботы (mutual concern) и лояльности тем, с кем они делят общее наследие культурных символов и нарративов². Справедливость данного подхода доказывает и то, что на наших глазах терпят крах попытки сконструировать единую европейскую нацию. Апеллирующая к абстрактным, универсальным идеям прав человека, демократии и толерантности европейская идентичность на данный момент и в обозримой перспективе не может опереться на единую историю, общий язык и культуру. Иными словами, на те самые принципы, которые лежат в основе национальной идентичности и способны не номинально, а реально способствовать социальной солидарности. Весной 2016 года Дональд Туск, глава Европейского совета, был вынужден признать, что «мечта о едином государстве Европа с одним общим интересом (one common interest), с единым видением мира... [наконец] с одной нацией была лишь иллюзией»³.

1. Walzer M. (1990–1991). Book Review of «Nations and Nationalism Since 1780» by E. J. Hobsbawm // Social Contract Journal. Winter. Vol. 1. № 2. URL: http://www.thesocialcontract.com/artman2/publish/tsc0102/article_12.shtml (дата доступа: 09.08.2016).

2. Yack B. (2012). Nationalism and the Moral Psychology of Community. Chicago: University of Chicago Press. P. 4.

3. Associated Press. (2016). EU Official Tusk: Idea of One European Nation is «Illusion» // Daily Mail. 05.05.2016. URL: <http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3575754/EU-official-Tusk-Idea-one-European-nation-illusion.html> (дата доступа: 09.08.2016).

Плохо поддается объяснению с сугубо конструктивистских позиций и феномен этнической мобилизации. Тот же Андерсон приводил пример изобретенного символа «могилы неизвестного солдата», впервые введенного в оборот во Франции во время Первой мировой войны и быстро распространившегося в других странах в качестве символа самоотверженной преданности своей нации⁴. Но он не дает объяснения тому, что в реальности заставляло миллионы людей умирать «за Францию», «за Россию», «за США». Сугубо конструктивистские объяснения феномена лояльности национальному сообществу в терминах манипуляций массовым сознанием, очевидно, недостаточны. Нынешний же период ренессанса традиционализма, наступившую «эпоху религиозного и этнического возрождения» (как ее определяет ряд исследователей⁵) и вовсе невозможно объяснить одними лишь информационными манипуляциями, поскольку альтернативные идеи модернизации опираются на неизмеримо более мощные ресурсы, как «идейные», так и «материальные». В этом отношении концепция Смита — этносимволизм — сегодня выглядит куда более убедительной.

Можно лишь поражаться научной смелости Энтони Смита, ведь он начал полемику с однобоким конструктивизмом на пике популярности последнего, когда тот стал основой не только теории наций и национализма, но и всей социальной науки. Его основным оппонентом был Эрнест Геллнер, признанный лидер этого научного направления... и оксфордский учитель Смита. В их дискуссиях, и особенно в знаменитой публичной полемике («Уорикские дебаты о национализме», 1995), речь шла прежде всего об уточнении базового постулата Геллнера, гласящего, что не нации создают национализм, а национализм создает нации там, где их до этого не существовало⁶. Смит, в свою очередь, указывал на то, что этнический фактор и традиционная культура на протяжении всей истории играли важную роль, которая была не одинаковой в разные исторические периоды, но как раз в эпоху становления современных наций стала решающей. Не отрицая значения конструктивизма, Смит призывал к осознанию того, что национальные традиции не изобретаются заново, а лишь новаторски реконструируются, рекомбинируются. Поэтому и нация не может в полном смысле слова возникать из небытия как абсолютно новое явление: она неизбежно несет на себе отпечаток долгой истории того или иного народа и данной страны. Смит одним из первых подметил особую, до сих пор мало осознанную, роль традиционной культуры в политике, экономике и общественной жизни. Как написал российский исследователь Владимир Мала-

4. Андерсон Б. (2001). Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Г. Николаева. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле.

5. См., напр.: Комарофф Дж. (1994). Национальность, этничность, современность: политика самоосознания в конце XX века // Этничность и власть в полигэтнических государствах / Отв. ред. В. А. Тишков. М.: Наука. С. 35–70.

6. Геллнер Э. (1991). Нации и национализм / Пер. с англ. Т. В. Бердниковой и М. К. Тюнькиной. М.: Прогресс.

хов, Энтони Смит не только изучал национализм, но и реабилитировал его, поскольку «национализм оклеветали, сведя к шовинизму»⁷.

Можно ли назвать успешной попытку Энтони Смита предложить многомерную теорию в противоположность плоскому конструктивизму? Однозначного ответа на этот вопрос у нас нет. С одной стороны, он давно уже признан одним из корифеев науки, без ссылки на которого не может обойтись ни одно серьезное исследование в означенной области. Более того, у Смита немало учеников и последователей. С другой стороны, именно его идеи всегда вызывали наибольшие дискуссии среди исследователей проблем наций и национализма как на Западе, так и в России. Например, упомянутый нами В. Малахов выражает сомнение в «аналитической ценности» трактовки Э. Смита национализма⁸. В то же время один из авторов этого некролога писал еще в 2004 году: «Концепцию Смита можно назвать „синтетической“ или в полном смысле этого слова — „этнополитической“... Подход Смита чрезвычайно плодотворен, он открывает широкие возможности для теоретического объяснения многих явлений, а также для пересмотра устоявшихся представлений о всемогуществе национальных государств и необратимости многих процессов»⁹.

Научный путь Энтони Смита, как, наверное, любого по-настоящему крупного ученого, был нелегким. Ему трудно было одолеть в дискуссии Эрнеста Геллнера не только потому, что у старшего и признанного ученого всегда преимущество перед более молодым исследователем, но и в силу огромного полемического таланта Геллнера, мастерски использовавшего инструменты иронии и даже сарказма. Именно с его подачи увлеченность Смита поиском этнических истоков нации начали называть «теорией пупков» — дескать, Смит искал ответ о наличии у наций «пуповины», когда речь должна идти об их развитии и становлении. Такой критический натиск мог бы заставить отступить многих, но только не Смита. Понятно и то, что в научных спорах за команду конструктивистов играла сама эпоха, ведь в Европе после 1945 года критика национализма, понимаемого если не как синоним, то уж точно как верный спутник ксенофобии и шовинизма, была неизбежной: изживание «наследия нацизма» и процесс европейской интеграции лишь способствовали усилению подобных настроений. Но историк Смит раньше других увидел ограниченность такого подхода. Ученый не отрицал сравнительно недавнее появление наций, ее становление в эпоху Модерна, он лишь выделил в этом ключевом процессе две стороны — модерную политическую компоненту и более древнюю — этническую. Этническая составляющая весьма противоречиво и сложно внедряется в политическую нацию, создавая основные проблемы в сфе-

7. Малахов В. (2004). Иноходец // Отечественные записки. № 3. URL: <http://www.strana-oz.ru/2004/3/inohodec> (дата доступа: 09.08.2016).

8. Там же.

9. Паин Э. А. (2004). Этнополитический маятник: динамика и механизмы этнополитических процессов в постсоветской России. М.: Институт социологии РАН.

ре управления культурным многообразием, которую в России, с советских времен, по-прежнему называют «национальной политикой».

Можно только пожалеть, что на русский язык была переведена всего одна монография Э. Смита — «Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма» (2004), хотя он с 1970-х годов был одним из самых плодовитых авторов по указанной теме. Как преподаватели мы можем с уверенностью говорить, что сам термин «теория наций и национализма» стал известен многим нашим соотечественникам, осваивающим научную литературу только на русском языке, именно благодаря этой монографии Смита. В ее заключении он писал: «Поскольку белые разделительные линии национализма вновь пересекают мир во всех направлениях и поскольку область этнических и национальных явлений становится все более притягательной для исследований, потребность в объяснении и понимании множества проблем, которые они ставят, становится все более настоятельной. Это значит, что мы не можем уклониться от задачи построения теории»¹⁰. Сегодня эти слова читаются как научное завещание Энтони Смита, для исполнения которого он сам немало потрудился в своей нелегкой, но славной жизни.

Основные труды Энтони Смита

- 1971 Theories of Nationalism. London: Duckworth.
- 1983 State and Nation in the Third World: The Western State and African Nationalism. Brighton: Wheatsheaf Books.
- 1986 The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell.
- 1991 National Identity. London: Penguin.
- 1995 Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge: Polity.
- 1998 Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism. London: Routledge.
- 1999 Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press.
- 2000 The Nation in History: Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism. Cambridge: Polity.
- 2003 Chosen Peoples: Sacred Sources of National Identity. Oxford: Oxford University Press.
- 2004 The Antiquity of Nations. Oxford: Polity.
- 2008 The Cultural Foundations of Nations: Hierarchy, Covenant and Republic. Oxford: Blackwell.
- 2009 Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach. London: Routledge.

10. Смит Э. (2004). Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма / Пер. с англ. А. Смирнова, Ю. Филиппова, Э. Загашвили, И. Окуневой. М.: Практис.

Anthony Smith (1939–2016) and His Scientific Testament: Obituary

Emil Pain

Doctor of Political Sciences, Professor, National Research University Higher School of Economics
General Director, Center for Ethnopolitical and Regional Studies (CEPRS)

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: painea@mail.ru

Sergei Prostakov

PhD Student, National Research University Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: sprostakov@gmail.com